



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

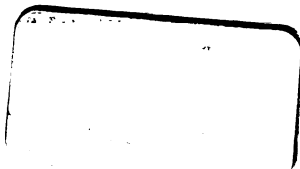
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

B

860,227



*Многоблудному Елизу Петровичу Кови
в даръ напечатанъ въ Петербургѣ
2-го апр. 1896 г.
С. П. П.*

ФИЛОСОФСКІЯ ТЕЧЕНІЯ

Ростовъ, Р.

РУССКОЙ ПОЭЗИИ.

А. С. Пушкинъ.—Е. А. Баратынскій.—А. В. Кольцовъ.—М. Ю.
Лермонтовъ.—Н. П. Огаревъ.—Ф. И. Тютчевъ.—Гр. А. К. Тол-
стой.—А. А. Фетъ.—Я. П. Полонскій.—А. Н. Майковъ.—А. Н.
Апухтинъ.—Гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ.

ИЗБРАННЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ

и

критическія статьи С. А. Андреевскаго, Д. С. Мережковскаго, В. В.
Никольскаго, П. П. Перцова и Вл. С. Соловьева.

Составилъ П. Перцовъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. Меркушева (бывш. Н. Лебедева), Невскій, 8.
1896.

89.51
P44280

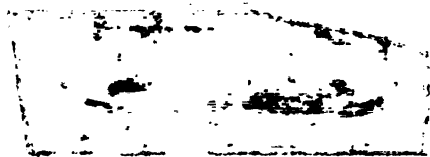


105a - 212932

ФИЛОСОФСКІЯ ТЕЧЕНІЯ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ.

891.71

P471.50



105a - 212932

ФИЛОСОФСКІЯ ТЕЧЕНІЯ
РУССКОЙ ПОЭЗИИ.

Читатель найдетъ въ предлагаемой книгѣ характеристику двѣнадцати русскихъ поэтовъ съ подборомъ соотвѣствующихъ стихотвореній каждаго изъ нихъ *). Основная цѣль сборника—разъясненіе и опредѣленіе философскихъ теченій нашей поэзіи: вопросъ, какъ согласится читатель, настолько-же любопытный, насколько мало разработанный. Сообразно съ этою цѣлью, руководящія критическіе очерки, посвященные каждому поэту, имѣютъ въ виду главнымъ образомъ его міросозерцаніе; рассматриваютъ его, какъ мыслителя, какъ философа. Если искусство есть лучшая форма выраженія индивидуальности, лучший способъ раскрытія души человѣческой, — то съ другой стороны главнымъ содержаніемъ индивидуальности, опредѣляющимъ ея моментомъ является безспорно ея редиія: то или иное отношеніе человѣка къ важнѣйшимъ, къ вѣчнымъ вопросамъ бытія. Отсюда ясно то значеніе, тотъ интересъ, который представляетъ вышеуказанная точка зрѣнія: поэзія въ сферѣ образнаго мышленія даетъ столь-же серьезный и богатый матеріалъ философскаго характера, какъ «философія» (въ техническомъ смыслѣ этого слова) въ сферѣ мышленія логическаго, научнаго.

Первый опытъ всякаго дѣла почти всегда страдаетъ пробѣлами. Читатель легко усматриваетъ, что двѣнадцать именъ объединенныхъ въ этомъ сборникѣ не исчерпываютъ всего списка замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ. Жуковский, Некрасовъ, Мей и др., безъ сомнѣнія, съ полнымъ правомъ могли-бы дополнить это изданіе (не говоря объ отсутствіи законченной характеристики поэзіи Полонскаго). Но вину этого пропуска составитель не рѣшается всецѣло принять на себя: своеобразное отношеніе прежней русской критики къ вопросамъ поэзіи и философіи оставило инте-

*) За исключеніемъ Пушкина — отчасти вслѣдствіе обширности характеристики, отчасти вслѣдствіе популярности поэта.

ресующую насъ область почти неразработанной. И предлагаемый сборникъ, представляя своего рода сводъ недавнихъ попытокъ въ указанномъ направленіи, оставляетъ, конечно, еще очень много мѣста для работы даже на затронутыя имъ темы.

Характеристики: Пушкина (Д. С. Мережковского), Огарева, Полонскаго и гр. А. К. Толстаго (составителя сборника) появляются въ этомъ изданіи впервые; всѣ-же остальные, уже бывшія ранѣе въ печати, подверглись большей или меньшей передѣлкѣ (особенно значительно расширенный этюдъ г. Никольскаго о Фетѣ).

Въ заключеніе составитель считаетъ себя обязаннымъ выразить признательность г. Влад. С. Соловьеву, любезно уступившему для сборника свой этюдъ о Тютчевѣ.

Оглавление.

	СТР.
А. С. Пушкинъ.	
Характеристика. <i>Д. С. Мережковскаго</i>	1
Е. А. Баратынскій.	
Характеристика. <i>С. А. Андреевскаго</i>	87
Стихотворенія	99
А. В. Кольцовъ.	
Характеристика. <i>Д. С. Мережковскаго и П. Перцова</i>	109
Стихотворенія	118
М. Ю. Лермонтовъ.	
Характеристика. <i>С. А. Андреевскаго</i>	131
Стихотворенія	150
Н. П. Огаревъ.	
Характеристика. <i>П. П. Перцова</i>	161
Стихотворенія	173
Ф. И. Тютчевъ.	
Характеристика. <i>Влад. С. Соловьева</i>	179
Стихотворенія	197
Гр. А. К. Толстой.	
Характеристика. <i>П. П. Перцова</i>	209
Стихотворенія	231
А. А. Фетъ.	
Характеристика. <i>Б. В. Никольскаго</i>	237
Стихотворенія	268

	СТР.
Я. П. Половскій.	
Характеристика. <i>П. П. Перцова.</i>	281
Стихотворенія	304
А. Н. Майковъ.	
Характеристика. <i>Д. С. Мережковскаю</i>	315
Стихотворенія	336
А. Н. Апухтинъ.	
Характеристика. <i>П. П. Перцова.</i>	347
Стихотворенія	357
Гр. А. А. Голенищевъ-Вутузовъ	
Характеристика. <i>П. П. Перцова.</i>	368
Стихотворенія	379
Списокъ стихотвореній.	389

I.

«Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное, — пишетъ Гоголь въ 1832 году—и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа: это—русскій человѣкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится черезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ той-же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла». Въ другомъ мѣстѣ Гоголь замѣчаетъ: «Въ послѣднее время набрался онъ много русской жизни и говорилъ обо всемъ такъ мѣтко и умно, что хотъ записывай всякое слово: оно стоило его лучшихъ стиховъ; но еще замѣчательнѣе было то, что строилось внутри самой души его и готовилось освѣтить передъ нимъ еще больше жизнь».

Императоръ Николай Павловичъ, въ 1826 году, послѣ перваго сзиданія съ Пушкинымъ, которому было тогда 27 лѣтъ, сказалъ гр. Блудову: «Сегодня утромъ я бесѣдовалъ съ самымъ замѣчательнымъ человѣкомъ въ Россіи». Впечатлѣніе огромной умственной силы Пушкинъ, повидимому, производилъ на всѣхъ, кто съ нимъ встрѣчался и способенъ былъ его понять. Французскій посолъ Барантъ, человѣкъ умный и образованный, одинъ изъ постоянныхъ собесѣдниковъ кружка А. О. Смирновой, говорилъ о Пушкинѣ не иначе, какъ съ благоговѣніемъ, утверждая, что онъ—*«великій мыслитель»*, что «онъ мыслить, какъ опытный государственный мужъ». Также относились къ нему и лучшіе русскіе люди, современники его: Гоголь, кн. Вяземскій, Плетневъ, Жуковскій. Однажды, встрѣ-

тивъ у Смирновой Гоголя, который съ жадностью слушалъ разговоръ Пушкина и отъ времени до времени заносилъ слышанное въ карманную книжку, Жуковскій сказалъ: «Ты записываешь, что говоритъ Пушкинъ. И прекрасно дѣлаешь. Попроси Александру Осиповну показать тебѣ ея замѣтки, потому что каждое слово Пушкина драгоцѣнно. Когда ему было восемнадцать лѣтъ, онъ думалъ, какъ тридцатилѣтній человѣкъ: умъ его созрѣлъ гораздо раньше, чѣмъ его характеръ. Это часто поражало насъ съ Вяземскимъ, когда онъ былъ еще въ лицѣ».

Впечатлѣніе ума, дивнаго по ясности и простотѣ, болѣе того, — впечатлѣніе истинной *мудрости* производитъ и образъ Пушкина, нарисованный Смирновой. Современное русское общество не оцѣнило книги, которая во всякой другой литературѣ составила бы эпоху. Это непониманіе объясняется и общими причинами — первороднымъ грѣхомъ русской критики, ея культурной неотзывчивостью, и частными — тѣмъ упадкомъ художественнаго вкуса, эстетическаго и философскаго образованія, который, начиная съ 60-хъ годовъ, продолжается донинѣ и вызванъ проповѣдью утилитарнаго и тенденціознаго искусства, проповѣдью такихъ критиковъ, какъ Добролюбовъ, Чернышевскій, Писаревъ. Одичаніе вкуса и мысли, продолжающееся полвѣка, не могло пройти даромъ для русской литературы. Слѣдъ грубой и мутной волны черни, нахлынувшей съ такою силою, чувствуется и понынѣ. Авторитетъ Писарева поколебленъ, но не палъ. Его отношеніе къ Пушкину кажется теперь варварскимъ; но и для тѣхъ, которые говорятъ явно противъ Писарева наивный ребяческій задоръ демагогическаго критика все еще сохраняетъ нѣкоторое обаяніе. Грубо-утилитарная точка зрѣнія Писарева, въ которой чувствуется смѣлость и раздраженіе дикаря передъ созданьями непонятной ему культуры, теперь анахронизмъ; эта точка зрѣнія замѣнилась болѣе умѣренной — либерально-народнической, съ которой Пушкина, пожалуй, можно оправдать въ недостаткѣ политической выдержки и прямоты. Тѣмъ не менѣе Писаревъ, какъ привычное тяготѣніе и склонность ума, все еще таится въ безсознательной глубинѣ многихъ современныхъ критическихъ сужденій о Пушкинѣ. Писаревъ, Добролюбовъ, Чернышевскій вошли въ плоть и кровь некультурной русской критики: это — грѣхи ея молодости, которые не такъ-то легко прощаются, это — старая хроническая болѣзнь. Писаревъ, какъ представитель русскаго варварства въ литературѣ, не менѣе націоналенъ, чѣмъ Пушкинъ, какъ представитель высшаго цвѣта русской культуры.

«Конечно, у автора «Цыганъ» и «Мѣднаго Всадника»—такъ разсуждаютъ современные почитатели Пушкина,—есть кое-что кромѣ воспѣванія женскихъ ножекъ и шипучаго аи,—но по глубинѣ міросозерцанія ему все-же далеко до Гете и Байрона, даже до Гейне и Шелли». Пушкинъ—великій мыслитель, мудрецъ,—съ этимъ, кажется, согласились-бы немногіе даже изъ самыхъ его пламенныхъ и суевѣрныхъ поклонниковъ. Всѣ говорятъ о народности, о простотѣ и ясности Пушкина, и многія изъ этихъ замѣчаній вѣрны, но до сихъ поръ никто, кромѣ Достоевскаго, даже попытки не дѣлалъ найти въ поэзіи Пушкина стройное міросозерцаніе, великую мысль. Сторону эту вѣжливо обходили, какъ-бы чувствуя, что благоразуміе не говоритъ о ней, что оно выгодноѣ для самого Пушкина. Конечно, его не сравниваютъ ни со Львомъ Толстымъ, ни съ Достоевскимъ: вѣдь тѣ—пророки, учителя или хотятъ быть учителями, а Пушкинъ *только* поэтъ, *только* художникъ. Повторяю,—въ глубинѣ почти всѣхъ русскихъ сужденій о Пушкинѣ, даже самыхъ благоговѣйныхъ, есть безсознательно переживающій духъ Писарева,—заранѣе составленное и только изъ уваженія къ великому поэту не высказываемое убѣжденіе въ нѣкоторомъ легкомыслии и легковѣсности пушкинской поэзіи, побѣждающей отнюдь не силою мысли, а прелестью формы. Въ сравненіи съ титаническою музою Льва Толстого, суровою, тяжело-скорбною, вопіющею о мукахъ, о смерти, о вѣчности,—легкая, свѣтлая, олимпійская муза Пушкина, эта рѣзвая «шалунья», «вакханочка»,—какъ онъ самъ ее называлъ—вѣчно-пляшущая, вѣчно-смѣющаяся, кажется—не правдали—такою немудрою, такою несерьезною. Кто-бы могъ сказать, что она мудрѣе мудрыхъ?

Вотъ почему не повѣрили Смирновой. Пушкинъ, подобно Гете, разсуждающій о міровой поэзіи, о философіи, о религіи, о судьбахъ Россіи, о прошломъ и будущемъ человѣчества—это было такъ ново, такъ странно и чуждо заранѣе составленному мнѣнію, что книгу Смирновой постарались не понять, вѣжливо замалчивали, или, по обычаю русской журналистики, которая мало выиграла со временъ Булгарина, непристойно выпучивали, выискивали въ ней ошибокъ, придирались къ мелкимъ неточностямъ, чтобы доказать, что собесѣдница Пушкина не заслуживаетъ довѣрія, а ея отношеніе къ Николаю I сочи неблагоприятнымъ съ либеральной точки зрѣнія. Сдѣлать это было тѣмъ легче, что русское общество до сихъ поръ не имѣетъ своего мнѣнія о книгахъ и ходитъ на помочахъ у критики. Еще разъ, черезъ 60 лѣтъ послѣ смерти, великій поэтъ оказался не

по плечу своей родинѣ, еще разъ восторжествовалъ духъ Булгарина, духъ Писарева,—ибо эти оба духа родственны другъ другу, чѣмъ обыкновенно думаютъ.

Но книга Смирновой имѣетъ свое будущее: въ мудрыхъ бесѣдахъ съ лучшими людьми вѣка Пушкинъ недаромъ бросаетъ сѣмена неосуществленной русской культуры. Когда наступитъ не академическій и не лицемерный возвратъ къ Пушкину, когда у насъ явится наконецъ критика, т. е. культурное самосознаніе народа, соответствующее величію нашей поэзіи,—то «Записки Смирновой» будутъ оцѣнены и поняты, какъ живые завѣты величайшаго изъ русскихъ людей будущему русскому просвѣщенію.

Историческая сила этой книги заключается въ томъ, что воспроизводимый ею образъ Пушкина-мыслителя какъ нельзя болѣе соответствуетъ образу, который таится въ необъясненной глубинѣ законченныхъ созданій поэта и гениальныхъ отрывковъ, намековъ, замѣтокъ, писемъ, дневниковъ. Для внимательнаго изслѣдователя неразрывная связь, глубокое совпаденіе этихъ двухъ образовъ есть неопровержимое доказательство истинности пушкинскаго духа въ запискахъ Смирновой, каковы-бы ни были ихъ внѣшніе промахи и неточности. Пушкинъ и здѣсь, и тамъ—и въ своихъ произведеніяхъ и у Смирновой—одинъ человѣкъ, не только въ главныхъ чертахъ, но и въ мелкихъ подробностяхъ, неуловимыхъ оттѣнкахъ личности. Нерѣдко Пушкинъ у Смирновой объясняетъ ту мысль, на которую намекалъ въ недоконченной замѣткѣ своихъ дневниковъ, и наоборотъ—мысль, которая брошена мимоходомъ въ бесѣдѣ со Смирновой, становится ясной только въ связи съ нѣкоторыми рукописными набросками и замѣтками. Смирнова открываетъ намъ глаза на Пушкина, разоблачаетъ въ немъ то, что мы, такъ сказать, видя—не видѣли, слыша—не слышали. Передъ нами возникаетъ не только живой Пушкинъ, какимъ мы его знаемъ, но и Пушкинъ будущаго, Пушкинъ недовершенныхъ замысловъ,—такой, какимъ мы его предчувствуемъ по гениальнымъ откровеніямъ и намекамъ. Дѣлается понятнымъ, откуда и куда онъ шелъ, открывается высшая ступень просвѣтлѣнія, которой онъ не достигъ, но уже достѣгалъ. Еще шагъ, еще усилие—и Пушкинъ, какъ другой русскій титанъ, столь родной ему по духу,—Петръ Великій, поднялъ-бы и вынесъ русскую поэзію, русскую культуру на мировую высоту. Въ это мгновеніе завѣса падаетъ, голосъ поэта умолкаетъ навѣки, и въ сущности вся послѣдующая исторія русской литературы есть исторія довольно роб-

кой и малодушной борьбы за пушкинскую культуру съ нахлынувшей волною демократическаго варварства, исторія могущественнаго, но односторонняго воплощенія его идеаловъ, медленнаго угасанія, паденія, смерти Пушкина въ русской литературѣ.

Трудность обнаружить его міросозерцаніе заключается въ томъ, что нѣтъ одного главнаго произведенія, въ которомъ-бы поэтъ сосредоточилъ свой геній, сказалъ міру все, что имѣлъ сказать, какъ Данте — въ «Божественной комедіи», Гете — въ «Фаустѣ», Байронъ — въ «Донъ-Жуанѣ». Наиболеѣ совершенныя созданія Пушкина не даютъ полной мѣры его силъ: внимательный изслѣдователь отходитъ отъ нихъ съ убѣжденіемъ, что Пушкинъ выше своихъ созданій. Подобно Петру Великому, съ которымъ онъ чувствовалъ глубокую связь, Пушкинъ былъ не столько совершителемъ, сколько начинателемъ русскаго просвѣщенія. Въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ закладываетъ онъ фундаменты будущихъ зданій, пролагаетъ дороги, рубитъ просѣки. Романъ, повѣсть, лирика, поэма, драма — всюду онъ изъ первыхъ или первый, одинокій или единственный. Ему такъ много надо совершить, что онъ торопится, переходитъ отъ замысла къ замыслу, покидаетъ недоконченными величайшія созданія: «Мѣдный всадникъ», «Русалка», «Галубъ», «Драматическія сцены» — только гениальныя наброски. «Евгеній Онѣгинъ» обрывается — и заключительные стихи недаромъ полны предчувствіемъ безвременнаго конца:

Блаженъ, кто праздникъ жизни рано
Оставилъ, не допивъ до дна
Бокала полнаго вина,
Кто не дочелъ ея романа,
И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ
Какъ я съ Онѣгинымъ моимъ.

Передъ смертью Пушкинъ хотѣлъ вернуться къ «Онѣгину» — не потому, чтобы этого требовалъ сюжетъ поэмы, но онъ чувствовалъ, что слишкомъ многое осталось невысказаннымъ. Иногда, нѣсколькими строками черноваго наброска, намекаетъ онъ на цѣлую невѣдомую сторону души своей, на цѣлый міръ, ушедшій съ нимъ навѣки. Пушкинъ — не Байронъ, которому достаточно 25 лѣтъ, чтобы прожить человѣческую жизнь и дойти до предѣловъ бытія. Пушкинъ — Гете, спокойно и величественно развивающійся, глубоко и медленно зрѣющій; Гете, который умеръ-бы въ 37 лѣтъ, оставивъ міру «Вертера» и несвязанные отрывки первой части «Фауста».

Вся поэзія Пушкина—такіе отрывки, *mebra disjecta*, разбросанные гармоническіе члены, обломки міра, создатель котораго умеръ:

Теперь стою я, какъ ваятель,
Въ своей великой мастерской.
Передо мной—какъ исполины,
Недовершенныя мечты!
Какъ мраморъ, ждутъ онъ единой
Для жизни творческой черты...
Простите-жъ пышныя мечтанья!
Осуществить я васъ не могъ!..
О, умираю я, какъ богъ
Средь начатого мірозданья!

Смерть Пушкина не простая случайность. Драма съ женою, очаровательною Nathalie, и ея милыми родственниками—ничто иное, какъ въ усиленномъ и сосредоточенномъ видѣ драма всей его жизни—борьба генія съ варварскимъ отечествомъ. Пуля Дантеса довершила то, къ чему постепенно и неминуемо вела Пушкина русская дѣйствительность. Онъ погибъ, потому что ему некуда было дальше идти, некуда расти. Съ каждымъ шагомъ впередъ къ просвѣтлѣнію, возвращаясь къ сердцу народа, все болѣе отрывался онъ отъ такъ называемаго «интеллигентнаго» общества, становился все болѣе одинокимъ и враждебнымъ тогдашнему среднему русскому человѣку. Для него Пушкинъ весь былъ непонятенъ, чуждъ, даже страшенъ, казался «кромѣшникомъ», какъ онъ самъ себя называлъ съ горькою ироніей. Кто знаетъ?—если-бы не защита государя, можетъ быть, судьба его была-бы еще болѣе печальной. Во всякомъ случаѣ, преждевременная гибель—только послѣднее звено роковой цѣпи, начало которой надо искать гораздо глубже, въ первой молодости поэта.

Когда читаешь жизнеописаніе Гете,—убѣждаешься, что подобное творчество есть взаимодействие народа и генія. Необходима возвышенная черта германскаго народа — умѣніе чтить великаго, лелѣять и беречь его, уравнивать ему всѣ пути, чтобы могло совершиться единственное въ мірѣ триумфальное шествіе—жизнь поэта-олимпійца. Пушкина Россія сдѣлала величайшимъ изъ русскихъ людей, но не вынесла на міровую высоту, не отвоевала ему мѣста рядомъ съ Гете, Шекспиромъ, Данте, Гомеромъ,—мѣста, на которое онъ имѣетъ право по внутреннему значенію своей поэзіи. Можетъ быть, во всей русской исторіи нѣтъ болѣе горестной и знаменательной трагедіи, чѣмъ жизнь и смерть Пушкина.

Политическія увлеченія его были поверхностны. Впослѣдствіи онъ искренне каялся въ нихъ, какъ въ заблужденіяхъ молодости. Въ самомъ дѣлѣ, Пушкинъ менѣе всего былъ рожденъ политическимъ бойцомъ и проповѣдникомъ. Онъ дорожилъ свободою, какъ внутреннею стихіей, необходимою для развитія генія. Тѣмъ не менѣе, въ страшныхъ испытанныхъ имъ гоненіяхъ, поэтъ имѣлъ случай познать мѣру того варварства, съ которымъ ему суждено было бороться всю жизнь. Лѣтомъ 1824 года, изъ Одессы, Пушкинъ пишетъ въ порывѣ отчаянія: «Я усталъ подчиняться хорошему или дурному пищеваренію того или другого начальника, мнѣ надоѣло видѣть, что на моей родинѣ обращаются со мною менѣе уважительно, нежели съ любимымъ англійскимъ балбесомъ, пріѣзжающимъ предъявлять намъ свою пошлость, неразборчивость и свое бормотаніе». Въ черновомъ наброскѣ письма изъ ссылки къ императору Александру Благословенному, письма, написаннаго въ серединѣ 1825 года и не отосланнаго, Пушкинъ объясняетъ государю: «Въ 1820 году, разнесся слухъ, будто я былъ отвезенъ въ секретную канцелярію и высѣченъ. Слухъ былъ общимъ и до меня дошелъ до послѣдняго. Я увидалъ себя опозореннымъ передъ свѣтомъ. На меня нашло отчаяніе; я метался въ стороны, мнѣ было 20 лѣтъ. Я соображалъ, не слѣдуетъ-ли мнѣ прибѣгнуть къ самоубійству... Я рѣшился высказывать столько негодованія и наглости въ своихъ рѣчахъ и своихъ писаніяхъ, чтобы наконецъ власть вынуждена была обращаться со мною, какъ съ преступникомъ. Я жаждалъ Сибири или крѣпости, какъ возстановленія чести».

«На меня и суда нѣтъ. Я hors de loi...—пишетъ онъ Жуковскому осенью 24 года изъ Михайловскаго.—Шутка эта пахнетъ каторгой... Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ».

Сохранилась официальная бумага Пушкина къ псковскому губернатору, генералу Борису Антоновичу фонъ-Адеркасъ: «Рѣшаюсь для спокойствія моего отца и своего собственного просить его императорское величество, да соизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей. Ожидаю сей послѣдней милости отъ ходатайства вашего превосходительства».

Въ самомъ дѣлѣ Пушкинъ находился на краю гибели.

Было-бы совершенно несправедливо на основаніи этихъ данныхъ дѣлать изъ него политическаго страдальца, тайнаго революціонера. Многое въ тогдашнихъ увлеченіяхъ его и крайностяхъ слѣдуетъ приписать юношеской силѣ пылкаго воображенія, необуз-

данной страстности темперамента. Но съ другой стороны нельзя сказать, чтобы русская дѣйствительность встрѣтила величайшаго изъ русскихъ людей привѣтливо. Вотъ кстати изъ біографіи поэта одна подробность, которая можетъ казаться мелочной, но вѣдь изъ такихъ ничтожныхъ культурныхъ подробностей слагается та окружающая среда, въ которой гений растетъ или погибаетъ. У Пушкина была болѣзнь сердца; слѣдовало сдѣлать операцію. Онъ молилъ, какъ милости, позволенія уѣхать за границу. Ему отказали, предоставивъ лѣчиться у В. Всеволодова—автора «Сокращенной патологии скотоврачебной науки»—«очень искуснаго по ветеринарной части и извѣстнаго въ ученomъ свѣтѣ по своей книгѣ объ лѣченіи лошадей»,—замѣчаетъ Пушкинъ. Представьте себѣ Гете, которому пришлось-бы лѣчиться отъ аневризма у ветеринара.

Изъ первой борьбы съ русскимъ варварствомъ поэтъ вышелъ побѣдителемъ. Въ романтическихъ скитаніяхъ по степямъ Бессарабіи, по Кавказу и Тавридѣ находитъ онъ новые невѣдомые звуки на своей лирѣ. Теперь онъ чувствуетъ жажду безпредѣльной внутренней свободы, которую противопоставляетъ пустотѣ и ничтожеству всѣхъ внѣшнихъ политическихъ формъ:

Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа—
 Не все-ли намъ равно? Богъ съ ними!.. Никому
 Отчета не давать; *себѣ лишь самому*
Служить и угождать; для власти, для ливреи
 Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
 По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
 Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
 И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
 Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—
 Вотъ счастье!; Вотъ права!

Потребность этой «высшей свободы» привела Пушкина ко второму столкновенію съ русскимъ варварствомъ, менѣе страстному и бурному, чѣмъ его политическія увлеченія, но болѣе глубокому и безысходному, — столкновенію, которое было главною внутреннею причиной его преждевременной гибели. Многозначительны въ устахъ Пушкина слѣдующія слова, даже если они вырвались въ минуту необдуманнаго раздраженія: «Я конечно презираю отечество мое съ головы до ногъ, но мнѣ досадно, если иностранецъ раздѣляетъ со мною это чувство». (Письмо къ Вяземскому изъ Пскова, 1826).

А вотъ и болѣе хладнокровное, но не менѣе безотрадное сужденіе объ условіяхъ русской культуры. Эти строки, прямо идущія отъ

сердца, пишетъ онъ о своемъ другѣ Баратынскомъ, хотя невольно чувствуется, что Пушкинъ говоритъ здѣсь и о себѣ самомъ: «Поэтъ отдѣляется отъ нихъ (отъ читателей) и мало по малу уединяется совершенно. Онъ творитъ для самого себя, и если изрѣдка еще обнародываетъ свои произведенія, то встрѣчаетъ холодность, невниманіе и находитъ отголосокъ своимъ звукамъ только въ сердцахъ нѣкоторыхъ поклонниковъ поэзіи, какъ онъ, уединенныхъ въ свѣтѣ». Пушкинъ отмѣчаетъ отсутствіе критики и общаго мнѣнія у русской публики: «У насъ литература не есть потребность народная. Писатели получаютъ извѣстность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; классъ писателей ограниченъ, и имъ управляютъ журналы, которые судятъ о литературѣ, какъ о политической экономіи, о политической экономіи, какъ о музыкѣ, т. е. наобумъ, по наслышкѣ, безъ всякихъ основательныхъ правилъ и свѣдѣній, а большею частью по личнымъ расчетамъ... Правда, что довольно легко презирать ребяческую злость и площадныя насмѣшки,—тѣмъ не менѣе ихъ приговоры имѣютъ рѣшительное вліяніе».

Лучшимъ показателемъ той культурной атмосферы, въ которой приходилось дѣйствовать Пушкину, можетъ служить его отношеніе къ типическому представителю русской пошлости въ журналистикѣ, Булгарину. Поэтъ пишетъ Плетневу о «Повѣстяхъ Бѣлкина», которыя считаетъ болѣе благоразумнымъ печатать анонимно: «подъ моимъ именемъ нельзя будетъ, ибо Булгаринъ заругаетъ. И такъ русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу!»—По поводу неуспѣха романа Булгарина «Выжигинъ», поэтъ восклицаетъ съ недоумѣніемъ: «Выжигинъ приплылъ и въ Москву, гдѣ, кажется, приняли его довольно сухо. Что за дьявольщина? Неужели мы вразумили публику? Или сама догадалась, голубушка? А кажется Булгаринъ такъ для нея созданъ, а она для него, что имъ вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и умирать».

Борьба приняла особенно рѣзкія, мучительныя формы, когда духъ пошлости вошелъ въ его собственный домъ въ лицѣ родственниковъ жены. У Наталіи Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино и душа, созданная, чтобы улаживать долю петербургскаго чиновника тридцатыхъ годовъ. Пушкинъ чувствовалъ, что приближается къ роковой развязкѣ, къ послѣднему дѣйствию трагедіи.

«Nathalie неохотно читаетъ все, что онъ пишетъ, — замѣчаетъ А. О. Смирнова,—семья ея такъ мало способна цѣнить Пушкина, что нѣсколько болѣе довольна съ тѣхъ поръ, какъ государь сдѣлалъ

его исторіографомъ Имперіи и въ особенности камеръ-юнкеромъ. Они воображаютъ, что это дало ему положеніе. Этотъ взглядъ на вещи заставляетъ Искру (Пушкина) скрежетать зубами и въ то-же время забавляетъ его. Ему говорили въ семьѣ жены: *«наконецъ-то вы, какъ вст!»* У васъ есть офиціальное положеніе, въ послѣдствіи вы будете камергеромъ, такъ какъ государь къ вамъ благоволитъ».

Незадолго передъ смертью онъ говорилъ Смирновой, собиравшейся за-границу: «увезите меня въ одномъ изъ вашихъ чемодановъ, вашъ-же бояринъ Николай меня соблазняетъ. Не далѣе какъ вчера онъ совѣтовалъ мнѣ поговорить съ Государемъ, сообщить ему о всѣхъ моихъ невзгодахъ, просить заграничнаго отпуска. Но все семейство подниметъ гвалтъ. Я смотрю на Неву и мнѣ безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароходъ... Если-бы я это сдѣлалъ, что-бы сказали? Сказали-бы: онъ корчитъ изъ себя Байрона. Мнѣ кажется, что мнѣ сильнѣе хочется уѣхать *очень, очень далеко*, чѣмъ въ ранней молодости, когда я просидѣлъ два года въ Михайловскомъ, одинъ на одинъ съ Ариной, вмѣсто всякаго общества. Впрочемъ, у меня есть предчувствіе,—я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери, я много думаю о смерти, я уже въ первой молодости много думалъ о ней».

19 октября 1836 года, придя на свой послѣдній лицейскій праздникъ, Пушкинъ извинился, что не докончилъ обычнаго годового стихотворенія и самъ началъ читать его:

Была пора: нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался,
И съ пѣснями бокаловъ звонъ мѣшался,
И тѣсною сидѣли мы толпой.
Тогда, душой безпечные невѣжды,
Мы жили всѣ и легче, и смѣлѣй,
Мы пили всѣ за здравіе надежды
И юности, и всѣхъ ея затѣй.
Теперь не то...

Онъ не кончилъ,—слезы полились изъ глазъ его, и стихи были дочитаны однимъ изъ товарищей. Тѣ, кто могутъ себѣ представить его необычайную бодрость, ясность духа, никогда не измѣнявшую ему жизнерадостность, должны понять, что значать эти предсмертныя слезы Пушкина.

Народъ и гений такъ связаны, что изъ одного и того-же свойства народа проистекаетъ и слабость, и сила производимаго имъ

генія. Низкій первобытный уровень русской культуры—причина недовершенности пушкинской поэзии, въ тоже время благоприятствуетъ той особенности его поэтического темперамента, которая дѣлаетъ русскаго поэта въ извѣстномъ отношеніи единственнымъ даже среди величайшихъ міровыхъ поэтовъ. Эта особенность—простота.

Высокая степень культуры можетъ быть опасной для источниковъ поэтического чувства, удаляя насъ отъ того ночного, безсознательнаго и непроизвольнаго, во что погружены, чѣмъ питаются корни всякаго творчества. Музы любятъ утренніе сумерки, подстерегаютъ первое пробужденіе народовъ къ сознательной жизни. Для возникновенія великаго искусства необходима нѣкоторая свѣжесть и первобытность впечатлѣній, нѣкоторая наивность и молодость, даже дѣтскость народнаго генія, еще любопытнаго и неутомленнаго мудростью.

Пушкинъ — поэтъ такого народа, только что проснувагося отъ варварства, мало культурнаго, но уже чуткаго, жаднаго ко всѣмъ формамъ культуры, несомнѣнно предназначеннаго къ участию въ міровой жизни духа.

Гете въ безконечной мудрости своей чувствовалъ потребность освободиться отъ всѣхъ этихъ искажающихъ призмъ, отъ тысячеклѣтней пыли человѣческой культуры, потребность вернуться къ первобытной ясности созерцанія. Вотъ почему старался онъ приблизиться къ простотѣ древнихъ грековъ: конечно, это — чистѣйшая призма, но все-таки—призма.

Пушкинъ—единственный изъ новыхъ міровыхъ поэтовъ—ясенъ, какъ древніе эллины, оставаясь сыномъ своего народа, своего вѣка. Въ этомъ отношеніи онъ едва-ли не выше Гете, хотя не должно забывать и того, что Пушкину для достиженія простоты приходилось сбрасывать съ плечъ гораздо болѣе легкое бремя культуры, чѣмъ германскому поэту.

«Сочиненія Пушкина,—говоритъ Гоголь,—гдѣ дышетъ у него русская природа, такъ-же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понимать тотъ, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсли и русскій духъ; потому что чѣмъ предметъ обыкновеннѣе, тѣмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочимъ, совершенная истина.

Короче становился день;
Лѣсовъ тиниственная сѣнь

Съ печальнымъ шумомъ обнажалась,
 Ложился на поля туманъ,
 Гусей крикливыхъ караванъ
 Тянулся къ югу...

Встаетъ заря во мглѣ холодной;
 На нивахъ шумъ работъ умолкъ;
 Съ своей волчихою голодной
 Выходить на дорогу волкъ;
 Его почуя, конь дорожный
 Храпитъ—и путникъ осторожный
 Несется въ гору во весь духъ;
 На утренней зарѣ пастухъ
 Не гонитъ ужъ коровъ изъ хлѣва,
 И въ часъ полуденный въ кружокъ
 Ихъ не зоветъ его рожокъ;
 Въ избушкѣ распѣвая, дѣва
 Прядетъ, и зимнихъ другъ ночей,
 Трепещитъ лучинка передъ ней.

Съ такою именно простотою описываетъ Гомеръ картины эллинской жизни, также не заботясь о прекрасномъ,—разсказывая, какъ его герои ѣдятъ, спятъ, умываются, какъ царская дочка Навзикая полощетъ бѣлье на рѣчкѣ,—и все выходитъ прекраснымъ, какъ изъ рукъ Творца. Не все-ли равно—унылые и уютные зимніе пейзажи русской деревни или цвѣтущіе острова Ионическаго моря?—оба художника смотрятъ на міръ дѣтскими очами, полными невиннаго и жаднаго любопытства. Нѣтъ для нихъ нашего раздѣленія на прозу и поэзію, на будни и праздники, на красивое и некрасивое. Все прекрасно, все необычайно: земля и небо какъ будто только что созданы. И легкіе узоры мороза на стеклахъ, и веселыя сороки на дворѣ, и горы, устланныя блистательнымъ ковромъ зимы, и крестьянская лошадка, плетущаяся рысью, и ямщикъ въ тулупѣ, и мальчикъ, посадившій жучку въ салазки,—все это даетъ ощущеніе такой свѣжести, такой радости, какія бываютъ только въ первоначальномъ дѣтствѣ. Въ поэзіи Пушкина и Гомера чувствуется великое спокойствіе природы. Здѣсь и вдохновеніе—не восторгъ, а послѣднее безмолвіе страстей, послѣдняя тишина сердца. Пушкинъ, какъ мыслитель, хорошо сознавалъ эту необходимость спокойствія во всякомъ творчествѣ, и слѣдующія, безконечно мудрыя слова его, въ которыхъ онъ противопоставляетъ вдохновеніе восторгу, можетъ быть, даютъ ключъ къ самому сердцу его музы: «Критикъ смѣшиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ. Вдохнове-

нiе есть расположенiе души къ живѣйшему принятiю впечатлѣнiй и соображенiю понятiй, слѣдственно и объясненiю оныхъ. Вдохновенiе нужно въ геометрiи, какъ и въ поэзи. Восторгъ исключаетъ спокойствiе, необходимое условiе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношенiи къ цѣлому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвести истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго».

Въ XIX вѣкѣ, наканунѣ шопенгауэровскаго пессимизма, проповѣди усталости и буддiйскаго отреченiя отъ жизни, въ эпоху безплотной и безкровной метафизики Шелли, демократической и мѣщански-безвкусной риторики Виктора Гюго,—Пушкинъ въ своей простотѣ—явленiе единственное, почти невѣроятное. Въ наступающихъ сумеркахъ, когда лучшими людьми вѣка овладѣваетъ ужасъ передъ будущимъ и смертельная скорбь,—Пушкинъ, кажется, одинъ изъ учениковъ Гете, преодолеваетъ дисгармонiю Байрона, достигаетъ самообладанiя, вдохновенiя безъ восторга и веселiя въ мудрости,—этого послѣдняго дара боговъ.

Такова отличительная черта людей упадка, людей прошлаго въ XIX вѣкѣ: для нихъ мудрость—отчаянiе, смерть, отреченiе отъ жизни; тогда какъ для великихъ провозвѣстниковъ будущаго возрожденiя, каковы Гете и Пушкинъ, мудрость—смѣхъ, солнце, веселiе, вѣчная улыбка Дiониса, бога пировъ и трагедiй: «Что смолкнулъ веселiя гласъ? Раздайтесь, вакханальны припѣвы!.. Ты, солнце святое, гори! Какъ эта лампада блѣднѣетъ предъ яснымъ восходомъ зари, такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ предъ солнцемъ безсмертнымъ ума. Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!»

Вотъ мудрость Пушкина. Это—не аскетическое самоистязанiе, жажда мученичества, во что-бы-то ни стало, какъ у Достоевскаго; не покаянный плачъ о грѣхахъ передъ вѣчностью, какъ у Льва Толстого; не художественный нигилизмъ и нирвана въ красотѣ, какъ у Тургенева; это—здравная пѣсня Вакху во славу жизни, вѣчное веселiе и солнце мiра, золотая мѣра вещей—красота. Русская литература, которая и въ дѣйствительности вытекаетъ изъ Пушкина и сознательно считаетъ его своимъ родоначальникомъ, измѣнила главному завѣту пушкинской мудрости: «да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!» Какъ это странно! Начатая свѣтлымъ олимпiйцемъ, самымъ жизнерадостнымъ изъ новыхъ ге-

Философскія теченія.

нiевъ, русская поэзія сдѣлалась поэзіей мрака, отчаянія, самоистязанія, болѣзни, жалости, страха смерти. Шестидесяти лѣтъ не прошло со дня кончины Пушкина—и что съ нами стало? куда мы ушли? Безнадежный мистицизмъ Лермонтова и Гоголя; ужасающее самоуглубленіе Достоевскаго, похожее на бездонный, черный колодезь; бѣгство Тургенева отъ ужаса смерти въ красоту, бѣгство Льва Толстого отъ ужаса смерти въ жалость—только рядъ ступеней, по которымъ мы сходили все ниже и ниже, въ «страну тѣни смертной». Въ настоящее время мы достигаемъ конца подземной лѣстницы,—кажется, дальше идти некуда.

Такимъ онъ былъ и въ жизни: простой, веселый, менѣе всего походившій на суроваго проповѣдника или мудреца,—этотъ безпечный арзамасскій «Сверчокъ», «Искра»,—маленькій, подвижный, съ безукоризненнымъ изяществомъ манеръ и сдержанностью свѣтскаго человѣка, съ негритянскимъ профилемъ, съ голубыми глазами, которые сразу мѣняли цвѣтъ, становились темными и глубокими въ минуты вдохновенія. Такимъ описываетъ его Смирнова. Тихія бесѣды, полныя мудростью, Пушкинъ любитъ обрывать смѣхомъ, неожиданною шуткою, эпиграммою. Между двумя разговорами объ исторіи, религіи, философіи, всѣ члены маленькаго избраннаго общества веселятся, устраиваютъ импровизованный маскарадъ, бѣгаютъ, шалать, смѣются, какъ дѣти. И самый рѣзвый изъ нихъ, зачинщикъ самыхъ веселыхъ школьническихъ шалостей—Пушкинъ. Онъ всѣхъ заражаетъ смѣхомъ. «Въ тотъ вечеръ — записываетъ однажды Смирнова, — Сверчокъ (т. е. Пушкинъ) такъ смѣялся, что Марья Савельевна, разливая чай, объявила ему, что когда будетъ умирать—для храбрости пошлетъ за нимъ».

Въ немъ нѣтъ слѣда литературнаго педантизма и тщеславія, которыми страдаютъ иногда и очень сильные таланты. Пушкинъ всегда недоволенъ своими произведеніями: онъ признается Смирновой, что всего прекраснѣе ему кажутся тѣ стихи, которые случается видѣть во снѣ и которыхъ невозможно запомнить. Онъ работаетъ надъ формой, гранить ее, какъ драгоценный камень. Но, когда стихотвореніе кончено, не придаетъ ему особенной важности, мало заботится о томъ, что скажутъ оцѣнщики. Искусство для него—вѣчная игра. Онъ лепѣтъ неувольные звуки, — не писанныя строки. Поверхностнымъ людямъ, привыкшимъ воображать себѣ генія въ ореолѣ банальной торжественности, такое отношеніе къ искусству кажется легкомысленнымъ. Но людей, знающихъ умъ и сердце Пушкина, эта дѣтская простота очаровываетъ,

какъ безконечная прелесть. «Пушкинъ прочиталъ намъ стихи,—говорить Смирнова,—которые я и передамъ Государю, когда они будутъ переписаны, а пока онъ кругомъ нарисовалъ чортиковъ и каррикатурные портреты. Я никого не встрѣчала, кто-бы придавалъ себѣ меньшее значеніе. Онъ напишетъ образцовое произведение, а на поляхъ нарисуетъ чертенка и собственную каррикатуру въ видѣ негра въ память предка Ганнибала».

Прочтите жизнеописанія раннихъ флорентинскихъ художниковъ, вы встрѣтите тотъ-же смѣхъ, ту-же легкую радость жизни. Между двумя гениальными произведеніями какія школьническія проказы, какое веселіе на улицахъ тихой, еще средневѣковой Флоренціи!

Этою веселостію проникнуты и сказки, подслушанныя поэтомъ у старой няни Арины, и письма къ женѣ, и эпиграммы, и посланія къ друзьямъ, и «Евгеній Онѣгинъ». Нѣкоторые критики считали величайшій изъ русскихъ романовъ подражаніемъ Байронову «Донъ-Жуану». Несмотря на внѣшнее сходство формы, я не знаю произведеній болѣе другъ отъ друга отличныхъ по духу. Веселая мудрость Пушкина, солнечная улыбка Возрожденія не имѣетъ ничего общаго ни съ демоническимъ хохотомъ Мефистофеля, ни съ ѣдкой всеразлагающей ироніей Байрона. Веселость Пушкина—лучезарная, играющая, какъ пѣна волнъ, изъ которыхъ вышла Афродита. Въ сравненіи съ нимъ, всѣ другіе поэты кажутся тяжелыми и мрачными,—онъ одинъ, свѣтлый и легкій, почти не касаясь земли, скользить по ней, какъ эллинскій богъ,—

Онъ вѣчно тотъ-же, вѣчно новый,
Онъ звуки льетъ—они кипятъ,
Они текутъ, они горятъ,
Какъ поцѣлуй молодые,
Всѣ въ нѣгѣ, въ пламени любви,
Какъ зашипѣвшего аи
Струя и брызги золотые.

Пушкинъ не закрываетъ глаза на уродство и пошлость обыкновенной жизни. Только что описавъ смерть Ленскаго, ужаснувшись и разстрогавъ насъ, поэтъ задумывается надъ участію безвременно погибшаго романтика, котораго

Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ

Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гимнъ времянь,
Благословенія племень.

Но Пушкинъ никогда не кончаетъ лиризмомъ: тотчасъ-же показываетъ онъ и пошлую, отвратительную сторону двойственной маски бытія:

А можетъ быть и то: поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.
Прошли-бы юности лѣта,
Въ немъ пылъ души-бы охладѣлъ.
Во многомъ онъ-бы измѣнился,
Разстался-бы съ музами, женился,
Въ деревнѣ, счастливъ и рогатъ,
Носилъ-бы стеганный халатъ.
Узналъ-бы жизнь на самомъ дѣлѣ.
Подагру-бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ.
И наконецъ въ своей постелѣ
Скончался-бъ посреди дѣтей,
Плаксивыхъ бабъ и лекарей.

Этотъ ужасъ обыкновенной жизни русскій поэтъ преодолеваетъ не безглымъ, холоднымъ презрѣніемъ, подобно Гете, не черною, желчною ироніей, подобно Байрону,—а все тою-же свѣтлою мудростью, вдохновеніемъ безъ восторга, непобѣдимымъ веселіемъ—этимъ высшимъ героизмомъ:

Такъ, полдень мой насталь, и нужно
Мнѣ въ томъ сознаться, вижу я.
Но, такъ и быть, простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья,
За шумъ, за бури, за пиры,
За всѣ, за всѣ твои дары,
Благодарю тебя. Тобою
Среди тревогъ и въ тишинѣ
Я наслаждался... и вполнѣ,—
Довольно! *Съ ясною душою*
Пускаюсь нынѣ въ новый путь
Отъ жизни прошлой отдохнуть.

Вотъ какъ выражается эта мудрость, переведенная на будничную прозу: «Опять хандрить,—пишетъ онъ Плетневу изъ Царскаго

Села въ 1831 году — Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убиваетъ только тѣло, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ; погоди, умереть и Жуковский, умремъ и мы. Но жизнь все еще богата; мы встрѣтимъ еще новыхъ знакомцевъ, новые созрѣютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ расти, вырастетъ невѣстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши старыя хрычовки, а дѣтки будутъ славныя, молодые, веселые ребята; мальчики будутъ повѣсничать, а дѣвчонки сентиментальничать, а намъ-то и любо. Вздоръ душа моя... Были-бы мы живы, будемъ когда-нибудь и веселы».

Цѣна всякой человѣческой мудрости испытывается на отношеніи къ смерти.

Вотъ другой великій писатель, скорбный мудрецъ. Всю жизнь отдалъ онъ одной цѣли. Дѣлалъ неимоверныя усилія; надъ всѣми соблазнами міра писалъ страшныя слова: *«Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ»*; разрушалъ всѣ милыя, легкія преграды жизни, чтобы заглянуть въ лицо смерти; подобно древнимъ аскетамъ, торжественно отрекался не только отъ мяса, вина, женщинъ, славы, денегъ, но и отъ искусства, науки, отечества, отъ всякой человѣческой дѣятельности, отъ всякаго движенія воли; заставилъ участвовать міръ въ своей титанической агоніи отчаянія и надежды. Онъ звалъ людей въ буддійскую нирвану жалости, въ эту бездну безднъ, чтобы, потонувъ въ ней, скрыться отъ страха смерти. Сколько поколѣній заразилъ онъ своимъ ужасомъ, измучилъ своими терзаніями! И что-же? Купилъ-ли онъ евангельскую жемчужину? Достигъ-ли мудрости, побѣждающей страхъ смерти? Кто знаетъ? По крайней мѣрѣ, каждый разъ, какъ онъ говоритъ людямъ: «вотъ мудрость, другой нѣтъ, — не ищите. Я успокоился, я не боюсь больше смерти, и вы не бойтесь», — каждый разъ, сквозь утѣшительныя слова, чувствуется все болѣе пронзительный, все болѣе нестерпимый холодъ ужаса. Все безобразнѣе нечеловѣческій крикъ предсмертной агоніи Ивана Ильича. И несмотря на всѣ успокоенія, евангельскія притчи, буддійскія кармы, — смерть, которую онъ возвѣщаетъ людямъ, становится все проще, все страшнѣе.

Пушкинъ говоритъ о смерти спокойно, какъ люди, близкіе къ природѣ, какъ древніе эллины и тѣ русскіе мужики, безстрашно которыхъ Толстой завидуетъ. «Правъ судьбы законъ. Все благо: бдѣнія и сна приходитъ часъ опредѣленный. Благословенъ и день заботъ, благословенъ и тьмы приходъ».

«Я много думаю о смерти», — признается онъ Смирновой. Объ этомъ-же говорится въ одномъ изъ его лучшихъ стихотвореній:

День каждый, каждую годину
Привыкъ я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.

Но постоянная дума о смерти не оставляетъ въ сердцѣ его горечи, не нарушаетъ ясности его души:

Пируйте-же, пока еще мы тутъ.
Увы, нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣтъ;
Кто въ гробъ спитъ, кто дальный сиротѣтъ;
Судьба глядитъ; мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему.

Покажѣсь упивайтесь ею
Сей легкой жизнию друзья!...

Онъ не жертвуетъ для смерти ничѣмъ живымъ. Онъ любитъ красоту, и сама смерть плѣняетъ его «красою тихою, блистающей смиренно», какъ осени «унылая пора, очей очарованье». Онъ любитъ молодость, и молодость для него торжествуетъ надъ смертью:

Здравствуй племя
Младое, незнакомое... Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда переростешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь...

Онъ любитъ славу, и слава не кажется ему суетной даже передъ безмолвіемъ вѣчности:

Безъ непримѣтнаго слѣда
Мнѣ было-бъ грустно міръ оставить.
Живу, пишу не для похвалъ,
Но я бы кажется желалъ
Печальный жребій свой прославить,
Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,
Напомнилъ хоть единый звукъ.

Онъ любитъ родную землю,—

И хотъ безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предѣлу
Мнѣ все-бъ хотѣлось почивать.

Онъ любить страданія, и въ этомъ его героическая любовь къ жизни достигаетъ послѣдняго предѣла:

Но не хочу, о други, умирать:
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать.

Среди скорбящихъ, бьющихъ себя въ грудь, проклинающихъ, дрожащихъ въ ознобъ ужаса передъ смертью, какъ будто изъ другого міра, изъ другого вѣка доносится къ намъ божественное дыханіе пушкинскаго героизма и веселія:

И пусть у гробоваго входа
Младая будетъ жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Если предвѣстники будущаго Возрожденія насъ не обманываютъ, то человѣческій духъ отъ старой, плачущей,—перейдетъ къ этой новой, веселой мудрости, къ этой новой, олимпійской ясности и простотѣ, завѣщанной искусству Гете и Пушкинымъ.

II.

Достоевскій отмѣтилъ удивительную способность Пушкина пріобщаться ко всякимъ, даже самымъ отдаленнымъ культурнымъ формамъ, чувствовать себя какъ дома у всякаго народа и времени. Авторъ «Преступленія и Наказанія» видѣлъ въ этой способности характерную особенность русскаго племени, предназначеннаго для объединенія враждующихъ человѣческихъ племенъ въ единой міровой жизни духа, основанной на христіанской любви. Достоевскій взялъ мысль Гоголя, только расширивъ и углубивъ ее. «Чтеніе поэтовъ всѣхъ народовъ и вѣковъ порождало въ немъ (Пушкинѣ) откликъ; — говоритъ Гоголь, — и какъ вѣренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Слышишь запахъ, цвѣтъ земли, времени, народа. Въ Испаніи онъ испанецъ, съ Грекомъ—грекъ, на Кавказѣ—вольный горецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова; съ отжившимъ человѣкомъ онъ дышетъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ избу—онъ русскій весь съ головы до ногъ; всѣ черты нашей природы въ немъ отозвались, и все окинуто иногда однимъ словомъ, однимъ чутко найденнымъ и мѣтко прибраннымъ прилагательнымъ именемъ».

Протеева способность Пушкина перевоплощаться, переноситься во всѣ вѣка и народы свидѣтельствуетъ о могуществѣ его культурнаго генія. Всякая историческая форма жизни для него понятна и родственна, потому что онъ овладѣлъ, подобно Гете, первоисточниками, идеями-матерями всякой культуры. Гоголь и Достоевскій полагали эту объединяющую культурную идею въ христіанствѣ. Но мы увидимъ, что міросозерцаніе Пушкина, также какъ всѣхъ истинныхъ людей Возрожденія,—напримѣръ Гете и Леонардо да-Винчи,—шире новаго мистицизма, шире язычества. Если Пушкинъ не примиряетъ этихъ двухъ началъ, то онъ, по крайней мѣрѣ, подготовляетъ возможность грядущаго примиренія.

Ни Гоголь, ни Достоевскій не отрицали въ творчествѣ Пушкина одной характерной особенности, которая однако отразилась на всей послѣдующей русской литературѣ: Пушкинъ первый изъ мировыхъ поэтовъ съ такою силою и страстностью выразилъ вѣчную противоположность культурнаго и первобытнаго человѣка. Эта тема должна была сдѣлаться однимъ изъ главныхъ мотивовъ русской литературы.

Уже Баратынскій, сверстникъ Пушкина, высказывалъ сомнѣнія во всѣхъ благахъ культуры и знанія. Противоположеніе вѣчнаго спокойствія и красоты природы вѣчной суетѣ и уродству людей—вотъ главный источникъ поэзіи Лермонтова. Тютчевъ еще болѣе углубилъ этотъ мотивъ, отыскавъ въ самомъ сердцѣ человѣка древній хаосъ, то дикое, страшное, ночное, что отвѣчаетъ изъ глубины нашей природы на голоса разъяренныхъ стихій, на завываніе урагана, который «понятнымъ сердцу языкомъ твердитъ о непонятной муцѣ и поетъ и взрываетъ въ немъ порой неистовые звуки».

Поэзію первобытнаго міра, которую русскіе лирики выражали мало доступнымъ, таинственнымъ языкомъ—русскіе прозаики превратили въ боевое знамя, въ поученіе для толпы, въ благовѣстіе. Достоевскій противопоставляетъ культурѣ «гнилого Запада» вселенское призваніе русскаго народа, великаго въ своей простотѣ. Вся проповѣдь Достоевскаго ничто иное какъ развитіе мисгическихъ настроеній Гоголя, какъ призывъ прочь отъ культуры, основанной на выводахъ безбожной науки,—призывъ къ отреченію отъ гордости разума, къ смиренію, къ «безумію во Христѣ». Наконецъ, сомнѣнія въ благахъ западной науки, которыя у Баратынскаго были неяснымъ шопотомъ сибиллы, Левъ Толстой превратилъ въ громовый воинственный кличъ; ту любовь къ природѣ, которая внушала Лермонтову дивныя пѣсни о безъучастной красотѣ моря, земли и неба,—въ «четыре упряжки», въ мужицкій полусубокъ, въ полевую работу; христіанство, которое у Достоевскаго и Гоголя было далекимъ отъ дѣйствительной жизни, священнымъ огнемъ и бредомъ, пожиравшимъ ихъ сердца, — въ неслыханное дерзновеніе, въ страшный циклопическій молотъ, направленный противъ глубочайшихъ устоевъ современнаго общества. Но всего замѣчательнѣе то, что это русское возвращеніе къ природѣ—русскій бунтъ противъ культуры, первый выразилъ Пушкинъ, величайшій геній культуры среди нашихъ писателей,—Пушкинъ, разнообразный Протей въковъ и народовъ:

Когда-бъ оставили меня
На волѣ, какъ-бы рѣзво я
Пустился въ темный лѣсъ!

Я пѣлъ-бы въ пламенномъ бреду,
 Я забывался-бы въ чаду
 Нестройныхъ, чудныхъ грезъ.
 И силенъ, воленъ быть-бы я.
 Какъ вихорь, роющій поля,
 Ломающій лѣса.
 И я-бъ заслушивался волнъ,
 И я глядѣлъ-бы, счастья полнъ.
 Въ пустыя небеса.

Это—жажда стихійной свободы, неудовлетворяемая никакими формами человѣческаго общежитія, тоска по дикой родинѣ, тяготѣніе къ древнему хаосу, изъ котораго вышелъ духъ человѣка и въ который онъ снова долженъ вернуться. Въ концѣ концовъ, не все-ли ему равно, правильно или незаконно построены стѣны темницы? Всякая внѣшняя культурная форма есть насиліе надъ свободою первобытнаго человѣка. Звѣрь въ клѣткѣ, вѣчный узникъ, смотреть онъ сквозь тюремную рѣшетку на дикаго товарища, вскормленнаго на вотъ молодого орла, который

Зоветь его взглядомъ и крикомъ своимъ.
 И вымолвить хочетъ: „давай улетимъ!
 Мы—вольныя птицы; пора, братъ, пора!
 Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
 Туда, гдѣ синѣютъ морскія края,
 Туда, гдѣ гуляемъ лишь вѣтеръ да я!“

Вотъ первобытный идеаль свободы, отъ вѣка заключенный въ сердцѣ человѣческомъ, выраженный съ такою простотою и ясностью, какія свойственны только поэзіи Пушкина. Въ концѣ своей жизни онъ задумывалъ поэму изъ народной жизни—«*Стенька Разинъ*», героическій образъ котораго давно уже преслѣдовалъ и плѣнялъ его. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ жизни, въ которой проявлялось-бы большее невниманіе и неспособность ко всякимъ твердымъ, законченнымъ построеніямъ, чѣмъ русская жизнь. Нѣтъ пейзажа, въ которомъ-бы чувствовалось больше простора и дикой воли, чѣмъ наши безграничныя степи и лѣса. Нѣтъ пѣсни болѣе пронзительно-унылой, покорной и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе поражающей неожиданными взрывами бѣшеннаго разгула и возмущенія, чѣмъ русская пѣсня. Какова пѣсня народа такова и литература: явно проповѣдующая смиреніе, жалость, непротивленіе злу, въ тайнѣ вся мятежная, полная постоянно возвращающимся бунтомъ противъ культуры, разрушительнымъ дерзновеніемъ. Самый свѣтлый и жизнерадостный изъ русскихъ писате-

лей—Пушкинъ включаетъ въ свою олимпійскую гармонию эти древніе звуки изъ пѣсенъ молодого народа, полуварварскаго, застигнутаго, но неукрощеннаго ни византійской, ни западной культурою. все еще близкаго къ своей дикой природѣ.

Впервые коснулся Пушкинъ этого мотива, которому суждено было имѣть великое значеніе для его послѣдующаго творчества, въ лучшей изъ юношескихъ поэмъ своихъ—въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ». Плѣнникъ—первообразъ Алеко, Евгенія Онѣгина, Печорина—русскихъ представителей міровой скорби:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
И зналъ невѣрной жизни цѣну.
Въ сердцахъ друзей нашедъ измѣну,
Въ мечтахъ любви—безумный сонъ,
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступникъ свѣта, *другъ природы*,
Покинулъ онъ родной предѣлъ
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.
Свобода! съ мной одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ.

Плѣнникъ самъ о себѣ говоритъ любящей его дѣвушкѣ:

Любилъ одинъ, страдалъ одинъ,
И гасну я, какъ пламень дымный.
Забытый средь пустыхъ долинъ.

Это безсиліе желать и любить, соединенное съ неутолимой жаждой свободы и простоты,—истощеніе самыхъ родниковъ жизни. окаменѣніе сердца, есть ничто иное, какъ знакомая намъ болѣзнь культуры, проклятіе людей, живущихъ напряженной, искусственной жизнью, слишкомъ далеко отошедшихъ отъ природы. Плѣнникъ, можетъ быть, и хотѣлъ-бы, но уже не умѣетъ раздѣлить съ дикой черкешенкой ея простую любовь, также какъ Евгеній Онѣгинъ не умѣетъ отвѣтить на дѣвственную любовь Татьяны, какъ Алеко не понимаетъ первобытной мудрости стараго цыгана:

Забудь меня: твоей любви,
Твоихъ восторговъ я не стою...
Какъ тяжело мертвыми устами
Живымъ лобзаньямъ отвѣчать,
И очи, полныя слезами,
Улыбкой хладною встрѣчать!

Страшный недугъ, порождаемый условностями и ложью человеческого общежитія, еще болѣе выясняется по контрасту съ первобытною простотою жизни дикарей. Поэтъ не идеализируетъ кавказскихъ горцевъ, какъ Жанъ-Жакъ-Руссо своихъ американскихъ дикарей, какъ итальянскіе авторы пасторалей XVI вѣка своихъ аркадскихъ пастуховъ. Дикари Пушкина—кровожадны, горды, хищны, коварны, гостепріимны, великодушны: они таковы, какъ окружающая ихъ, страшная и щедрая природа. Пушкинъ первый изъ европейскихъ поэтовъ осмѣлился сопоставить культурнаго чловѣка съ неподдѣльными, неприкрашенными людьми природы.

— Въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», произведеніи юношескомъ, въ которомъ еще много неопредѣленнаго и недосказаннаго, мы находимъ только намеки на то, что въ «Цыганахъ» выражено съ полной ясностью. Здѣсь гений Пушкина сразу достигаетъ зрѣлости. По сдержанной страсти эту поэму можно сравнить съ лучшими произведеніями Байрона, по спокойному чувству мѣры—съ лучшими произведеніями Гете. Философскій и драматическій мотивъ въ «Цыганахъ» тотъ-же, какъ и въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ». За тѣмъ-же «веселымъ призракомъ свободы» бѣжитъ Алеко въ дикій таборъ Цыганъ изъ тюрьмы современной культуры:

Презрѣвъ оковы просвѣщенья,
Алеко воленъ, какъ они;
Онъ безъ заботъ и сожалѣнья
Ведеть кочующіе дни...
Онъ любить ихъ ночлеговъ сѣни,
И упоенье вѣчной лѣни,
И бѣдный звучный ихъ языкъ...

Картины жизни въ мирныхъ степяхъ Бессарабіи не похожи на воинственный бытъ суровыхъ горцевъ, но прелесть дикой воли та-же:

Лохмотьевъ яркихъ пестрота,
Дѣтей и старцевъ нагота,
Собаки и лай, и завыванье,
Волынки говоръ, скрипъ телегъ,
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо-неспокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной.

Вотъ какъ убаюкиваетъ Алеко своего сына:

Останься посреди степей:
Безмолвны здѣсь предразсужденья
И нѣтъ ихъ ранняго гоненья
Надъ дикой люлькою твоей...
Подъ сѣнью мирнаго забвенья
Пускай цыгана бѣдный внукъ
Не знаетъ нѣгъ и пресыщенья
И *пышной суеты наукъ.*

Культурный человѣкъ воображаетъ, что можетъ вернуться къ первобытной простотѣ, къ беззаботной жизни Божьей птички, которая «хлопотливо не свиваетъ долговѣчнаго гнѣзда». Онъ обманываетъ себя, не видитъ или не хочетъ видѣть непереступной бездны, отдѣляющей его отъ природы. Мечтатель только тѣшитъ себя, только играетъ въ свободу съ дикарями.

Подобно птичкѣ беззаботной,
И онъ, изгнанникъ перелетный.
Гнѣзда надежнаго не зналъ
И ни къ чему не привыкалъ.
Ему вездѣ была дорога,
Вездѣ была почлега сѣнь;
Проснувшись поутру, свой день
Онъ отдавалъ на волю Бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лѣнь.

Непоправимая ошибка Алеко заключается въ томъ, что онъ отрекся лишь отъ внѣшнихъ, поверхностныхъ формъ культуры, а не отъ внутреннихъ ея основъ. Онъ надѣется, что страсти культурнаго человѣка въ немъ умерли, но онѣ только дремлютъ:

Онѣ проснутся: погоди.

Вотъ какъ судить Алеко ту жизнь, отъ которой бѣжалъ:

О чемъ жалѣть? Когда-бъ ты знала,
Когда-бы ты воображала
Неволю душныхъ городов!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышать утренней прохладой,
Ни вѣшнымъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонять,
Торгуютъ волею своею,
Главы предъ идолами клонять
И просить денегъ да цѣпей.

Что бросилъ я? Измѣнъ волненья,
Предразсужденій приговоръ,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позоръ.

Въ сущности вся проповѣдь Лѣва Толстого противъ городской жизни, денегъ, внѣшней власти, буржуазной пошлости есть только развитіе, повтореніе того, чему Пушкинъ въ этихъ немногихъ словахъ далъ неистребимую форму совершенства.

Въ негодованіи Алеко слишкомъ много страстнаго порыва, слишкомъ мало спокойной мудрости, — единственнаго, что возвращаетъ людей къ ихъ божественной первобытной природѣ. Отецъ Земфиры — старый цыганъ, одно изъ величайшихъ созданій Пушкина, обладаетъ этою спокойною мудростью. Разсказъ о жизни изгнанника Овидія на берегахъ Дуная есть дивное откровеніе поэзіи младенческихъ народовъ. Нуженъ былъ геній пушкинской простоты и ясности, чтобы въ XIX вѣкѣ создать нѣчто подобное. Дикари полюбили невѣдомаго пришельца Овидія, чувствуя въ немъ родную стихію — свою волю, свою простоту. Въ житейскихъ дѣлахъ поэтъ безпомощнѣе, чѣмъ они сами:

Не разумѣлъ онъ ничего.
И слабъ, и робокъ былъ, какъ дѣти;
Чужіе люди за него
Звѣрей и рыбъ ловили въ сѣти;
Какъ мерзла быстрая рѣка
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святаго старика.

Вотъ въ первобытной жизни — зародыши высшей, новой, еще ни разу въ исторіи не осуществленной культуры: дикари преклоняются передъ геніемъ. Это единственная власть, которую они признаютъ. Они чтутъ, какъ святаго, этого слабого, блѣднаго, изсохшаго, ничего не разумѣющаго старика, у котораго — «пѣсенъ дивный даръ и голосъ шуму водъ подобный». Такова мудрость первобытныхъ людей.

Но Алеко ужаснулся бы бездны, отдѣляющей его отъ природы, если-бы могъ понять мудрость стараго цыгана, для котораго нѣтъ добра и зла, нѣтъ позволеннаго и запрещеннаго. Любовь женщины кажется этому естественному мудрецу высшимъ проявленіемъ свободы. Алеко смотритъ на любовь какъ на законъ, какъ на право одного человѣка обладать нераздѣльно тѣломъ и душою

другого. Любовь для него—бракъ. Для стараго цыгана и Земфиры любовь—такая-же прихоть сердца, неподчиненная никакимъ законамъ и правамъ, какъ вдохновеніе дикой пѣсни, голосъ которой «подобенъ шуму водъ». Всякое право есть преступленіе противъ свободы любви. Первобытная поэзія воли, заключенная природою въ сердце челоѳическомъ, слышится въ страшной пѣснѣ цыганки, издѣвающейся надъ правомъ собственности въ любви, надъ ревностью мужа:

Старый мужъ, грозный мужъ,
Рѣжь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю, любя.

Алеко не выносить этой неприкрашенной свободы, этой обнаженной правды въ любви. Цыганъ жалѣетъ Алеко, но не можетъ скрытъ отъ него, что одобряетъ Земфиру, которая измѣнила мужу и выбрала себѣ любовника, по прихоти своего дикаго сердца, по единственному верховному закону любви. Любовь—игра, случай, стихійный произволъ. Какая можетъ быть въ ней вѣрность и ревность, какое добро и зло—когда все упоеніе любви заключается въ томъ, что она внѣ добра и зла?—

Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ
Гуляетъ вольная луна;
На всю природу мимоходомъ
Равно сіянье льетъ она;
Заглянетъ въ облако любое,
Его такъ пышно озарить,
И вотъ ужъ перешла въ другое,
И то недолго посѣтитъ.
Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ.
Промолви: тамъ остановись!
Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:
Люби одно, не измѣнись!

Эта послѣдняя свобода приводитъ къ послѣднему всепрощенію—къ божественному милосердію Франциска Ассизскаго. Въ сущности, и его религія вѣдь то-же была возвратомъ къ дѣтской простотѣ, къ невинности, для которой нѣтъ закона, нѣтъ добра и зла, возвратомъ къ мудрости природы.

Птичка Божія не знаетъ
Ни заботы, ни труда...

Этотъ гимнъ первобытной безопасности напоминаетъ лучшія молитвы, сложенные на цвѣтущихъ холмахъ Назарета или въ серафическихъ долинахъ Умбріи. Это—звуки, какъ будто прилетѣвшіе изъ незапамятной древности, когда человѣкъ и природа были еще одно. Мудрость Алеко—культура и язычество; мудрость цыгана—природа и милосердіе. Какъ можно мстить за грѣхъ, за измѣну въ любви?—

Къ чему? Вольнѣе птицы младость.
Кто въ силахъ удержать любовь?
Чредою всѣмъ дается радость;
Что было, то не будетъ вновь.

«Я не таковъ,—отвѣчаетъ Алеко дикарю, — нѣтъ, я не споря *отъ правъ* моихъ не откажусь».

Во имя этого права и закона въ любви, которое онъ называетъ честью и вѣрностью, Алеко совершаетъ кровавое злодѣяніе. Быть можетъ, во всей русской литературѣ не сказано ничего болѣе простого и мудраго объ отношеніи первобытнаго и современнаго человѣка, объ отношеніи культуры и природы, чѣмъ немногія слова, которыя старый цыганъ произноситъ, прощаясь съ Алеко:

Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, *нѣтъ у насъ законовъ*,
Мы не терзаемъ, не казимъ,
Неужно крови намъ и стоновъ,
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ:
Мы робки, и добры душою,
Ты золь и смѣль—оставь-же насъ;
Прости! да будетъ миръ съ тобою.

И таборъ опять подымается шумною толпою, и «скоро все въ дали степной сокрылось». Вѣчные изгнанники изъ человѣческаго обществія, вѣчные дѣти первобытной природы продолжаютъ они свой таинственный путь безъ конца и начала, безъ надежды и цѣли. Журавли улетаютъ, только одинъ уже не имѣетъ силы подняться, «пронзенный гибельнымъ свинцомъ, одинъ печально остается, повиснувъ раненымъ крыломъ». Это—бѣдный Алеко, современный чело-

вѣкъ, возненавидѣвшій темницу общежитія и не имѣющій силы вернуться къ природѣ.

Пушкинъ вѣрнѣе себя: подобно Жанъ-Жаку Руссо и Льву Толстому, онъ не хватаетъ черезъ край, не преувеличиваетъ счастья и добродѣтелей первобытныхъ людей. Онъ знаетъ, что смыслъ всякой жизни—трагическій, что величайшая свобода, доступная человеку, есть только величайшая покорность волѣ природы:

Но счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ изданными шатрами
Живутъ мучительные сны;
И ваши сѣни кочевья
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Въ «Галубѣ» Пушкинъ возвратился къ темѣ «Цыганъ» и «Кавказскаго Плѣнника». Теперь въ первобытной жизни, которая нѣкогда противопоставлялась европейской культурѣ какъ нѣчто единое, поэтъ изображаетъ глубокий разладъ, расколъ, двойственность, присутствіе непримиримо борющихся нравственныхъ теченій. Жестокость магометанина Галуба вытекаетъ изъ того-же культурнаго понятія о правѣ, какъ и жестокость Алеко. Оба они тѣми-же словами, съ тѣми-же сладострастіемъ, говорятъ о кровавомъ долгѣ, о мщеніи:

Ты *дома крови* не забыть...
Врага ты навзничь опрокинулъ...
Неправда-ли? Ты шашку вынулъ,
Ты въ горло сталь ему воткнулъ
И трижды тихо повернулъ?
Упился ты его стenanьемъ,
Его змѣинымъ издыханьемъ?...
Гдѣ-жъ голова? Подай!.. Нѣтъ силъ.

Галубъ считаетъ себя выше, причастнѣе къ духовной жизни, чѣмъ дикаго, празднаго и презрѣнно-добраго Тазита, также какъ Алеко считаетъ себя выше стараго цыгана, не признающаго ни закона, ни чести, ни брака, ни вѣрности: преимущества обоихъ основаны на исполненіи *кроваваго дома*, на воздаяніи врагу, на понятіи антихристіанской безпощадной справедливости—*fiat jus*.

И старый цыганъ и Тазитъ чужды этимъ культурнымъ понятіямъ о справедливости. Оба они — вѣчные изгнанники изъ чело-

вѣческаго общества, вѣчные бродяги, питомцы дикой праздности и воли, смѣшные или страшные людямъ мечтатели, свергающіе цѣпи зла и добра, первобытные галилеяне. Тазить — такой-же бесполезный членъ общества, какъ цыганъ; онъ не способенъ ни къ чему пристроиться, не умѣетъ принять участія въ такъ называемыхъ благахъ просвѣщенія:

Не научился мой Тазить,
Какъ шашкой добываютъ злата

— разсуждаетъ Галубъ —

Ни стадъ моихъ, ни табуновъ
Не надѣлять его развѣзды,
Онъ только знаетъ безъ трудовъ
Внимать волнамъ, глядѣть на звѣзды,
А не въ набѣгахъ отбивать
Коней съ нагайскими быками
И съ боя взятыми рабами
Суда въ Анапъ нагружать.

Среди культурныхъ людей, правовѣрныхъ сыновъ пророка, Тазить кажется неприрученнымъ звѣремъ:

Но Тазить
Все дикость прежнюю хранитъ.
Среди родимаго аула
Онъ все чужой; онъ цѣлый день
Въ горахъ одинъ молчитъ и бродитъ.
Такъ въ саклѣ пойманный олень
Все въ лѣсъ глядитъ, все въ глушь уходитъ.

Въ мирномъ созерцаніи природы Тазить такъ-же, какъ старый пыганъ, почерпаетъ свою безстрастную, всепрощающую мудрость:

Онъ любить по крутымъ скаламъ
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая бурѣ голосистой
И въ безднѣ воющимъ волнамъ.
Онъ иногда до поздней ночи
Сидитъ, печаленъ, надъ горой,
Недвижно въ даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какія мысли въ немъ проходятъ?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ міра дольняго куда
Младые сны его уводятъ?...

Въ самомъ законченномъ и стройномъ изъ своихъ произведеній— въ «Евгеніи Онѣгинѣ», Пушкинъ еще разъ вернулся къ преслѣдовавшей его всю жизнь драматической и философской темѣ «Кавказскаго Плѣнника», «Цыганъ», «Галуба». Таглубокая противоположность Евгенія Онѣгина и Татьяны, на которой основано драматическое дѣйствіе поэмы, есть ничто иное, какъ противоположность Плѣнника и Черкешенки, Алеко и Цыгана, Галуба и Тазита.

Герой поэмы, очерченный слишкомъ поверхностно, по замыслу Пушкина долженъ быть представителемъ западнаго просвѣщенія. Это «современный человѣкъ»—

Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйстви пустомъ.

Недостатокъ поэмы заключается въ томъ, что авторъ не вполне отдѣлилъ героя отъ себя, и потому относится къ нему не вполне объективно. Кажется иногда, что поэтъ въ Онѣгинѣ хочетъ казнить увлеченія своей молодости, байроническіе грѣхи:

Чудакъ печальный и опасный.
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангель, сей надменный бѣсъ,
Что-жь онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ иль еще
Москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?..
Ужь не пародія-ли онъ?

Существуетъ глубокая связь Онѣгина съ героями Байрона, также какъ съ Печоринымъ и Раскольниковымъ, съ Алеко и Кавказскимъ Плѣнникомъ. Но это не подражаніе—это русская, въ другихъ литературахъ небывалая, попытка развѣнчать демоническаго героя. Евгенийъ Онѣгинъ отвѣчаетъ уѣздной барышнѣ съ такимъ же высокомернымъ самоуничиженіемъ, сознаніемъ своихъ культурныхъ преимуществъ передъ наивностью первобытнаго человѣка, какъ Плѣнникъ—Черкешенкѣ:

Я не созданъ для блаженства:
 Ему чужда душа моя;
 Напрасны ваши совершенства:
 Ихъ вовсе недостойнъ я...
 Я, сколько ни любилъ-бы васъ,
 Привыкнувъ, разлюблю тотчасъ;
 Начнете плакать—ваши слезы
 Не тронуть сердца моего,
 А будутъ лишь бѣсить его...
 Судите-жъ вы, какія розы
 Намъ заготовить Гименей
 И, можетъ быть, на много дней!

Онъ утѣшаетъ ее, опять повторяя слова Плѣнника:

Смѣнить не разъ младая дѣва
 Мечтами легкія мечты...
 Полюбите вы снова...

И это первобытное, какъ сама природа, цѣломудренное сердце,
 неумѣющее лгать, учить онъ себялюбивой мудрости:

*Учитесь властвовать собою,
 Не всякій васъ, какъ я, пойметъ;
 Къ бѣдѣ неопытность ведетъ.*

Во имя того, что онъ называетъ долгомъ и закономъ чести,
 Онѣгинъ, также какъ Алеко, совершаетъ убійство.

Враги! Давно-ли другъ отъ друга
 Ихъ жажда крови отвела?
 Давно-ль они часы досуга,
 Трапезу, мысли и дѣла
 Дѣлили дружно? Нынѣ злобно,
 Врагамъ наслѣдственнымъ подобно,
 Какъ въ страшномъ, непонятномъ снѣ.
 Они другъ другу въ тишинѣ
 Готовятъ гибель хладнокровно...
 Не засмѣются-ль имъ, пока
 Не обагрилась ихъ рука,
 Не разойтись-ли полюбовно?..
*Но дико свѣтская вражда
 Боится ложнаго стыда.*

Вся жизнь его основана на этомъ ложномъ стыдѣ. Вотъ куда
 онъ зоветъ Татьяну изъ рая ея первобытной невинности, вотъ съ
 какой высоты читаетъ онъ свои правоученія. Этотъ гордый де-
 монъ отрицанія оказывается рабомъ общественнаго мнѣнія, т. е.
 рабомъ того, что скажетъ негодай Зарецкій.

Конечно быть должно презрѣнье
Цѣной его забавныхъ словъ,
Но шопоть, хохотня глупцовъ—
И вотъ общественное мнѣнье!
Пружина чести, нашъ кумиръ!
И вотъ на чемъ вертится мѣръ!

Онъ не способенъ ни къ любви, ни къ дружбѣ, ни къ созерцанію ни къ подвигу. Какъ Алеко—по выраженію стараго цыгана—онъ *«золъ и смѣлъ»*. Какъ Печоринъ и Раскольниковъ, онъ — убійца, обагрываетъ руки свои человѣческой кровью, и преступленіе его такъ-же лишено силы и величія, какъ его добродѣтели. Онъ вышелъ цѣликомъ изъ ложной, посредственной и буржуазной культуры.

Онъ весь чужой, нерусскій, туманный и холодный призракъ, рожденный вѣяніями западной культуры. Татьяна вся—родная, вся изъ русской земли, изъ русской природы, загадочная, темная и глубокая, какъ русская сказка:

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примѣты;
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь...

Что-жь? Тайну прелесть находила
И въ самомъ ужасѣ она...

Душа ея—простая и первобытная, какъ душа русскаго народа. Татьяна—изъ того сумеречнаго, древняго міра, гдѣ родились Жаръ-Птица, Иванъ Царевичъ, Баба Яга,—«тамъ чудеса, тамъ лѣшій бродить, русалка на вѣтвяхъ сидитъ»; «тамъ русскій духъ — тамъ Русью пахнетъ». Она—вѣщая, не отъ міра сего, непонятная людямъ; единственный другъ Татьяны—старая няня, которая нашептала ей страшныя, мудрыя сказки волшебной старины. Подобно Цыгану, она почерпаетъ великую покорность и простоту сердца въ тихомъ созерцаніи тихой природы. Подобно Тазиту, — дикая и чужая въ родной семьѣ—она, какъ пойманный олень, «все въ лѣсъ глядитъ, все въ глушь уходитъ».

Татьяна безконечно далека отъ того блестящаго, лживаго міра, въ которомъ живетъ Онѣгинъ. Какъ могла она полюбить его? Но сердце ея «горитъ и любитъ оттого, что не любить оно не мо-

жеть». Любовь—тайна и чудо, самая страшная и мудрая изъ волшебныхъ сказокъ. Татьяна отдается любви какъ смерти и року. Начало любви въ Богѣ:

То въ высшемъ суждено совѣтъ...
 То воля неба—я твой;
 Вся жизнь моя была залогомъ
 Свиданья вѣрнаго съ тобой;
 Я знаю, *ты мнѣ посланъ Богомъ*,
 До гроба ты хранитель мой...
 Ты въ сновидѣньяхъ мнѣ являлся;
 Незримый, ты мнѣ быть ужъ милъ,
 Твой чудный взглядъ меня томилъ,
 Въ душѣ твой голосъ раздавался
 Давно... нѣтъ, это быть не сонъ!..
 Не правда-ль? Я тебя слыхала:
 Ты говорилъ со мной въ тиши,
 Когда я бѣднымъ помогала,
 Или *молитвой* *успокаивала*
Тоску волнующей души.

И мимо этого святого, страшнаго чуда любви Онѣгинъ проходить съ мертвымъ сердцемъ. Онъ исполняетъ долгъ чести, выказываетъ себя порядочнымъ человѣкомъ и отдѣляется отъ незаслуженнаго дара, посланнаго ему Богомъ, нѣсколькими пошлыми словами о скукѣ брачной жизни. Въ этомъ безсиліи любить, больше чѣмъ въ кровавомъ убійствѣ Ленскаго, обнаруживается весь ужасъ того, чѣмъ Онѣгинъ, Алеко, Печоринъ гордятся какъ высшимъ цвѣтомъ западной культуры. На вѣщія слова любви, которыми природа, невинность, красота зовутъ его къ себѣ, онъ умѣетъ отвѣтить только практическимъ совѣтомъ:

Учитесь властвовать собою,
 Не всякій васъ, какъ я, пойметъ;
 Къ бѣдѣ неопытность ведетъ.

Татьяна послушалась Онѣгина, вошла въ тотъ міръ, куда онъ звалъ ее.

Она теперь является своему строгому учителю—

Не этой дѣвочкой несмѣлой,
 Влюбленной, бѣдной и простой,
 Но равнодушною княгиней,
 Но неприступною богиней
 Роскошной царственной Невы.

Она научилась властвовать собою. При первой встрѣчѣ съ Онѣгинымъ на балу

Княгиня смотритъ на него...
И что ей душу ни смутило,
Какъ сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не измѣнило:
Въ ней сохранился тотъ-же тонъ.
Быль также тихъ ея поклонъ.

Это высшее самообладаніе есть высшій цвѣтъ культуры — аристократизмъ, — то, что болѣе всего въ мірѣ противоположно первобытной, вольной и дикой природѣ.

Какъ измѣнилася Татьяна!
Какъ твердо въ роль свою вошла!
Какъ утѣснительнаго сана
Пріемы скоро приняла!
Кто-бъ смѣлъ искать дѣвчонки нѣжной
Въ сей величавой, сей небрежной
Законодательницѣ залъ?
И онъ ей сердце волновалъ!
Объ немъ она во мракъ ночи.
Пока Морфей не прилетитъ,
Бывало, дѣвственно груститъ,
Къ лунѣ подъемля томны очи.
Мечтая съ нимъ когда нибудь
Свершить смиренный жизни путь.

Только теперь сознаетъ Онѣгинъ ничтожество той гордыни, которая заставила его презрѣть даръ Бога — простую любовь, и съ такою же холодною жестокостью оттолкнуть сердце Татьяны, съ какою онъ обагрываетъ руки въ крови Ленскаго. Какія страшныя, ненужныя насилія во имя долга, во имя чести!

Благородство Онѣгина проявляется въ яркости внезапно вспыхнувшего въ немъ сознанія, въ силѣ ненависти къ своей лжи:

Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвалъ;
Чужой для всѣхъ, ничѣмъ не связанъ.
Я думалъ: вольность и покой
Замѣна счастью. Боже мой!
Какъ я ошибся, какъ наказанъ!

Весь ужасъ казни наступаетъ въ то мгновеніе, когда онъ узнаетъ, что Татьяна по прежнему любитъ его, но что эта любовь такая-же бесплодная и мертвая, такое-же вѣчное проклятіе, какъ его собственная. Онѣгинъ застаётъ ее за чтеніемъ его письма:

Княгиня передъ нимъ одна
Сидитъ, неубрана, блѣдна,
Письмо какое-то читаетъ
И тихо слезы льетъ рѣкой,
Опершись на руку щекой.
О, кто-бъ нѣмыхъ ея страданій
Въ сей быстрый мигъ не прочиталъ?
Кто прежней Тани, бѣдной Тани
Теперь въ княгинѣ-бъ не узналъ!..
Простая дѣва
Съ мечтами, съ сердцемъ прежнихъ дней,
Теперь опять воскресла въ ней!

Судъ простой дѣвы надъ героемъ современной культуры такой-же глубокой и всепрощающей, какъ судъ дикаго цыгана надъ исполнителемъ кроваваго закона чести, Алеко:

Онѣгинъ, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила васъ, и что-же?
Что въ сердцѣ вашемъ я нашла,
Какой отвѣтъ?..
Тогда—неправда-ли—въ пустынь,
Вдали отъ суетной молвы,
Я вамъ не нравилась?... Что-жъ нынѣ
Меня преслѣдуете вы?
Зачѣмъ у васъ я на примѣтъ?
Не потому-ль, что въ высшемъ свѣтѣ
Теперь являться я должна?...
Что мужъ въ сраженьяхъ изувѣченъ;
Что насъ за то ласкаетъ дворъ?
Не потому-ль, что мой позоръ
Теперь-бы всѣми былъ замѣченъ
И могъ-бы въ обществѣ принести
Вамъ соблазнительную честь?
Я плачу...

И такъ въ сердцѣ Татьяны есть еще неистребимый уголокъ первобытной природы, дикой воли, которыхъ не побѣдятъ никакія условности большого свѣта, никакіе «приемы утѣснительнаго сана». Свѣжестью русской природы, дыханіемъ русской воли вѣетъ отъ

этого безнадежнаго возврата къ потерянной простотѣ, который долженъ былъ ослѣпить Онѣгина новой, невѣдомой ему прелестью въ Татьянѣ:

А мнѣ, Онѣгинъ, пышность эта—
 Постылой жизни мишура,
 Мои успѣхи въ вихрь свѣта,
 Мой модный домъ и вечера,
 Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада.
 Всю эту ветошь маскарада.
 Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ
 За полку книгъ, за дикій садъ.
 За наше бѣдное жилище.
 За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ.
 Онѣгинъ, видѣла я васъ,
 Да за смиренное кладбище.
 Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
 Надъ бѣдной нянею моею..
 А счастье было такъ возможно.
 Такъ близко!.. Но судьба моя
 Нжѣ рѣшена...

Вы должны,

Я васъ прошу, меня оставить;
 Я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть
 И гордость, и прямая честь.
 Я васъ люблю (къ чему лукавить?).
 Но и другому отдана—
 Я буду вѣкъ ему вѣрна.

Послѣднія слова княгиня произноситъ мертвыми устами, и опять окружаетъ ее ореолъ «крещенскаго холода» и опять между Онѣгинымъ и ею открывается непереступная, какъ смерть, ледяная бездна долга, закона, чести, брака, общественнаго мнѣнія,— всего, чему Онѣгинъ пожертвовалъ любовью ребенка. Въ послѣдній разъ она показываетъ ему, что воспользовалась урокомъ его безпощадной мудрости, научилась «властвовать собою», заглушать голосъ природы. Оба должны погибнуть, потому что поработили себя человѣческой лжи, отреклись отъ единой первобытной правды—отъ любви и природы. Оба должны «ожесточиться, очерствѣть и наконецъ окаменѣть въ мертвящемъ упоеньи свѣта».

Здѣсь поэма обрывается, не разрѣшая завязаннаго узла, заставляя читателя угадывать будущее Онѣгина и Татьяны. Поэтъ покидаетъ героя «въ минуту злую для него». Въ самомъ дѣлѣ, это злая минута для москвича въ гарольдовомъ плащѣ! Еще ни одинъ

изъ міровыхъ поэтовъ съ такою смѣлостью не развивалъ героя современной культуры.

То, что нерѣшительно и слабо пробивается, какъ первая струя новаго теченія, въ «Кавказскомъ Пльнникѣ», что достигаетъ зрѣлой мудрости въ «Цыганѣ» и «Галубѣ», получаетъ здѣсь, въ заключительной сценѣ перваго русскаго романа, совершенное, вѣчное выраженіе. Пушкинъ «Евгеніемъ Онѣгинымъ» очертилъ горизонтъ русской литературы, и всѣ послѣдующіе писатели должны были двигаться и развиваться въ предѣлахъ этого горизонта. Лермонтовъ, Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Левъ Толстой въ разнообразныхъ формахъ только повторяютъ мотивъ краеугольнаго камня русской литературы—«Евгенія Онѣгина». Жестокость Печорина и доброта Максима Максимовича, побѣда простаго любящаго сердца Вѣры надъ отрицаніемъ Марка Волохова, укрощеніе демонической гордыни нигилиста Базарова ужасомъ смерти, смиреніе Наполеона-Раскольникова читающаго Евангеліе на каторгѣ, наконецъ вся жизнь и все творчество Льва Толстого—вотъ послѣдовательныя ступени въ развитіи и воплощеніи того, что угадано Пушкинымъ съ такою вѣщею прозорливостью.

«Я думаю,—замѣчаетъ Смирнова,—что Пушкинъ—серьезно вѣрующій, но онъ про это никогда не говоритъ. Глинка разсказалъ мнѣ, что онъ разъ засталъ его съ Евангеліемъ въ рукахъ, при чемъ Пушкинъ сказалъ ему: «вотъ единственная книга въ мірѣ—въ ней все есть». Барантъ сообщаетъ Смирновой послѣ одного философскаго разговора съ Пушкинымъ: «я и не подозрѣвалъ, что у него такой религіозный умъ, что онъ такъ много размышлялъ надъ Евангеліемъ».—«Религія—говоритъ самъ Пушкинъ—создала искусство и литературу,—все, что было великаго съ самой глубокой древности; все находится въ зависимости отъ религіознаго чувства... Безъ него не было бы ни философіи, ни поэзій, ни нравственности».

Незадолго до смерти онъ увидѣлъ въ одной изъ залъ Эрмитажа двухъ часовыхъ, приставленныхъ къ «Распятію» Брюлова.—«Не могу вамъ выразить,—сказалъ Пушкинъ Смирновой—какое впечатлѣніе произвелъ на меня этотъ часовой; я подумалъ о римскихъ солдатахъ, которые охраняли гробъ и препятствовали вѣрнымъ ученикамъ приближаться къ нему». Онъ былъ взволнованъ и по своей привычкѣ началъ ходить по комнатѣ. Когда онъ уѣхалъ, Жуковскій сказалъ: «Какъ Пушкинъ созрѣлъ и какъ развилось его религіозное чувство! Онъ несравненно болѣе вѣрующій, чѣмъ я». По поводу

А. С. Пушкинъ.

этихъ часовыхъ, которые не давали ему покоя, поэтъ написалъ одно изъ своихъ лучшихъ стихотвореній:

Къ чему, скажите мнѣ, хранительная стража?
Или распятіе—казенная поклажа,
И вы боитесь воровъ или мышей?
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительствомъ спасаете могучимъ
Владыку, терніемъ вѣнчаннаго колючимъ,
Христа, предавшаго послушно плоть свою
Бичамъ мучителей, гвоздямъ и копію?
Иль опасаетесь, что-бъ *чернь* не оскорбила
Того, чья казнь весь родъ Адамовъ искупила,
И, что-бъ не потѣснить гуляющихъ господъ,
Пускать не велѣно сюда *простой народъ*?

Символь божественной любви, превращенный въ казенную поклажу,—часовые, по свидѣтельству Смирновой, приставленные Бенкендорфомъ къ распятію, конечно это—съ точки зрѣнія эстетическаго и религіознаго чувства—великое уродство. Но не на этомъ-ли уродствѣ основано все многовѣковое строеніе культуры? Вотъ что сознавалъ Пушкинъ не менѣе чѣмъ Левъ Толстой; хотя возмущеніе его было сдержанное. Природа—дерево жизни; культура—дерево смерти, Анчаръ.

Но человѣка человѣкъ
Послать къ Анчару властнымъ взглядомъ...

На этомъ первобытномъ насиліи воздвигается вся Вавилонская Башня. «И умеръ бѣдный рабъ у ногъ непобѣдимаго владыки»...

А царь тѣмъ ядомъ наплатъ
Свои послушливыя стрѣлы,
И съ ними гибель разосталъ
Къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы.

Ужасающую силу, сосредоточенную въ этихъ строкахъ, Левъ Толстой разсѣялъ и употребилъ для приготовленія громаднаго арсенала циклопическихъ рычаговъ разрушенія, но первоисточникъ этой силы въ Пушкинѣ.

Изъ воздуха, отравленнаго ядомъ Анчара, изъ темницы, построенной на кровавомъ долгѣ, вѣчный голосъ призываетъ вѣчнаго узника—человѣка, къ первобытной свободѣ:

Мы—вольныя птицы; пора, братъ, пора!
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
Туда, гдѣ гуляемъ лишь вѣтеръ да я!

Это чувство имѣть опредѣленную историческую форму. Пушкинъ въ первобытномъ галилейскомъ смыслѣ болѣе христіанинъ, чѣмъ Гете и Байронъ. Здѣсь обнаруживается самобытная народная личность русскаго поэта.

Гете въ созерцаніи природы всегда остается язычникомъ. Если же онъ хочетъ выразить христіанскую сторону своей души, то удаляется отъ первобытной простоты и природы, подчиняетъ свое вдохновеніе законченнымъ, культурнымъ формамъ католической церкви: *Pater Ecstaticus*, *Pater Profundus*, *Doctor Marianus*, *Maria Aegyptiaca* изъ *Acta Sanctorum*—весь міръ средневѣковой теологін и схоластики, Оомы Аквината и Алигieri, выступаетъ въ послѣдней сценѣ «Фауста».

Тысячелѣтнія преграды отдѣляютъ его отъ первоначальной галилейской поэзіи, отъ наивнаго религіознаго творчества первыхъ вѣковъ.

Не таково христіанство Пушкина: оно чуждо всякой теологін, всякихъ внѣшнихъ формъ; оно — естественное, произвольное, безымянное и безсознательное. Пушкинъ находитъ эту галилейскую всепрощающую мудрость въ душѣ дикарей, не знающихъ имени Христа. Отъ первобытной природы не вѣетъ на него, какъ на Гете, языческимъ холодомъ и ужасомъ Духа Земли; природа Пушкина—русская, кроткая, «безпорывная», по дивному выраженію Гоголя; она учитъ людей великому спокойствію, смиренію и простотѣ сердца. Дикій Тазить, старый Цыганъ ближе къ первоисточникамъ христіанскаго духа, чѣмъ теологическій *Doctor Marianus* въ послѣдней сценѣ «Фауста». Вотъ чего нѣтъ ни у Гете, ни у Байрона, ни у Шекспира, ни у Данте. Для того, чтобы найти столь чистую, наивную, народную форму первобытной галилейской поэзіи, надо вернуться къ серафическимъ гимнамъ Франциска или божественнымъ легендамъ первыхъ вѣковъ.

III.

Религія жалости и цѣломудрія, какъ философское начало, которое проявляется въ разнообразныхъ историческихъ формахъ—въ гимнахъ Франциска Ассизскаго, и въ греческой діалектикѣ Платона, и въ индѣйскомъ нигилизмѣ Сакья-Муни, и въ китайской метафизикѣ Лао-Дзи, — можно опредѣлить, какъ вѣчное стремленіе духа человѣческаго къ самоотреченію, къ первобытной невинности, простотѣ сердца, къ сліянію съ Богомъ и освобожденію въ Богѣ отъ границъ нашего сознанія, къ нирванѣ, къ исчезновенію сына въ лонѣ Отца.

Язычество, какъ философское начало, которое проявляется въ столь-же разнообразныхъ историческихъ формахъ—въ эллинскомъ многобожіи, въ древне-арійскихъ гимнахъ Ведъ, въ героической мудрости книги Ману и въ величественномъ законодательствѣ Моисеевой теократіи,—можно опредѣлить, какъ вѣчное стремленіе человѣческой личности къ безпредѣльному развитію, совершенствованію, обоженію своего я, какъ постоянное возвращеніе его отъ невидимаго къ видимому, отъ небеснаго къ земному, какъ возстаніе и борьбу трагической воли героевъ и боговъ съ рокомъ, борьбу Іакова съ Іеговой, Прометея съ олимпійцами, Аримана съ Ормуздой.

Эти два непримиримыхъ или непримиренныхъ начала, два міровыхъ потока — одинъ къ Богу, другой отъ Бога, вѣчно борются и не могутъ побѣдить другъ друга. Только на послѣднихъ вершинахъ творчества и мудрости—у Платона и Софокла, у Гете и Леонардо да Винчи, титаны и олимпійцы заключаютъ перемиріе, и тогда предчувствуется ихъ совершенное сліяніе, въ бытъ можетъ, недостижимой на землѣ гармоніи. Каждый разъ достигнутое человѣческое примиреніе оказывается неполнымъ—два потока опять и еще шире разъединяютъ свои русла, два начала опять и еще безнадежнѣе

распадаются—одно, временно побѣждая, достигаетъ односторонней крайности, и тѣмъ самымъ приводитъ личность къ самоотрицанію, къ нигилизму и упадку, къ безумію аскетовъ или безумію Нерона, къ Толстому или Ничше—и съ новыми муками, съ новыми порывами и бореньями духъ устремляется къ новой гармоніи, къ высшему примиренію.

Поэзія Пушкина представляетъ собою рѣдкое во всемірной литературѣ, а въ русской единственное, явленіе гармоническаго сочетанія, равновѣсія двухъ началъ — сочетанія, правда, первобытнаго, бессознательнаго, по сравненію, напр., съ Гете, у котораго оно сознательнѣе, т. е. глубже и прочнѣе.

Мы видѣли одну сферу міросозерцанія Пушкина; теперь обращаемся къ противоположной.

Пушкинъ, какъ галилеянинъ, противопоставляетъ первобытнаго человѣка современной культурѣ. Той-же современной культурѣ, основанной на власти черни, на демократическомъ понятіи равенства и большинства голосовъ, противопоставляетъ онъ, какъ язычникъ, самовластную волю единаго,—творца или разрушителя, пророка или героя. Полубогъ и укрощенная имъ стихія—таковъ второй главный мотивъ пушкинской поэзіи.

Нечего и говорить о поэтахъ, явно подчиненныхъ духу вѣка, такихъ естественныхъ демократахъ, какъ Викторъ Гюго, Шиллеръ, Гейне; но даже самъ Байронъ—лордъ до мозга костей, благороднѣйшихъ изъ благородныхъ, Байронъ, который, на зло толпѣ, возвеличиваетъ отверженныхъ и презрѣнныхъ всѣхъ вѣковъ—Наполеона и Прометея, Каина и Люцифера,—слишкомъ часто измѣняетъ себѣ, потворствуя духу черни, поклоняясь Жакъ Жаку Руссо, проповѣднику самой кощунственной изъ религій—большинства голосовъ, снисходя до роли политическаго революціонера, предводителя возстанія, народнаго трибуна.

Пушкинъ—рожденный въ той странѣ, которой суждено было съ особенной силой подвергнуться вліяніямъ западно-европейской демократіи,—какъ врагъ черни, какъ рыцарь вѣчнаго духовнаго аристократизма, безупречнѣе и безстрашнѣе Байрона. Подобно Гете, Пушкинъ и здѣсь, какъ во всемъ,—твердъ, ясенъ, неумолимо-точенъ и вѣренъ природѣ своей до конца:

Молчи, бессмысленный народъ,
Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ!
Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій
Ты червь земли, не сынъ небесъ:

Тебѣ-бы пользы все—на вѣсь
 Кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій.
 Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.
 Но мраморъ сей вѣдь богъ!.. Такъ что-же?
 Печной горшокъ тебѣ дороже:
 Ты пищу въ немъ себѣ варишь.

Величайшее уродство буржуазнаго вѣка—затаенный духъ корысти, скрытой именемъ свободы, науки, добродѣтели,—разоблаченъ всѣмъ такою смѣлостью, что послѣдующая русская литература, ищѣло отдавшаяся демократической волнѣ, напрасно будетъ бороться всѣми правдами и неправдами, грубымъ варварствомъ Писарева и утонченными софизмами Достоевскаго съ этою стороною просозерцанія Пушкина, напрасно будетъ натягивать на обнаженную пошлость черни свѣтлыя ризы галилейскаго милосердія.

Развѣ вся дѣятельность Льва Толстого — не та-же демократія буржуазнаго вѣка, только одухотворенная евангельскою поэзіей, украшенная этими модными крыльями Икара—восковыми, непрочными крыльями мистическаго анархизма? Левъ Толстой есть ничто иное, какъ отвѣтъ русской демократіи на гордый вызовъ Пушкина. Вотъ какъ смиренный галилеянинъ, авторъ *«Царствія Божія»*, могъ-бы возразить поэту-первосвященнику, который осмѣлился сказать въ лицо черни—*«procul este, profani»*:

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,
 Свой даръ, божественный посланникъ,
 Во благо намъ употребляй:
 Сердца собратьевъ исправляй.
 Мы малодушны, мы коварны,
 Безстыдны, злы, неблагодарны;
 Мы сердцемъ хладные скопцы.
 Клеветники, рабы, глупцы;
 Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки:
 Ты можешь, ближняго любя,
 Давать намъ смѣлые уроки,
 А мы послушаемъ тебя.

Пошлость толпы—*«утилитаріанизмъ»*, духъ корысти, тѣмъ и опасны, что изъ низшихъ проникаютъ въ высшія области человѣческаго созерцанія: въ нравственность, философію, религію, поэзію, и здѣсь все отравляютъ, принижаютъ до своего уровня, превращаютъ въ корысть, въ умѣренную и полезную добродѣтель, въ печной горшокъ, въ благотворительную раздачу хлѣба голоднымъ для успокоенія буржуазной совѣсти. Не страшно, когда малые до-

вольны малымъ; но когда великіе жертвуютъ своимъ величіемъ, въ угоду малымъ, то страшно за будущность человѣческаго духа. Когда великій художникъ, во имя какой-бы то ни было цѣли—корысти, пользы, блага земного или небеснаго; во имя какихъ-бы то ни было идеаловъ, чуждыхъ искусству,—философскихъ, нравственныхъ или религіозныхъ, отрекается отъ безкорыстнаго и свободнаго созерцанія, то тѣмъ самымъ онъ творитъ мерзость во святомъ мѣстѣ, пріобщается духу черни.

Вотъ какъ истинный поэтъ-служитель вѣчнаго Бога судитъ этихъ сочинителей полезныхъ книжекъ и притчъ для народа, этихъ исправителей человѣческаго сердца, первосвященниковъ, взявшихъ уличную метлу, предателей поэзіи. Вотъ какъ Пушкинъ судитъ Льва Толстого, который пишетъ нравоучительные рассказы и отрещивается отъ «Анны Карениной», потому что она слишкомъ прекрасна, слишкомъ бесполезна:

Подите прочь—какое дѣло
Поэту мирному до васъ!..
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметають соръ—полезный трудъ!—
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

«Во всѣ времена, — говоритъ Пушкинъ въ бесѣдѣ со Смирновой, — были избранные, предводители; это восходитъ до Ноя и Авраама... Разумная *воля единицъ, или меньшинства управляла человечествомъ*. Въ массѣ воли разъединены и тотъ, кто овладѣетъ ею, — сольетъ ихъ воедино. Роковымъ образомъ, при всѣхъ видахъ правленія, люди подчинялись меньшинству или единицамъ; такъ что слово демократія, въ извѣстномъ смыслѣ, представляется мнѣ безсодержательнымъ и лишеннымъ почвы. У грековъ люди мысли были равны, они были истинными властелинами. Въ сущности, неравенство есть законъ природы. Въ виду разнообразія талантовъ, даже физическихъ способностей, въ человѣческой массѣ нѣтъ единообразія; слѣдовательно нѣтъ и равенства. Всѣ перемѣны къ добру или худу затѣвало меньшинство; толпа шла по стопамъ его, какъ панургово стадо. Чтобы убить Цезаря, нужны были только Брутъ и Кассій, чтобы убить Тарквинія, было достаточно одного Брута. Для

преобразования Россіи хватило силъ одного Петра Великаго. Наполеонъ безъ всякой помощи обуздалъ остатки революціи. Единицы совершали всѣ великія дѣла въ исторіи... Воля создавала, разрушала, преобразовывала... Ничто не можетъ быть интереснѣе исторіи святыхъ, этихъ людей съ чрезвычайно сильной волей... За этими людьми шли, ихъ поддерживали, но первое слово всегда было сказано ими. Все это является прямой противоположностью демократической системѣ, не допускающей единицъ — этой естественной аристократіи. Не думаю, чтобъ міръ могъ увидѣть конецъ того, что исходитъ изъ глубины человѣческой природы, что, кромѣ того, существуетъ и въ природѣ—*несравенства*.

Таковъ взглядъ Пушкина на идеалъ современной буржуазной Европы. Можно не соглашаться съ этимъ мнѣніемъ, но нельзя—подобно нѣкоторымъ русскимъ критикамъ, желавшимъ оправдать поэта съ либерально-демократической точки зрѣнія, — объяснять такія произведенія, какъ «Чернь», случайными настроеніями и недостаткомъ сознательнаго философскаго отношенія къ великому вопросу вѣка. Этотъ языческій мотивъ его поэзіи—смѣло провозглашаемый аристократизмъ духа, также связанъ съ глубочайшими корнями Пушкинскаго міровоззрѣнія, какъ другой мотивъ—возвращеніе отъ современной культуры къ первобытной простотѣ, къ всепрощающей мудрости природы. Красота героя — созидателя будущаго; красота первобытнаго человѣка — хранителя прошлаго: вотъ два міра, два идеала, которые одинаково привлекаютъ Пушкина, одинаково отдаляютъ его отъ современной культуры, враждебной и герою, и первобытному человѣку, до мозга костей своихъ мѣщанской и посредственной, не имѣющей силы быть до конца ни аристократичной, ни народной, ни христіанской, ни языческой. Вызовъ, брошенный торжествующему духу пользы—духу черни, приобретаетъ особенное значеніе въ устахъ Пушкина — начинателя той литературы, которая болѣе всѣхъ другихъ европейскихъ литературъ подверглась демагогическимъ и утилитарнымъ теченіямъ, которая въ этомъ отношеніи измѣнила своему учителю, покинула его въ совершенномъ одиночествѣ, обратилась противъ него—не только въ лицѣ наивныхъ угодниковъ черни, какъ Писаревъ, но и въ лицѣ гениальныхъ продолжателей Пушкина—ибо, въ сущности, и Гоголь, и Достоевскій, и Толстой обошли, замолчали, презрѣли эту героическую сферу Пушкинской мудрости, а противоположную довели до одностороннихъ, дисгармоническихъ, иногда прямо болѣзненныхъ и чудовищныхъ крайностей.

Стихотвореніе «Чернь» написано въ 1828 году. Только два года отдѣляютъ его отъ сонета на ту-же тему: «Поэтъ, не дорожи любовью народной!..» Но какая пережѣна, какое просвѣтлѣніе! Въ «Черни» есть еще романтизмъ, буйство и кипѣніе молодой крови, та необузданная сила ненависти, которая заставила Пушкина написать года четыре тому назадъ, въ письмѣ къ Вяземскому, нѣскольکو безсмертныхъ словъ, не менѣе злыхъ и мѣткихъ, чѣмъ стихи «Черни»: «Толпа жадно читаетъ исповѣди, записки etc., потому что въ подлости своей радуется униженію высокаго, слабостямъ могущаго. При открытіи всякой мерзости она въ восхищеніи. *Она малъ какъ мы, онъ мерзокъ, какъ мы!* Врете, подлецы: онъ и малъ, и мерзокъ—не такъ, какъ вы,—иначе!»

Въ этомъ порывѣ злости уже чувствуется вдохновеніе, которое въ послѣдствіи можетъ превратиться въ мудрость, но здѣсь нѣтъ еще мудрости, также какъ въ «Черни». И здѣсь и тамъ—желчь, ядъ, боль, острота эпиграммы. Избранникъ небесъ устаиваетъ говорить съ толпой, слушать ее и даже спорить. Это слабость. Только въ послѣднихъ словахъ:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ—

переходъ къ спокойствію, къ высшей мудрости. Но жаль, что слова эти слышитъ чернь. Для такой откровенности геніевъ не созданы ея звѣриныя уши. Не должно объ этомъ говорить на площадяхъ. Надо уйти въ святое мѣсто.

И поэтъ ушолъ:

Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя награды за подвижъ благородный.
Онъ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ...

Право царей—судить себя, и цари покупаютъ это право цѣной одиночества: «*Ты царь—живи одинъ*». Избранникъ уже не спорить съ чернью. Она является въ послѣднемъ трехстишіи сонета, жалкая и безсловесная:

Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ-ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

Такимъ образомъ героическая сторона въ міросозерцаніи Пушкина достигаетъ полной зрѣлости. Здѣсь болѣе нѣтъ ни порыва, ни скорби, ни страсти. Все тихо, ясно и мудро: въ этихъ словахъ, есть холодъ и твердость мрамора, изъ котораго изваяны лики древнихъ боговъ.

Пока избранникъ еще не вышелъ изъ толпы, пока душа его «вкушаетъ хладный сонъ»,—себѣ самому и людямъ онъ кажется обыкновеннымъ человѣкомъ:

И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Для того, чтобы могъ явиться міру пророкъ или герой, должно совершиться чудо перерожденія,—не менѣе великое и страшное, чѣмъ смерть:

Но лишь божественный глаголь .
До слуха чуткаго коснется,—
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ.

И онъ—уже болѣе не человѣкъ: въ немъ рождается высшее, непонятное людямъ существо. Звѣри, листья, воды, камни ближе сердцу его, чѣмъ братья:

Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенія полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...

Христіанская мудрость есть бѣгство отъ людей въ природу, уединеніе въ Богѣ. Языческая мудрость есть тоже бѣгство въ природу, но уединеніе въ самомъ себѣ, въ своемъ переродившемся, обожествленномъ «я». Это чудо перерожденія съ еще большею ясностью изображаетъ Пушкинъ въ «Пророкъ»:

И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угля, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынь я лежалъ...

Все человѣческое въ человѣкѣ истерзано, окровавлено, убито—и только теперь, изъ этихъ страшныхъ останковъ, можетъ возникнуть пророкъ:

И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
 „Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
 Исполнишь волею Моей
 И, обходя моря и земли,
 Глаголомъ жги сердца людей!“

Такъ создаются избранники божественнымъ насиліемъ надъ человѣческой природою, кровавою десницею беспощадныхъ серафимовъ, вырывающихъ языкъ и сердце, чтобы замѣнить ихъ жаломъ и углемъ.

Какая разница между героемъ и поэтомъ? По существу — никакой, разница — во внѣшнихъ проявленіяхъ: герой — поэтъ дѣйствія, поэтъ — герой созерцанія. Оба разрушаютъ старую жизнь, создаютъ новую, оба рождаются изъ одной демонической стихіи. Символь этой стихіи въ природѣ для Пушкина — море. Море подобно душѣ поэта и героя. Оно такое-же недюдимое и бесплодное — только путь къ невѣдомымъ странамъ — окованное земными берегами и бесконечно свободное, чуждое землѣ и небу, двойственное. Голосъ моря недаромъ понятенъ только для генія, «какъ друга ропотъ заунывный, какъ зовъ его въ прощальный часъ.»

Душа поэта, какъ море, любитъ смиренныхъ, первобытныхъ дѣтей природы, ненавидитъ самодовольныхъ, мечтающихъ укротить его дикую стихію. При взглядѣ на море, въ душѣ поэта возникаютъ два образа — Наполеонъ и Байронъ. Герой дѣйствія, герой созерцанія, братья по судьбѣ, по силѣ и страданіямъ, они — сыновья одной демонической стихіи:

Куда-бы нынѣ
 Я путь безпечный устремилъ?
 Одинъ предметъ въ твоей пустынѣ
 Мою-бы душу поразилъ.
 Одна скала, гробница славы...
 Тамъ погружались въ хладный сонъ
 Воспоминанья величавы:
 Тамъ угасалъ Наполеонъ.
 Тамъ онъ почилъ среди мученій.
 И вслѣдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
 Другой отъ насъ умчался геній,
 Другой властитель нашихъ думъ.
 Исчезъ, оплаканный свободой,
 Оставя міру свой вѣнецъ.
 Шумы, взволнуйся непогодой:
 Онъ былъ, о море, твой павецъ.
 Твой образъ былъ на немъ означенъ;

*Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, мощь, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, ничтѣмъ неукротимъ.*

Герой есть помазанникъ рока, естественный и неизбѣжный владыка міра. Но люди современной буржуазной и демократической середины ненавидятъ обѣ крайности—и свободу первобытныхъ людей, и власть героевъ. Современные буржуа и демократы чуть-чуть христіане—не далѣе благотворительности, чуть-чуть язычники—не далѣе всеобщаго вооруженія. Для нихъ нѣтъ героевъ, нѣтъ великихъ, потому что нѣтъ меньшихъ и большихъ, а есть только малые, безчисленные, похожіе другъ на друга, какъ сѣрыя капли мелкой изморози,—есть только равные передъ закономъ, основаннымъ на большинствѣ голосовъ, на волѣ черни, на этомъ худшемъ изъ насилій: ибо — подлые столь-же, какъ и малые — отъ всей души ненавидятъ. Они единственный законъ, освященный единственной, безспорной святыней — волей героя, Божьяго избранника. Нѣтъ героевъ, а есть начальники—такіе-же безчисленные, равные передъ закономъ и малые, какъ ихъ подчиненные; или-же, для удобства и спокойствія черни—одинъ большой начальникъ, большой солдатъ всей той-же демократической арміи — Наполеонъ III, большой, но не великій. Онъ пришелъ отъ малыхъ, и къ малымъ идетъ, онъ силенъ силою черни, большинствомъ голосовъ, и преподноситъ ей идеалъ ея собственной пошлости—буржуазное, умѣренное, безопасное «братство», это разогрѣтое вчерашнее блюдо. Онъ являетъ толпѣ ея собственный звѣриный образъ, украшенный знаками высшей власти, воровски похищенными у героевъ. Наполеонъ III—сынъ черни, съ нѣжностью любить чернь—свою мать, свою стихію. Больше всего въ мірѣ боится и ненавидитъ онъ законныхъ властителей міра—пророковъ и героевъ. Такъ мирный предводитель гусиного стада боится и ненавидитъ хищниковъ небесныхъ, орловъ, ибо когда слетаетъ къ людямъ божественный хищникъ—герой, то равенству и большинству голосовъ и добродѣтелямъ черни и предводителямъ гусиного стада—смерть всему. Но, къ счастью для толпы, демоническое явленіе пророковъ и героевъ самое рѣдкое и необычайное изъ всѣхъ явленій міра. Между двумя праздниками исторіи, между двумя геніями, царитъ добродѣтельная буржуазная скука, демократическіе будни. Власть человѣка и власть природы, владыка тѣлъ и владыка душъ, Кесарь вѣнчанный Римомъ, и Кесарь вѣнчанный Рокомъ, — вотъ сопоставленіе, которое послужило темой для одного

изъ самыхъ глубокихъ, необычайныхъ по мудрости стихотвореній Пушкина—«Недвижный стражъ дремалъ на царственномъ порогѣ»:

То былъ сей чудный мужъ, посланникъ провидѣнья,
Свершитель роковой безвѣстнаго велѣнья,
Сей всадникъ передъ кѣмъ склонялися цари.
Мятежной вольницы наслѣдникъ и убійца.

Сей хладный кровопійца,

Сей царь, исчезнувшій, какъ сонъ, какъ тѣнь зари.
Ни тучной праздности лѣнивыя морщины,
Ни поступь тяжкая, ни раннія сѣдины,
Ни пламень гаснущій нахмуренныхъ очей
Не обличали въ немъ изгнаннаго героя.

Мученіемъ покоя

Въ моряхъ казненнаго по манію парей.
Нѣтъ, чудный взоръ его живой, неуловимый,
То въ даль затерянный, то вдругъ неотразимый.
Какъ боевой перунъ, какъ молнія сверкалъ;
Во цвѣтъ здравія и мужества и мощи

Владыкъ Полунощи

Владыка Запада грозящій предстоять.

Героическая мудрость вождей и пророковъ столь-же вѣчная и необходимая форма религіи, какъ всепрощающая мудрость, простота сердца, смиреніе первобытныхъ людей. Пушкинъ беретъ черты героизма всюду, гдѣ ихъ находить,—также, какъ черты христіанскаго милосердія: обѣ мудрости не противорѣчатъ одна другой, потому что обѣ основаны на единомъ стремленіи человѣка прочь изъ своей человѣческой къ высшей природѣ. Потому-то геній Пушкина и проникаетъ съ такою легкостью въ самое сердце отдаленныхъ вѣковъ и народовъ, что онъ обладаетъ этимъ волшебнымъ талисманомъ, ключемъ двойственной мудрости, который срываетъ всѣ Соломоновы печати, открываетъ всѣ замки на вратахъ въ невѣдомые міры исторіи.

Поэзія первобытнаго племени, объединеннаго волей законодателя-пророка, дышетъ въ подражаніяхъ Корану. Сквозь вѣяніе огненной пустыни здѣсь уже чувствуется ароматъ благородной мусульманской культуры, которой суждено дать міру сладострастную нѣгу Альгамбры и «Тысячи одной ночи». Пока это — народъ еще дикій, хищный, жаждущій только славы и крови. Герой пришелъ, собралъ горсть семитовъ, отвергнутыхъ исторіей, затерянныхъ въ степяхъ Аравіи, раскалилъ фанатизмомъ древняго Моисеева единобожія, выковалъ страчнымъ молотомъ закона и бро-

силъ въ міръ, какъ остро отточенный мечъ среди дряхлѣющихъ византійскихъ или одичалыхъ варварскихъ племенъ Европы:

Не даромъ вы приснились мнѣ
Въ бою съ обритыми главами,
Съ окровавленными мечами
Во рвахъ, на башнѣ, на стѣнѣ,
Внемлите радостному кличу,
О, дѣти пламенныхъ пустынь!
Ведите въ плѣнъ молодыхъ рабынь,
Дѣлите бранную добычу!
Вы побѣдили: слава вамъ!..

И рядомъ съ кровавыми ужасами какія нѣжныя черты цѣломудреннаго и гордаго великодушія! Христіанское милосердіе недаромъ включено въ героическую мудрость пророка. Для него милосердіе — щедрость безмѣрно-богатыхъ сердецъ: «щедрота полная угодна небесамъ. Но если, пожалѣвъ трудовъ земныхъ стяжанья, вручая нищему скупое подаянье, сжимаешь ты свою завистливую длань,—знай: всѣ твои дары, подобно горсти пыльной, что съ камня моетъ дождь обильный, исчезнутъ—Господомъ отверженная дань».

Жестокость и милосердіе соединяются въ образѣ Аллаха. Это двѣ стороны одинаго величія. Вся природа свидѣтельствуетъ о щедрости Бога:

Онъ человѣку далъ плоды,
И хлѣбъ, и финикъ, и оливу,
Благословилъ его труды,
И вертоградъ, и холмъ, и ниву.
.....
Зажегъ онъ солнце во вселенной,
Да свѣтитъ небу и землѣ,
Какъ лень, елеемъ напоенный,
Въ лампадномъ свѣтитъ хрусталѣ.
.....
Онъ милосердъ: Онъ Магомету
Открылъ сіяющій коранъ.

Магометъ—прибѣжище и радость смиренныхъ дикихъ сыновъ пустыни, бичъ и гроза невѣрныхъ, суетныхъ и велерѣчивыхъ, непокорившихся волѣ Единаго. Гибелью окруженъ разгнѣванный пророкъ. Только безпощадность Аллаха равна его милосердію и какъ

чудно они сливаются въ одномъ ужасающемъ и благодатномъ явленіи:

Нѣтъ, не покинуть я тебя.
 Кого-же въ снѣ успокоенья
 Я ввелъ, главу его любя,
 И скрылъ отъ зоркаго гоненья?
 Не я-ль въ день жажды напоилъ
 Тебя пустынными водами?
 Не я-ль языкъ твой одарилъ
 Могучей властью надъ умами?
 Мужайся-жь, презирай обманъ,
 Стезю правды бодро слѣдуй.
 Люби сиротъ, и мой коранъ
 Дрожащей твари проповѣдуй.

Но дважды ангелъ вострубитъ.
 На землю громъ небесный грянетъ—
 И братъ отъ брата побѣжитъ,
 И сынъ отъ матери отпрянетъ.
 И всѣ предъ Бога притекутъ,
 Обезображенные страхомъ—
 И нечестивые падутъ,
 Покрыты пламенемъ и прахомъ.

Любопытно, что русскій нигилистъ, Раскольниковъ, заимствовалъ у пушкинскаго Магомета эти вдохновенныя слова о «дрожащей твари». Два идеала, преслѣдующіе воображеніе Раскольникова—Наполеонъ и Магометъ, привлекаютъ и Пушкина.

Къ лику любимыхъ пушкинскихъ героевъ «Записки Смирновой» прибавляютъ Моисея: «Пушкинъ сказалъ, что личность Моисея всегда поражала и привлекала его,—онъ находитъ Моисея замѣчательнымъ героемъ для поэмы. Ни одно изъ библейскихъ лицъ не достигаетъ его величія: ни патріархи, ни Самуилъ, ни Давидъ, ни Соломонъ; даже пророки менѣе величественны, чѣмъ Моисей, царящій надъ всей исторіей народа израильскаго и возвышающійся надъ всѣми людьми. Брюловъ подарилъ Пушкину эстампъ, изображающій «Моисея» Микель Анжело. Пушкинъ очень желалъ-бы видѣть самую статую. Онъ всегда представлялъ себѣ Моисея съ такимъ *сверхчеловѣческимъ* лицомъ. Онъ прибавилъ: «Моисей—титанъ, величественный въ совершенно другомъ родѣ, чѣмъ греческій Прометей и Прометей Шелли. Онъ не возстаетъ противъ Вѣчнаго, онъ творитъ Его волю, онъ участвуетъ въ дѣлахъ Божественнаго промысла, начиная съ неопалимой купины до Синая, гдѣ онъ видитъ

Бога лицомъ къ лицу. И умираетъ онъ одинъ передъ лицомъ Всевышняго».

Но если-бы Пушкинъ могъ видѣть не сомнительный эстампъ Брюлова, а мраморъ Микель Анжело, онъ вѣроятно почувствовалъ-бы, что титанъ Израиля не чуждъ Прометеева духа Пушкинъ замѣтилъ-бы надъ «сверхчеловѣческимъ» лицомъ исполина два короткихъ странныхъ луча—подобіе двухъ чудовищныхъ роговъ, которые придаютъ ужасному созданію Буанаротти такой загадочный видъ. И въ нахмуренныхъ бровяхъ и въ морщинахъ упрямаго лба изображается дикая ярость: должно быть, вождь Израиля только что увидѣлъ вдали народъ, пляшущій вокругъ Золотого Тельца,—и готовъ разбить скрижали Завѣта.

Болѣе чѣмъ кто-либо изъ русскихъ писателей, не исключая и Достоевскаго, Пушкинъ понималъ эту соблазнительную тайну, этотъ ореолъ демонизма, окружающій всякое явленіе героевъ и полубоговъ на землѣ.

Однажды—бесѣдуя при Смирновой о философскомъ значеніи библейскаго и байроновскаго образа Дула Тьмы, Искусителя—Пушкинъ на одно замѣчаніе Александра Тургенева возразилъ живо и серьезно: «суть въ нашей душѣ, въ нашей совѣсти и въ *обаяніи зли*. Это обаяніе было-бы не объяснимо, если-бы зло не было одарено прекрасной и пріятной внѣшностью. Я вѣрю Библии во всемъ, что касается Сатаны; въ стихахъ о Падшемъ Духѣ, прекрасномъ и коварномъ, заключается великая философская истина».

Очарованіе зла—изыческаго сладострастія и гордости, поэтъ выразилъ въ своихъ терцинахъ, исполненныхъ сумеречною тайною ранняго флорентинскаго Возрожденія, напоминающихъ самыя мудрыя и обольстительно-двойственные изъ рисунковъ Леонардо да Винчи. Здѣсь Пушкинъ ближе къ намъ, людямъ конца XIX вѣка, чѣмъ какой-либо изъ современныхъ русскихъ писателей: онъ угадалъ сокровеннѣйшія томленія и предчувствія нашего сердца, то необычайное и дерзновенное, чего мы ждемъ отъ грядущаго искусства. Добродѣтель является въ символическомъ образѣ Наставницы смиренной—одѣтой убого, но видомъ величавой жены, надъ школою надзоръ хранящей строго. Она бесѣдуетъ съ младенцами пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, и на челѣ ея покрывало цѣломудрія, и очи у нея свѣтлыя, какъ небеса. Но въ сердцѣ поэта-ребенка уже зрѣютъ сѣмена гордыни и сладострастія:

Но я вникалъ въ ея бесѣды мало.
 Меня смущала строгая краса
 Ея чела, спокойныхъ устъ и взоровъ
 И полныя святыни словеса.
 Дичась ея совѣтовъ и укоровъ,
Я про себя превратно толковала
Понятный смыслъ правдивыхъ разговоровъ
 И часто я украдкой убѣгалъ
 Въ великолѣпный мракъ чужого сада.
 Подъ сводъ искусственный порфирныхъ скалъ.
 Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада,
 Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ.
 И праздномыслить было мнѣ отрада.

Ребенку, убѣжавшему отъ цѣломудренной наставницы, въ великолѣпный мракъ и нѣгу языческой природы—этого «чужого сада», являются соблазнительныя привидѣнія умершихъ олимпійцевъ—*«бѣлые въ тѣни деревъ кумиры»*.

Все наводило сладкій нѣкій страхъ
 Мнѣ на сердце, и слезы вдохновенья
 При видѣ ихъ рождались на глазахъ.

Красота этихъ божественныхъ призраковъ ближе сердцу его, чѣмъ «полныя святыни словеса» строгой женщины въ темныхъ одеждахъ. Болѣе всѣхъ другихъ привлекаютъ отрока волшебной красой два чудесныя творенья. На даромъ ихъ двое, — Пушкинъ обнаруживаетъ и здѣсь самую таинственную и ужасную черту всякаго соблазна—*двойственность*.

То были *двухъ бѣсовъ* изображенья.
 Одинъ (Дельфійскій идолъ)—*ликъ молодой—*
Былъ типень, полонъ гордости ужасной,
 И весь дышалъ онъ силой неземной.
 Другой—женообразный, сладострастный,
 Сомнительный и лживый идеаль,
Волшебный демонъ—лживый, но прекрасный.

Для насъ, нашедшихъ единство въ двойственности, это уже не лживые идолы, не призраки умершихъ боговъ, а вѣчно-живые демоны, два идеала героической мудрости, ибо на Олимпѣ ихъ также двое: одинъ—Аполлонъ, богъ знанья, солнца и гордыни; другой—Дионисъ, богъ тайны, нѣги и сладострастiя.

Оба время отъ времени воскресаютъ. Последнимъ героическимъ воплощенiемъ дельфiйскаго бога солнца и гордыни

былъ «сей чудный мужъ, посланникъ провидѣнья, свершитель роковой безвѣстнаго велѣнья, сей хладный кровопійца, сей царь исчезнувшій, какъ сонъ, какъ тѣнь зари», — Наполеонъ. Въ самыя темныя времена, среди покаяннаго плача народовъ, среди воплей проповѣдниковъ смиренія и смерти, вокресаетъ и другой олимпійскій демонъ, «женообразный, сладострастный», — запѣвая свою буйную, вѣчную пѣснь на *пиръ во время чумы*:

Зажжемъ огни, нальемъ бокалы,
Утопимъ весело умы
И, заваривъ пиры да балы,
Возславимъ царствіе чумы!
Есть упоеніе въ бою.
И бездны мрачной на краю.
И въ разъяренномъ океанѣ,
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы!
Все, все, что гибелью грозитъ.
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья—
Безсмертья, можетъ быть, залогъ!
И счастливъ тотъ, кто средь волненья
Ихъ обрѣтаетъ и вѣдать могъ.
И такъ—хвала тебѣ, чума!
Намъ не страшна могила тьма.
Насъ не смутитъ твое призванье!

Это вакхическое упоеніе ужасомъ Пушкинъ еще яснѣе выразилъ въ одной изъ своихъ лучшихъ поэмъ — въ *Египетскихъ Ночахъ*. Недаромъ Достоевскій, изслѣдователь человѣческихъ глубинъ и мраковъ отнюдь не робкій, у котораго голова не кружится надъ самыми страшными безднами, — заглянувъ въ глубину этой поэмы, ужаснулся дерзновенію Пушкина. Клеопатра, бросающая поклонникамъ своимъ вызовъ: «свою любовь я продаю; скажите: кто межъ вами купитъ цѣною жизни ночь мою», является воплощеніемъ демона Вакха въ образѣ женщины, менадою, жрицею смерти въ кровавомъ Діонисовомъ таинствѣ. На вызовъ отвѣчаютъ три мужа, три героя, — римскій воинъ, греческій мудрецъ и безымянный отрокъ, «любезный сердцу и очамъ, какъ вѣшній цвѣтъ едва развитый», съ первымъ пухомъ юности на щекахъ, съ глазами сіяющими дѣтскимъ восторгомъ, столь невинный и безстрашный, что сама безпощадная царица остановила на немъ взоръ съ умиленіемъ:

Свершилось! Куплено три ночи,
И ложе смерти ихъ зоветъ.

И рядомъ съ ужасомъ смерти, какая беззаботная нѣга, какое упоеніе полнотою жизни, освобожденной отъ добра и зла:

Александрійскіе чертоги
Покрыла сладостная тѣнь.
Фонтаны бьютъ, горятъ лампы.
Курится легкій эфиръ
И сладострастные прохлады
Земнымъ готовятся *богамъ*.

Они достойны этого эмира—земные боги, избранники Діониса, герои сладострастія, ибо, увлекаемые безмѣрностью своихъ желаній, они преступили предѣлы человѣческаго существа и сдѣлались «какъ боги». Вотъ почему на лицѣ Клеопатры—не суетная улыбка, а молитвенная торжественность и благоговѣніе, какъ на лицѣ неумолимой весталки, когда она произноситъ священную клятву:

Внемли-же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
И боги грознаго Аида,
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
Я сладострастно утолю
И всѣми тайнами лобзанья
И дивной нѣгой утомлю.
Но только утренней порфирой
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣкирой
Глава счастливицевъ отпадетъ.

Трудно повѣрить, что художникъ, который воплотилъ въ этомъ образѣ царицу ужасовъ и нѣгъ, создалъ и чистый образъ Татьяны. Всего любопытнѣе то, что эта уѣздная русская барышня, подобно царицѣ египетскихъ ночей, любитъ загадочный мракъ, любитъ ужась. Поэтъ говоритъ о Татьянѣ:

*Но тайну прелесть находила
И въ самомъ ужасѣ она.*

Развѣ могутъ въ одной душѣ зародиться два такихъ образа: по выраженію Достоевскаго—идеаль Содома рядомъ съ идеаломъ Мадонны, развѣ можетъ одно сердце заключить въ себѣ двѣ та-

кихъ безднъ? Да, какъ въ музыкѣ сферъ,—бездна отвѣчаетъ безднѣ, темное небо отвѣчаетъ свѣтлому. Сонмы ангеловъ такъ-же прославляютъ Единого благословеніями, какъ сонмы демоновъ—проклятіями. Голоса двухъ безднъ сливаются въ одну гармонію.

Въ страстяхъ самыхъ уродливыхъ и низкихъ Пушкинъ, котораго въ этомъ отношеніи можно сравнить только съ Шекспиромъ, находитъ черты героизма и царственнаго величія. Человѣкъ не хочетъ быть человѣкомъ: все равно, въ какую-бы то ни было пропасть—только-бы прочь отъ своей человѣчности. Всякая страсть тѣмъ и прекрасна, что окрыляетъ душу для возмущенія, для бѣгства за ненавидимые предѣлы человѣческой природы. Скупой Рыцарь, дрожащій надъ сундукомъ въ подвалѣ, озаренный свѣтомъ сальнаго огарка и страшнымъ отблескомъ золота, превращается въ такого-же могучаго демона, притягиваетъ насъ такимъ-же плѣнительнымъ ужасомъ, какъ царица Клеопатра со своимъ кровавадымъ сладострастіемъ:

... Какъ нѣкій демонъ,
Отселѣ править міромъ я могу!
Лишь захочу—воздвигнутся чертоги,
Въ великолѣпные мои сады
Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою,
И музы дань свою мнѣ принесутъ,
И вольный геній мнѣ поработится,
И добродѣтель, и безсонный трудъ
Смирненно будутъ ждать моей награды.
Я свисну—и ко мнѣ послушно, робко
Вползетъ окровавленное злодѣйство.
И руку будетъ мнѣ лизать, и въ очи
Смотрѣть, въ нихъ знакъ моей читая воли.
*Мнѣ все послушно, я же—ничему;
Я выше вѣсть желаній; я спокоенъ...*
Я—царствую...

Вотъ веселый любовникъ Лауры—Донъ-Жуанъ—дитя Возрожденія, герой щедрости и сладострастія, легкаго, какъ пѣна играющихъ волнъ. Подобно Скупому Рыцарю и Клеопатрѣ, онъ вдругъ достигаетъ величія, когда подаетъ Каменному Гостю безтрепетную руку:

И звать тебя и радъ, что вижу.

Вотъ герои-неудачники—старшіе братья Раскольникова, преступившіе законъ и ужаснувшіеся, не имѣющіе силы для безстрастія и безопасности истинныхъ героевъ: царубійца Годуновъ, убійца

генія—Сальери. Вотъ и призраки не родившихся героевъ, безкрылыя попытки малыхъ создать великаго—Стенька Разинъ, Пугачевъ, Гришка Отрепьевъ.

Можно сказать, что въ лицѣ Пушкина духъ русскаго народа впервые поднялся на міровую высоту героической мудрости и оглянулъ тысячелѣтній путь человѣчества, отъ Магомета до Наполеона, отъ библейскихъ пророковъ до Байрона, отъ Моисея, готоваго разбить свои скрижали, до современнаго поэта, среди торжества новой черни, пляшущей вокругъ Золотого Тельца.

Но надъ этимъ сонмомъ Пушкинскихъ героевъ возвышается одинъ—тотъ, кто былъ первообразомъ самого поэта—герой русскаго подвига, также какъ Пушкинъ былъ героемъ русскаго созерцанія. Въ сущности, Пушкинъ есть донинѣ единственный отвѣтъ. достойный великаго вопроса объ участіи русскаго народа въ міровой культурѣ, который заданъ былъ Петромъ Великимъ. Пушкинъ отвѣчаетъ Петру, какъ слово отвѣчаетъ дѣйствию. Возвращаясь къ первобытной, христіанской и народной стихіи, особенно въ своихъ крайнихъ и одностороннихъ проявленіяхъ—въ презрѣніи къ наукѣ у Льва Толстого, въ презрѣніи къ «гнилому Западу» у Достоевскаго, вся послѣдующая русская литература есть какъ-бы измѣна тому героическому началу міровой культуры, которое было завѣщено Россіи двумя одиночками и непонятыми русскими героями—Петромъ и Пушкинымъ.

Прежде всего, для Пушкина безпощадная, титаническая воля Петра—явленіе отнюдь не менѣ народное, не менѣ русское, чѣмъ для Толстого смиренная покорность Богу въ Платонѣ Каратаевѣ или для Достоевскаго христіанская кротость въ Алешѣ Карамазовѣ. Потому-то сверхчеловѣческое видѣніе Мѣднаго Всадника, «чудотворца-исполина», такъ преслѣдовало и плѣняло воображеніе Пушкина, что въ Петрѣ онъ нашелъ наиболѣе полное историческое воплощеніе того героизма, древняго, дохристіанскаго могущества русскихъ богатырей, которое поэтъ носилъ въ своемъ собственномъ сердцѣ, выражалъ въ своихъ собственныхъ пѣсняхъ.

«Я утверждаю,—говоритъ Пушкинъ у Смирновой,— что Петръ былъ архирусскимъ человѣкомъ, несмотря на то, что сбрилъ свою бороду и надѣлъ голландское платье. Хомяковъ заблуждается, говоря, что Петръ думалъ, какъ нѣмецъ. Я спросилъ его на дняхъ, изъ чего онъ заключаетъ, что византійскія идеи Московскаго царства болѣе народны, чѣмъ идеи Петра». Вопросъ ядовитый и опасный не только для такихъ наивныхъ романтиковъ старины, какъ Хомяковъ! Странно, что даже тѣ изъ русскихъ людей, которые

глубже всѣхъ проникають въ духъ пушкинской поэзіи, т. е. Гоголь и Достоевскій, ослѣпленные одностороннимъ христіанствомъ, не видятъ или не хотятъ видѣть эту кровную связь Пушкина съ Петромъ. А между тѣмъ безъ Петра не могло быть воплощенія русскаго созерцанія въ Пушкинѣ, безъ Пушкина Петръ не могъ быть понятъ, какъ высшее героическое явленіе русскаго духа.

Пушкинъ не закрываетъ глаза на недостатки и несовершенства своего героя.

«Петръ былъ нетерпѣливъ,—говорить онъ въ одной замѣткѣ о *просвѣщеніи Россіи*, — ставъ главою новыхъ идей, онъ, можетъ быть, далъ слишкомъ крутой оборотъ огромнымъ колесамъ государства. Въ общее презрѣніе ко всему народному включена и народная поэзія, столь живо проявившаяся въ грустныхъ народныхъ пѣсняхъ, въ сказкахъ и лѣтописяхъ».

Но, съ другой стороны, беспощадная демоническая сила, которая такъ легко, какъ-бы играя, переступаетъ предѣлы возможнаго, историческаго, народнаго, даже человѣческаго, не кажется Пушкину однимъ изъ несовершенствъ героя. Искушаются радостью великаго единого страданія безчисленныхъ малыхъ?—Пушкинъ понимаетъ, что это вопросъ высшей мудрости—внѣ добра и зла. «И роюсь въ архивахъ,—говоритъ Пушкинъ,—тамъ ужасныя вещи, дѣйствительно много было пролито крови, но ужъ *рокъ велитъ варварамъ проливать ее* и исторія всего человечества залита кровью, начиная отъ Каина и до нашихъ дней. *Это, можетъ быть, неутѣшительно, но не для меня, такъ какъ я имѣю въ виду будущность...* Петръ былъ революціонеръ-гигантъ, но это гений, какихъ нѣтъ». Въ одномъ наброскѣ политической статьи 1831 года мы находимъ слѣдующія слова: «Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoleon (la révolution incarnée)»,—«Петръ есть въ одно и то-же время Робеспьеръ и Наполеонъ (воплощенная революція)». Вѣроятно, съ этимъ проникновеннымъ замѣчаніемъ Пушкина согласились-бы и Достоевскій, и Левъ Толстой. Но разница въ томъ, что оба они, подобно русскимъ старовѣрамъ, съ ужасомъ отшатнулись-бы отъ такой помѣси Робеспьера и Наполеона, какъ отъ навожденія Антихристовъ, какъ отъ своего рода апокалипсическаго звѣря, тогда какъ Пушкинъ, несмотря на односторонность Петра, которую онъ понимаетъ не хуже, чѣмъ кто-либо другой, несмотря на ореолъ кровавыхъ ужасовъ, видитъ въ немъ не только величайшаго изъ русскихъ людей, возвѣстителя

невѣдомаго міру могущества, скрытаго въ русскомъ народѣ, но и одного изъ величайшихъ всемірныхъ гениевъ.

Уже въ третьей пѣснѣ «Полтавы» Петръ, подобно небожителямъ Гомера, является страшнымъ и благодатнымъ богомъ брани:

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный гласъ Петра:
„За дѣло съ Богомъ!“ Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ,
Онъ весь, какъ Божія гроза.

И онъ промчался предъ полками,
Могущъ и радостенъ, какъ бой.

Русскій богатырь своимъ грознымъ явленіемъ напоминаетъ того древняго бога, дельфійскаго демона, который волшебной красотой соблазняетъ отрока, бѣжавшаго отъ цѣломудренной Наставницы:

... . Ликъ его молодой
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.

Это сходство въ описаніи русскаго героя и эллинскаго бога конечно несознательно, но и не случайно.

А вотъ въ томъ-же образѣ—милосердіе, великодушіе, прощеніе врагу. Милосердіе для героя—не жертва и страданіе, а новое веселіе, щедрость, избытокъ силы и радости, которые переливаются черезъ край на ближнихъ и дальнихъ, на враговъ и друзей. Милосердіе героя — благодать бога солнца, Аполлона, смертоноснаго и животворящаго:

Что пируетъ царь великій
Въ Петербургъ-городкѣ?
Отчего пальба и клики,
И эскадра на рѣкѣ?
Озаренъ-ли честью новой
Русскій штыкъ иль русскій флагъ?
Побѣжденъ-ли шведъ суровый?
Мира-ль проситъ грозный врагъ?

Нѣтъ, онъ съ подданнымъ мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;

Чашу пѣнить съ нимъ одну;
 И въ чело его цѣлуешь,
 Свѣтѣль сердцемъ и лицомъ;
И прощенье торжествуетъ.
Какъ победу надъ врагомъ.

Подобно тому, какъ въ «Цыганахъ» съ наибольшою полнотою отразилась всепрощающая мудрость первобытныхъ людей, такъ противоположная сфера пушкинской поэзіи — обоготвореніе силы героя, воплотилась въ «Мѣдномъ Всадникѣ». Это — послѣднее изъ великихъ произведеній Пушкина: только по этому обломку недовершеннаго міра можно судить, куда онъ шелъ, что погибло съ нимъ. «Петръ не успѣлъ довершить многое, начатое имъ, — говоритъ поэтъ о своемъ первообразѣ — онъ умеръ въ порѣ мужества, во всей силѣ творческой своей дѣятельности, еще только въ полъ-ножны вложивъ побѣдительный свой мечъ». Эти слова могутъ относиться и къ самому Пушкину. Быть можетъ, во всей русской литературѣ нѣтъ произведенія болѣе вѣщаго, болѣе дерзновенно устремленнаго къ будущему, чѣмъ «Мѣдный Всадникъ» — лебединая пѣсня Пушкина.

Здѣсь вѣчная противоположность двухъ героевъ, двухъ началъ — Тазита и Галуба, стараго Цыгана и Алеко, Татьяны и Онѣгина, взята уже не съ точки зрѣнія первобытной, христіанской, а новой героической мудрости. Съ одной стороны — малое счастье малаго, — невѣдомаго коломенскаго чиновника, напоминающаго смиренныхъ героевъ Достоевскаго и Гоголя, простая любовь простого сердца; съ другой — сверхчеловѣческое видѣніе героя. Воля героя и возстаніе первобытной стихіи въ природѣ — наводненіе, бушующее у подножія Мѣднаго Всадника; воля героя и такое-же возстаніе первобытной стихіи въ сердцѣ человѣческомъ — вызовъ, брошенный въ лицо герою однимъ изъ безчисленныхъ, обреченныхъ на гибель этой беспощадной волей, — вотъ смыслъ поэмы.

На потопленной площади, — тамъ, гдѣ надъ крыльцомъ «стоятъ два лѣва сторожевые — на звѣрѣ мраморномъ верхомъ, безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ, сидѣлъ недвижный, страшно блѣдный, Евгенийъ —

Его отчаянные взоры
 На край одинъ наведены
 Недвижно были. Словно горы,
 Изъ возмущенной глубины
 Вставали волны тамъ и злились.
 Тамъ буря выла, тамъ носились

Обломки... Боже, Боже! тамъ—
 Увы! близехонько къ волнамъ,
 Почти у самаго залива—
 Заборъ некрашенный, да ива
 И ветхій домикъ, тамъ онъ,
 Вдова и дочь, его Параша,
 Его мечта... Или во снѣ
 Онъ это видитъ? Иль вся наша
 И жизнь ничто, какъ сонъ пустой,
 Насмѣшка рока надъ землей?

И обращенъ къ нему спиною
 Въ неколебимой вышинѣ,
 Надъ возмущенною Невкою,
 Сидитъ съ простертою рукою
 Гигантъ на бронзовомъ конѣ.

Какое дѣло гиганту до гибели невѣдомыхъ, безчисленныхъ? Какое дѣло чудотворному строителю до крошечнаго ветхаго домика на взморьѣ, гдѣ живетъ Параша—любовь смиреннаго коломенскаго чиновника? Онъ погибнетъ. И пусть! Не онъ первый, не онъ послѣдній. Воля героя умчить и пожреть его, вмѣстѣ съ его малою любовью, съ его малымъ счастьемъ, какъ волны наводненія—слабую щепку. Это—рокъ. Не для того-ли рождаются безчисленные, равные, лишніе, чтобы по костямъ ихъ великіе избранники шли къ своимъ невѣдомымъ цѣлямъ? Пусть-же гибнущій покорится тому, «чьей волей роковой надъ моремъ городъ основался»:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
 Какая дума на челѣ!
 Какая сила въ немъ сокрыта!
 А въ семъ конѣ какой огонь!
 Куда ты скачешь гордый конь,
 И гдѣ опустишь ты копыта?
 О, мощный властелинъ судьбы!
 Не такъ-ли ты надъ самой бездною,
 На высотѣ, уздой желѣзной
 Россію вздернулъ на дыбы?

А что, если нѣтъ? Что, если въ слабомъ сердцѣ ничтожнѣйшаго изъ ничтожныхъ, дрожащей твари, вышедшей изъ праха и готовый во прахъ вернуться,—что если въ простой жалости, простой любви его откроется бездна не меньшая той, изъ которой родилась всепожирающая воля героя? Что если червь земли возмутится противъ своего бога? Неужели злобный шопоть этого презрѣннаго,

жалкія угрозы этого безумца достигнуть до мѣднаго сердца гиганта и заставить его содрогнуться? Неужели очи демона вспыхнутъ яростью? Такъ стоятъ они вѣчно другъ противъ друга—малый и великій, полный безуміемъ жалости и полный безумья гордыни. Кто сильнѣе, кто побѣдитъ? Нигдѣ въ русской литературѣ два міровыхъ начала не сходились въ такомъ ужасающемъ столкновеніи:

Кругомъ подножія кумира
 Безумецъ бѣдный обошелъ,
 И взоры дикіе навелъ
 На ликъ державца полуміра.
 Стѣснилась грудь его. Чело
 Къ рѣшеткѣ хладной прилегло,
 Глаза подернулись туманомъ,
 По сердцу пламень пробѣжалъ,
 Вскипѣла кровь; онъ мрачно сталъ
 Предъ горделивымъ истуканомъ.
 И, зубы стиснувъ, пальцы сжавъ,
 Какъ обуянный силой черной:
 „Добро, строитель чудотворный!“
 Шепнулъ онъ, злобно задрожавъ:
 „Ужо тебя!“ И вдругъ стремглавъ
 Бѣжать пустился. Показалось
 Ему, что грознаго царя,
 Мгновенно гнѣвомъ возгоря,
 Лицо тихонько обращалось...

Смиранный самъ ужаснулся своего дерзновенія, той невѣдомой глубины возмущенія, которая открылась въ его сердцѣ. Но вызовъ брошенъ—и нельзя его взять назадъ; судъ малаго надъ сверхчеловѣческимъ демономъ произнесенъ: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебя!»—это значить: мы слабые, малые, равные идемъ на тебя, Великій, мы еще поборемся съ тобой, сильные нашею жалостью, и какъ знать—кто тогда побѣдитъ? Вызовъ брошенъ, и спокойствіе горделиваго истукана нарушено, ибо онъ въ самомъ дѣлѣ еще не знаетъ, кто побѣдитъ. Мѣдный Всадникъ преслѣдуетъ безумца:

И онъ по площади пустой
 Бѣжитъ и слышитъ за собой
 Какъ будто грома грохотанье,
 Тяжело-звонкое скаканье
 По потрясенной мостовой
 И, озаренъ луною блѣдной,
 Простерши руку въ вышинъ,
 За нимъ несется Всадникъ Мѣдный

На звонко-скачущемъ конѣ...
 И во всю ночь безумецъ бѣдный
 Куда стопы ни обращалъ,
 За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный
 Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.

Дрожащая тварь еще болѣе смирилась: теперь каждый разъ, какъ ему случится проходить мимо «горделиваго истукана», — въ лицѣ несчастнаго изображается смятеніе, онъ поспѣшно прижимаетъ руку къ сердцу, снимаетъ изношенный картузь и, потупивъ глаза, идетъ сторонкой.

Поэма кончается послѣ ужаса привидѣнія неменьшимъ ужасомъ обыкновенной жизни, отвратительною скукою петербургскихъ будней:

Островъ малый
 На взморѣ видѣнъ. Иногда
 Причалить съ неведомъ туда
 Рыбакъ, на ловлѣ запоздалый,
 И бѣдный ужинъ свой варить,
 Или чиновникъ посѣтитъ,
 Гуляя въ лодкѣ въ воскресенье,
 Пустынный островъ. Не возросло
 Тамъ ни былинки. Наводненъ
 Туда, играя, занесло
 Домишко ветхій. Надъ водою
 Остался онъ, какъ черный кустъ.
 Его прошедшею весною
 Свезли на баркѣ. Былъ онъ пустъ
 И весь разрушенъ. У порога
 Нашли безумца моего...
 И тутъ-же хладный трупъ его
 Похоронили, ради Бога.

Такъ погибъ вѣрный любовникъ Параши, одна изъ невидимыхъ жертвъ безжалостной воли героя. Но вѣщій бредъ безумца, слабый шопотъ его возмущенной совѣсти уже не умолкнетъ во вѣки, не будетъ заглушенъ подобнымъ грому грохотаньемъ, тяжелымъ топотомъ Мѣднаго Всадника. Вся русская литература послѣ Пушкина будетъ демократическимъ и галилейскимъ возстаніемъ на того гигантскаго всадника, который «надъ бездною Россію вздернулъ на дыбы». Всѣ великіе русскіе писатели, не только явные мистики — Гоголь, Достоевскій, Левъ Толстой, но даже Тургеневъ и Гончаровъ, — по наружности западники, по существу такіе-же мистики и враги культурнаго язычества, — будутъ звать Россію прочь отъ един-

«ственнаго, непонятаго русскаго героя, отъ забытаго и неразгаданнаго любимца Пушкина, вѣчно-одинокaго исполина на обледѣннѣлой тлѣбѣ финскаго гранита, — будутъ звать назадъ къ материнскому лону русской земли, согрѣтой русскимъ солнцемъ, къ смиренію въ Богѣ, къ простотѣ сердца великаго народа-пахаря, въ уютную горницу старосвѣтскихъ помѣщиковъ, къ дикому обрыву надъ родимою Волгой, къ затишью дворянскихъ гнѣздъ, къ серафической улыбкѣ Идіота, къ блаженному «недѣланью» Ясной Поляны;—и всѣ они, всѣ до одинаго, быть можетъ сами того не зная, подхватятъ этотъ вызовъ малыхъ великому, этотъ богохульный крикъ возмущившейся черни: «добро, строитель чудотворный! Ужо тебя!»

IV.

Необходимымъ условіемъ всякаго творчества, которому суждено имѣть всемірно-историческое значеніе, является присутствіе и въ различныхъ степеняхъ гармоніи взаимодействіе двухъ началъ— новаго мистицизма, какъ отреченія отъ своего *Я* въ Богѣ, и язычества, какъ обожествленія своего *Я* въ героизмѣ.

Только что средневѣковая поэзія достигаетъ значенія всемірнаго, какъ у самаго теологическаго изъ новыхъ поэтовъ—у Данте Алигieri, чувствуется первое вѣяніе воскресшей языческой древности,—правда лишь римской, не греческой, но вѣдь латиняне для католиковъ всегда служили естественнымъ путемъ въ глубину язычества—къ эллинамъ. Вліяніе латинскаго міра сказывается у Данте не только въ просвѣтленномъ образѣ уже не мрачнаго средневѣковаго черно книжника, а воскресшаго мантуанскаго лебедя, пѣвца Энеиды и Георгикъ, озареннаго во мракѣ ада первымъ лучемъ классическаго солнца; не только на идеѣ всемірной монархіи, представителями которой для флорентинскаго гибеллина были Цезарь и Александръ — два языческихъ полубога. Еще болѣе это вліяніе латинскаго міра отразилось на образѣ главнаго, хотя и невидимаго, героя «Божественной Комедіи» — на средневѣковомъ образѣ неумолимаго Законодателя и Судьи, Монарха вселенной, распредѣляющаго—въ чисто-римской безпощадной симметріи подземныхъ круговъ и небесныхъ іерархій—казни и награды, муки и блаженства, съ непреклонною суровостью того древняго героическаго духа, на которомъ основано—донынѣ въ глубочайшихъ гранитныхъ фундаментахъ своихъ незывлемое—міродержавное зданіе римскаго права.

Съ другой стороны, подобно тому какъ мы находимъ возрожденное или безсмертное язычество въ самой глубинѣ средневѣко-

ваго, церковнаго міра, такъ въ самомъ сердцѣ трагическаго героизма, среди кровавыхъ жертвоприношеній богу Пану и Діонису, среди ужасныхъ гимновъ Року и Евменидамъ, мелькаютъ первые проблески еще безымяннаго, но уже божественно-прекраснаго милосердія. Эти проблески, какъ искры глухо-тлѣющаго подъ пепломъ огня, вспыхиваютъ неожиданно то здѣсь, то тамъ, на всемъ протяженіи греко-римскаго язычества, отъ Платона до Эпиктета, отъ Софокла до Марка Аврелія. Рядомъ съ Эдипомъ, кровосмѣсителемъ, отцеубійцей—этимъ воплощеніемъ титанической гордыни и скорби,—цѣломудренный образъ Антигоны, озаренный сіяніемъ чистѣйшей небесной любви и милосердія. Рядомъ съ волшебницей Медеей, матерью обагряющей руки въ крови дѣтей своихъ, видѣніе кроткой Алькестисъ, напоминающее легенды о христіанскихъ мученицахъ,—Алькестисъ, которая, исполняя еще не сказанную, но уже написанную Богомъ въ сердцѣ человѣка заповѣдь любви, отдаетъ жизнь свою за друзей своихъ. Подъ сводами древняго Аида свѣтлыя тѣни Алькестисъ и Антигоны полны такою-же ангельскою прелестью, какъ Маргарита и Беатриче въ сонмѣ небесныхъ видѣній. Быть можетъ, христіанское чувство всего прекраснѣе въ тѣ времена, когда, только что родившись изъ безднъ трагической безнадежности, передъ лицомъ бога Пана и Діониса, оно еще само себя не знаетъ, не умѣетъ назвать по имени.

Здѣсь и тамъ—въ языческой трагедіи, въ христіанской поэмѣ, **два начала** не только не уравниваются другъ друга, не примиряются, но одно изъ нихъ до такой степени подчинено другому, подавлено и поглощено другимъ, что они еще не стремятся къ примиренію, даже не борются. У Данте ветхая паутина средневѣковой схоластики, уродливые ужасы теологическаго ада омрачаютъ первый ранній лучъ языческой мудрости. У греческихъ трагиковъ безнадежные вопли кровавыхъ жертвъ Діонису, беспощадные гимны Року, заглушаютъ первый ранній лепетъ божественной любви и милосердія.

Вотъ почему духъ Возрожденія,—попытки котораго начались въ Италіи съ XIV вѣка, въ теченіи послѣднихъ пяти вѣковъ много разъ возобновлялись по всей Европѣ и въ наши дни еще не закончены,—выше въ извѣстномъ отношеніи, чѣмъ духъ эллинскаго и **средневѣковаго міра**. Духъ Возрожденія освободилъ язычество изъ-подъ гнета средневѣковаго католицизма; освободилъ первобытные родники христіанскаго чувства изъ-подъ обломковъ и развалинъ язычества, изъ-подъ чудовищной схоластики, варварской латыни,

искажавшей арабскіе комментаріи къ сочиненіямъ Аристотеля. Только теперь въ первый разъ два міровыхъ начала, освобожденные другъ отъ друга, встрѣтились въ духѣ Возрожденія и вступили въ живое взаимодействіе, въ безконечную борьбу, какъ два равноправныхъ, равносильныхъ бойца. Достижимо-ли полное примиреніе? Это — неразрѣшенный, быть можетъ неразрѣшимый, вопросъ будущаго.

Во всякомъ случаѣ, драгоцѣннѣйшими плодами міровыхъ усилій и бореній человѣчества, признаками подъема на вершины творчества и мудрости являются тѣ рѣдкія мгновенія, когда два міра достигаютъ хотя-бы безсознательнаго и несовершеннаго примиренія, хотя-бы неустойчиваго равновѣсія. До сихъ поръ, за пять вѣковъ возобновлявшихся попытокъ Возрожденія, только двумъ всеобъемлющимъ гениямъ — Леонардо да Винчи и Гете, удалось достигнуть этой всеобъемлющей гармоніи.

Пушкинъ, подобно Петру Великому, первый доказалъ, если не чужеземцамъ, то намъ, русскимъ, что Россія имѣетъ право участвовать въ міровой жизни духа. Мало того — онъ доказалъ, что въ глубинѣ русскаго міросозерцанія скрываются, хотя-бы безсознательные и первобытные, но все-же великіе задатки будущаго Возрожденія — той высшей гармоніи, равновѣсія двухъ міровъ, которыя и для народовъ западной Европы являются самымъ рѣдкимъ плодомъ тысячелѣтнихъ усилій міровой культуры.

Съ этой точки зрѣнія становится вполне яснымъ, что ошибка тѣхъ, которые ставятъ Пушкина въ связь не съ Гете, а съ Байрономъ, свидѣтельствуетъ о безнадежномъ непониманіи русскаго поэта. Правда, Байронъ увеличилъ силы Пушкина, но не иначе, какъ побѣжденный врагъ увеличиваетъ силы побѣдителя. Пушкинъ поглотилъ Евфоріона, преодолѣлъ его крайности, его мучительный разладъ, претворилъ его въ своею сердце, и такимъ образомъ, окрѣпнувъ въ борьбѣ съ титаномъ, устремился дальше, выше, — въ тѣ истинныя сферы всеобъемлющей гармоніи, куда звалъ Гете и куда за Гете никто не имѣлъ силы пойти, кромѣ Пушкина.

Русскій поэтъ самъ сознавалъ себя гораздо ближе къ создателю «Фауста», чѣмъ къ пѣвцу Донъ-Жуана. «Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостью, — пишетъ двадцатипятилѣтній Пушкинъ Вяземскому скорѣ послѣ смерти Байрона, — въ своихъ трагедіяхъ, не исключая и «Каина», онъ уже не тотъ пламенный демонъ, который создалъ «Гяура» и «Чильдъ-Гарольда». Первые двѣ пѣсни «Донъ-Жуана» выше слѣдующихъ. Его поэзія видимо измѣнилась. Онъ весь созданъ былъ навыворотъ. *Постепенности въ немъ не было*; онъ вдругъ со-

зрѣлъ и возмужалъ—пропѣлъ и замолчалъ, и первые звуки его уже ему не возвратились.»

Въ разговорѣ со Смирновой Пушкинъ упоминаетъ о подражаніяхъ Мицкевича Байрону, какъ объ одномъ изъ его главныхъ недостатковъ. «Это—великій лирикъ,—замѣчаетъ Пушкинъ,—пожалуй еще слишкомъ въ духѣ Байрона, онъ всегда болѣе меня поддавался его вліянію, онъ остался тѣмъ, чѣмъ былъ въ 1826 году.»

Вотъ какъ русскій поэтъ понимаетъ значеніе «Фауста»: «Фаустъ» стоитъ совсѣмъ особо. Это послѣднее слово нѣмецкой литературы, это особый міръ, какъ «Божественная Комедія»; это—въ изящной формѣ альфа и омега человѣческой мысли со временъ христіанства».

Въ критической замѣткѣ о Байронѣ Пушкинъ сравниваетъ «Манфреда» съ «Фаустомъ»: «англійскіе критики оспаривали у лорда Байрона драматическій талантъ; они, кажется, правы. Байронъ, столь оригинальный въ *Чайльдъ-Гарольдѣ*, въ *Гяурѣ* и *Донъ-Жуанѣ*, дѣлается подражателемъ, какъ только вступаетъ на поприще драмы. Въ *Manfred* онъ подражалъ *Фаусту*,—замѣняя простонародныя сцены и субботы другими, по его мнѣнію, благороднѣйшими. Но *Фаустъ* есть величайшее созданіе поэтическаго духа, служить представителемъ новѣйшей поэзіи, точно какъ *Иліада* служитъ памятникомъ классической древности».

Пушкинъ не создалъ и ни при какой степени геніальности, по условіямъ русской культуры, не могъ бы создать ничего равнаго «Фаусту». Но у Гете, кромѣ этого вѣшняго культурно-историческаго, есть и великое внутреннее преимущество передъ русскимъ поэтомъ. Какъ ни ясна и ни проникновенна мысль Пушкина, она не озаряетъ глубочайшихъ безднъ его собственнаго творчества. Конечно, въ немъ есть мыслитель, даже мудрецъ: но художникъ все-таки выше и сильнѣе мудреца. Пушкинъ самъ себя не зналъ и только смутно предчувствовалъ—донинѣ скрытое по степени русской культуры—неимоверное величіе своего генія. «Ты, Моцартъ, богъ, и самъ того не знаешь.» Перелетая черезъ пропасти, съ безстрашіемъ, съ безпечностью бога, Пушкинъ не видитъ ихъ послѣдней глубины. Въ его произведеніяхъ, въ разговорахъ со Смирновой нѣтъ намека на то, чтобы онъ давалъ себѣ отчетъ въ дивномъ равновѣсіи, примиреніи двухъ міровъ, которое совершается въ его поэзіи и дѣлаетъ ее, по выраженію Гоголя, необычайнымъ, единственнымъ явленіемъ русскаго духа. Это отсутствіе болѣзненной дисгармоніи, разлада, которые губятъ такихъ титановъ, какъ

Байронъ и Микель Анжело, эта божественная гармонія природы и культуры, всепрощенія и героизма, новаго мистицизма и язычества есть въ Пушкинѣ естественный и произвольный даръ природы. Такимъ онъ вышелъ изъ рукъ своего Создателя. Онъ не созналъ и не выстрадалъ этой гармоніи.

Гете говаривалъ, что и счастливыя, получающіе наслѣдство отъ природы, т. е. гении, для того, чтобы извлечь истинную пользу изъ этого дара, должны купить право на него собственными усиліями и страданіями, какъ-будто то, что они имѣютъ, имъ вовсе не принадлежитъ. Пушкинъ отчасти купилъ это право; Гете—вполнѣ.

Гете первый созналъ неминуемый трагизмъ всякаго Возрожденія, противоположность двухъ міровъ—христіанскаго и языческаго, и необходимость ихъ примиренія. То, что Пушкинъ смутно предчувствовалъ, Гете видѣлъ лицомъ къ лицу. Какъ ни великъ «Фаустъ» — замыселъ его еще больше, и весь этотъ необъятный замыселъ основанъ на *сознаніи трагизма, вытекающаго изъ двойственности міра и духа*, на сознаніи противоположности двухъ началъ:

Du bist dir nur einen Triebs bewusst;
O lerne nie den andern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.

Изъ этой нестерпимой, съ каждымъ днемъ во всѣхъ насъ обостряющейся муки, изъ этого разрыва, разлада двухъ стихій, *«двухъ душъ, живущихъ въ одной груди»*, возникаетъ чудовищный двойникъ Фауста, самый страшный и современный изъ демоновъ, духъ всеразлагающей двойственности — Мефистофель. Борьба Единого Отца Свѣтовъ съ духомъ тьмы, отрицающимъ единство, — борьба этихъ вѣчныхъ враговъ въ сердцѣ человѣка, двойственномъ, но неутолимо-жаждущемъ единства—таковъ смыслъ Гетевой трагедіи. Небо и адъ, благословенія ангеловъ и проклятія демоновъ, христіанская мученица любви Маргарита и языческая героиня Елена, духъ сѣверной готики и духъ эллинской древности, сладострастные вѣдьмы на Брокенѣ и священные призраки умершихъ боговъ надъ Фессалійскою равниною, самоубійство мудреца, достигшаго предѣла знаній, и дѣтская радость пасхальныхъ колоколовъ, поющихъ «Христосъ воскресъ», — отъ начала до конца во всей поэмѣ стихія возстаетъ на стихію,

міръ борется съ міромъ, бездна отвѣчаетъ безднѣ, и надъ всѣмъ вѣетъ духъ гармоніи, духъ единого творца—самаго Гете. Примиреніе, которое находитъ создатель «Фауста», можетъ быть, уже не вполне утоляетъ современные *«дѣтъ души»*. XIX вѣкъ съ Шопенгауэромъ, Достоевскимъ, Львомъ Толстымъ, Фридрихомъ Ницше прошелъ для насъ даромъ. Мы присутствуемъ при мукахъ разлада и раздвоенія, болѣе глубокихъ, чѣмъ тѣ, которыя преодолеваетъ Фаустъ, мы предчувствуемъ возможность примиренія болѣе всеобъемлющаго и гармоническаго, чѣмъ то, котораго достигаетъ Гете. Но во всякомъ случаѣ Гете первый выразилъ борьбу двухъ началъ въ созданіи, имѣющемъ мировое значеніе, первый сдѣлалъ великую, сознательную попытку ихъ примиренія. Въ отношеніи сознательности Гете выше всѣхъ представителей Итальянскаго Возрожденія, въ которыхъ также христіанское и языческое начало мгновеніями достигало равновѣсія и гармоніи, *но всегда помимо ихъ воли, помимо ихъ сознанія*. Гете выше величайшаго изъ нихъ—того, съ кѣмъ германскій поэтъ имѣетъ такъ много сходнаго, по олимпійскому спокойствію, по геометрической точности ума, по дивному синтезу искусства и науки,—я разумѣю Леонарда да-Винчи. Гете пошелъ по пути указанному создателемъ «Тайной Вечери», показалъ, что искусство и наука, синтезъ и анализъ, вдохновеніе и разумъ вытекаютъ изъ одного источника, служатъ одной цѣли, что самый яркій свѣтъ сознанія, направленный въ высшія области художественнаго творчества, не ослабляетъ, а напротивъ усиливаетъ его, углубляя бездны, раздвигая предѣлы безсознательнаго. Но Гете жилъ три вѣка спустя послѣ Винчи; онъ долженъ былъ пойти дальше: ясную форму сознанія, слова, вѣчнаго Логоса, авторъ «Фауста» далъ тому, что автору *«Codex Atlanticus»* только смутно мерещилось сквозь нѣмые загадочные образы его пророческихъ сновъ,—т. е. единству, побѣждающему двойственность *я* и *не-я*, знанія и вѣры, язычества и новаго мистицизма.

Но, съ другой стороны, у Пушкина, который уступаетъ германскому поэту въ отношеніи сознательности, есть одно великое преимущество передъ Гете. Въ лучшихъ созданіяхъ Гете встрѣчаются мѣста не живыя, отъ которыхъ вѣетъ не высшимъ метафизическимъ, а безплоднымъ, разсудочнымъ холодомъ. Спокойствіе превращается въ окаменѣлую неподвижность, живая ткань исторіи въ археологію, символъ въ аллегорію. Гете слишкомъ ограничилъ и обуздаль первобытную стихію—то, что онъ самъ въ природѣ своей называлъ демоническимъ. Недостатокъ примиренія языческаго и христіан-

скаго міра во второй части «Фауста» заключается въ томъ, что это примиреніе только отчасти органическое сліяніе; въ значительной-же мѣрѣ просто внѣшнее, разсудочное, механическое соединеніе. Для того чтобы примирить двѣ враждующія стихіи, Гете, если и не насилуетъ ихъ, то по крайней мѣрѣ охлаждаетъ, доводитъ до неподвижности, кристаллизуетъ, такъ что слишкомъ часто язычество переходитъ у него въ аллегорическую мифологію, христіанство — въ схоластическую теологію.

Этого недостатка у Пушкина нѣтъ. Онъ менѣе сознательнъ, но за то ближе, чѣмъ Гете, къ сердцу природы и къ величайшему изъ ея любимцевъ—Шекспиру. Пушкинъ не боится своего демона, не заковываетъ его въ ледяныя разсудочныя цѣпи, онъ великодушно борется и побѣждаетъ его, давая ему полную свободу. Осторожный Гете рѣдко или почти никогда не подходитъ къ неостывшей лавѣ хаоса, не спускается въ безумную безсловесную глубину первобытныхъ страстей, на которой, подобно эллинскимъ трагикамъ, только два новыхъ Орфея—Шекспиръ и Пушкинъ, дерзаютъ испытывать примиряющую власть гармоніи. По силѣ огненной страстности авторъ «Египетскихъ ночей» и «Скупого Рыцаря» приближается къ Шекспиру; по безупречной, такъ сказать, кристаллической правильности и прозрачности формы Пушкинъ родственнѣе Гете. У Шекспира слишкомъ часто расплавленный, кипящій металлъ отливается въ гигантскую, но наскоро слѣвленную форму, которая даетъ трещины. Въ поэзіи Шекспира, также какъ Байрона, сказывается одинъ отличный признакъ англо-саксонской крови — любовь къ борьбѣ для борьбы, природа неукротимыхъ атлетовъ, чрезмѣрное развитіе мускуловъ, сангвиническая риторика. Пушкинъ одинаково чуждъ и огненной риторикѣ страстей и ледяной риторикѣ разсудка. Если бы его геній достигъ полного развитія,—кто знаетъ?—не указали бы русскій поэтъ до сихъ поръ не открытые пути къ художественному идеалу будущаго—къ высшему синтезу Шекспира и Гете. Но и такъ, какъ онъ есть, по совершенному равновѣсію, *divina proportione* содержанія и формы, по сочетанію вольной, дикой, творящей силы природы съ безукоризненной сдержанностью, спокойствіемъ, чувствомъ мѣры, самообладаніемъ, точностью выраженій, доведенной до божественной простоты и краткости математическихъ опредѣленій,—Пушкинъ, послѣ Софокла и Данте, единственный изъ міровыхъ поэтовъ.

Повидимому явленія столь гармоническія, какъ Пушкинъ и Гете, предрекали искуству XIX вѣка новое Возрожденіе, новую ве-

ликую попытку примиренія двухъ міровъ, которое начато было итальянскимъ возрожденіемъ XV вѣка. Но этимъ предзнаменованіямъ не суждено было такъ рано исполниться: уже Байронъ нарушилъ гармонію поэта-олимпійца, и потомъ шагъ за шагомъ, съ дерзкимъ любопытствомъ, съ мрачнымъ восторгомъ, XIX вѣкъ все обострялъ свою же собственную муку, все углублялъ раздвоенность, разладъ, чтобы дойти наконецъ до края бездны, до послѣднихъ предѣловъ боли и напряженія, подобнаго предсмертной агоніи, до небывалаго на землѣ безобразнаго противорѣчія двухъ міровъ въ лицѣ безумнаго язычника Фридриха Ничше и, быть можетъ, не менѣе безумнаго галилеянина Льва Толстого. Многозначительно и то обстоятельство, что эти величайшіе представители титаническаго разлада въ концѣ XIX вѣка явились ни въ какихъ-либо другихъ странахъ, а въ отечествѣ Гете и въ отечествѣ Пушкина, т. е. именно у тѣхъ двухъ молодыхъ сѣверныхъ народовъ, которые въ началѣ вѣка сдѣлали величайшую попытку новаго Возрожденія, новой гармоніи двухъ міровъ. Какъ это ни странно и ни страшно, но Ничше—родной сынъ Гете, Левъ Толстой—родной сынъ Пушкина. Авторъ *«Jenseits von Gut und Böse»* довелъ олимпійскую мудрость великаго язычника до такой-же заостренной вершины и обрыва въ бездну, до такой-же чудовищной крайности, какъ авторъ «Царствія Божія» галилейскую мудрость Пушкина, генія первобытной свободы и простоты.

Русская литература не случайными порывами и колебаніями, а выводъ за выводомъ, ступень за ступенью неотвратимо и діалектически правильно, развивая одну сферу Пушкинской гармоніи, принося въ жертву и умерщвляя другую, дошла наконецъ до самоубійственной для всякаго художественнаго развитія односторонности Льва Толстого.

Гоголь, ближайшій изъ учениковъ Пушкина, первый понялъ и выразилъ значеніе Пушкина для Россіи, какъ потомъ этого уже никто не умѣлъ сдѣлать. Въ своихъ лучшихъ созданіяхъ, въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ душахъ», Гоголь исполняетъ замыслы, внушенные ему учителемъ. Въ исторіи всѣхъ литературъ трудно найти примѣръ болѣе тѣсной преемственности. Гоголь прямо черпаетъ изъ Пушкина—этого глубокаго и чистаго родника русской гармоніи. И что-же? Исполнилъ-ли ученикъ завѣтъ своего учителя? Гоголь первый безсознательно и невольно измѣнилъ Пушкину; первый сдѣлался жертвой великаго разлада, который долженъ былъ впоследствии все болѣе и болѣе овладѣвать русскою поэзіей; первый испыталъ на себѣ приступы всепоглощающаго, болѣзненнаго мистицизма,

который не въ немъ одномъ долженъ былъ подорвать силы творчества.

Трагизмъ русской литературы заключается въ томъ, что, съ каждымъ шагомъ все болѣе и болѣе удаляясь отъ Пушкина, разрушая драгоцѣннѣйшее созданіе его духа — сочетаніе и равновѣсіе двухъ міровъ, она вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ себя вѣрною хранительницею пушкинскихъ завѣтовъ. У великихъ людей нѣтъ болѣе опасныхъ враговъ, чѣмъ ближайшіе ученики — тѣ, которые возлежатъ у сердца ихъ, ибо никто не умѣетъ съ такимъ невиннымъ коварствомъ, любя и благоговѣя, исказить истинный образъ учителя.

Тургеневъ и Гончаровъ дѣлаютъ добросовѣстныя попытки преодолѣть въ себѣ начинающійся разладъ, зловѣщую дисгармонію Лермонтова и Гоголя, вернуться къ объективному спокойствію и равновѣсію Пушкина. Если не сердцемъ, то умомъ понимаютъ они героическое дѣло Петра, чужды славянофильской гордости Достоевскаго, и сознательно, подобно Пушкину, преклоняются передъ величіемъ западной культуры. Тургеневъ является въ нѣкоторой мѣрѣ законнымъ наслѣдникомъ пушкинской гармоніи и по совершенной ясности художественной архитектуры, и по нѣжной прелести языка.

Но все это сходство, вся эта гармонія поверхностны и обманчивы. Попытка побѣдить наступающій разладъ, вернуться къ Пушкину, не удалась ни Тургеневу, ни Гончарову. Чувство великой усталости и пресыщенія всѣми культурными формами, буддійская нирвана Шопенгауэра, художественный нигилизмъ Флобера гораздо ближе сердцу Тургенева, чѣмъ героическая мудрость Пушкина. Въ самомъ языкѣ Тургенева, слишкомъ мягкомъ, женоподобномъ и гибкомъ, уже нѣтъ пушкинскаго мужества, его первобытной силы и простоты. Въ этой чарующей мелодіи Тургенева, то и дѣло слышится пронзительная, жалобная нота, подобная звуку надтреснутаго колокола, признакъ углубляющагося душевнаго разлада — страхъ жизни, страхъ смерти, которые впослѣдствіи Левъ Толстой доведетъ до ужасающихъ предѣловъ. Тургеневъ создаетъ безконечную галлерею, по его мнѣнію, истинно русскихъ героевъ, т. е. героевъ слабости, калѣкъ, неудачниковъ. Онъ окружаетъ свои «Живыя мощи» ореоломъ той самой галилейской поэзіи, которой окружены образы Татьяны, Тазита, стараго цыгана. Онъ достигаетъ наивысшей степени доступнаго ему вдохновенія показывая преимущества слабости передъ силой, малаго передъ великимъ, смиреннаго передъ гордымъ, добродушнаго безумія Донъ-Кихота передъ злою мудростью Гамлета. У Тургенева единственный сильный русскій человѣкъ — ниги-

листъ Базаровъ. Конечно, авторъ «Отцовъ и Дѣтей» настолько объективный художникъ, что относится къ своему герою безъ гнѣва и пристрастiя, но онъ все-таки боится его и не можетъ простить ему силы. Поэтъ какъ будто говоритъ намъ, указывая на Базарова и не замѣчая, что это вовсе не герой, а такой-же недоносокъ, неудачникъ, какъ его лишніе люди, ничего не создающій, обреченный на гибель: «вы хотѣли видѣть сильнаго русскаго человѣка,— вотъ вамъ сильный! Смотрите-же, какая узость и ограниченность воли, направленной на разрушеніе; какая грубость и неуклюжесть передъ нѣжною тайною любви; какое ничтожество передъ величіемъ смерти. Вотъ чего стоятъ ваши герои, ваши русскіе сильные люди. О, не лучше-ли стократъ мои слабые, лишніе, малые, мои милые герои русской жалости, лѣни и безпечности, мои великодушные неудачники и Донъ-Кихоты!» Если-бы иностранецъ повѣрилъ Гоголю, Тургеневу, Гончарову, то русскій народъ долженъ-бы представиться ему народомъ единственнымъ въ исторіи, отрицающимъ самую сущность героической воли. Если-бы глубина русскаго духа исчерпывалась *только* христіанскимъ смиреніемъ, *только* самопожертвованіемъ, *только* поэзіей новыхъ паріевъ, униженныхъ и оскорбленныхъ,— то откуда эта «божія гроза», это благодатное и ужасающее великолѣпіе, этотъ избытокъ удачи, воли, веселія, которыя чувствуются въ Петрѣ и въ Пушкинѣ? Какъ могли возникнуть эти два демоническихкія явленія безмѣрной красоты, безмѣрной любви къ жизни въ странѣ буддійскаго нигилизма и жалости, въ странѣ «мертвыхъ душъ» и «живыхъ мощей», въ силоамской купели калѣкъ и разслабленныхъ? Или Петръ и Пушкинъ—не родные, не русскіе?

Гончаровъ пошелъ еще дальше по этому опасному пути. Критики видѣли въ «Обломовѣ» сатиру, поученіе. Но романъ Гончарова язвительнѣе и страшнѣе всякой сатиры. Для самого поэта въ этомъ всеобъемлющемъ художественномъ синтезѣ русскаго безсилія и русскаго «*медъланья*» нѣтъ ни похвалы, ни порицанія, а есть только полная правдивость, изображеніе русской дѣйствительности во всемъ ея ужасѣ и во всей ея красотѣ. Въ свои лучшія минуты Обломовъ, книжный мечтатель, неспособный къ слишкомъ грубой человѣческой жизни съ младенческой ясностью и голубинымъ цѣломудріемъ своего безконечно-глубокаго и простаго сердца, окруженъ такимъ-же ореоломъ тихой поэзіи, какъ «Живыя мощи» Тургенева. Гончаровъ можетъ быть и хотѣлъ-бы, но не умѣетъ быть несправедливымъ къ Обломову, потому что онъ его любитъ, онъ навѣрное хочетъ, но не умѣетъ быть справедливымъ къ Штольцу, потому

что онъ въ тайнѣ его ненавидитъ. Нѣмецъ-герой (создать русскаго героя онъ и не пытается, до такой степени подобное явленіе казалось ему противоестественнымъ) выходитъ мертвымъ, холоднымъ и безобразнымъ. Искусство обнаруживаетъ то сокровенное, что поэтъ чувствуетъ, не смѣя выразить: не въ тысячу-ли разъ благороднѣе отреченіе отъ жестокой жизни, первобытная простота, мудрое недѣланіе милаго героя русской лѣни, чѣмъ прозаическая суета героя нѣмецкой дѣловитости? Отъ Магомета, Наполеона, Байрона, Мѣднаго Всадника до маленькаго, скопидомнаго, буржуазнаго нѣмца, до неуклюжаго семинариста, уѣзднаго демона-искусителя, Марка Волохова,—какая печальная метаморфоза, какое паденіе пушкинскаго полубога!

Но это—еще не послѣдняя ступень. Гоголь, Тургеневъ, Гончаровъ кажутся писателями полными объективной уравниловки, здоровья и гармоніи по сравненію съ Достоевскимъ и Львомъ Толстымъ. Безъ того уже захудалые и полумертвые русскіе герои, русскіе сильные люди—Базаровъ и Маркъ Волоховъ, оживутъ еще разъ въ лицѣ Раскольникова, Ивана Карамазова, въ чудовищныхъ видѣніяхъ «бѣсовъ», чтобы подвергнуться послѣдней унижительной казни, самой утонченной адской пыткѣ — въ страшныхъ рукахъ этого демона жалости и мучительства, великаго инквизитора Достоевскаго.

Насколько онъ сильнѣе и правдивѣе Тургенева и Гончарова! Достоевскій не скрываетъ своей дисгармоніи, своего разлада, не обманываетъ ни себя, ни читателя, не дѣлаетъ тщетныхъ попытокъ возстановить нарушенное равновѣсіе, гармонію пушкинской формы: а между тѣмъ онъ цѣнитъ и понимаетъ эту гармонію проныкиновеннѣе, чѣмъ Тургеневъ и Гончаровъ,—онъ любитъ Пушкина, какъ самое недостижимое, самое противоположное своей природѣ, какъ смертельно-больной здоровье, — любитъ и уже болѣе не стремится къ этой гармоніи.

Художественную форму эпоса авторъ «Братьевъ Карамазовыхъ» уродуетъ, насилуетъ, съ неслыханною дерзостью превращаетъ въ страшное орудіе психологической пытки. Трудно повѣрить, что языкъ, который еще обладаетъ такою весеннею свѣжестью и цѣломудренной ясностью у Пушкина, такъ переродился, чтобы служить для изображенія ужасающихъ кошмаровъ, мрачныхъ огненныхъ видѣній Достоевскаго.

Послѣдовательнѣе Тургенева и Гончарова Достоевскій еще и въ другомъ отношеніи: онъ не скрываетъ своей безмѣрной славяно-

фильской гордости, не заигрываетъ съ культурою Запада. Эллинская красота кажется ему Содомомъ, римская сила — царствомъ Антихриста. Чему можетъ научиться смиренная, юная, богоносная Россія у гордаго, дряхлаго, безбожнаго Запада? Не русскому народу стремиться къ идеалу Запада, т. е. къ всемірному язычеству, а Западу—къ идеалу русскаго народа, т. е. къ всемірному христіанству. Ясно, что въ этомъ отношеніи между Достоевскимъ и Пушкинымъ существуетъ какое-то глубокое недоразумѣніе. У Смирновой на довольно наивное утвержденіе Хомякова, будто у русскихъ больше христіанской любви, чѣмъ на Западѣ, Пушкинъ отвѣчаетъ съ нѣкоторою досадою: «можетъ быть; я не мѣрилъ количества братской любви ни въ Россіи, ни на Западѣ, но знаю что тамъ явились основатели братскихъ общинъ, которыхъ у насъ нѣтъ. А они были бы намъ полезны». Или, другими словами, — Пушкину представляется непонятнымъ, почему Россія, у которой былъ Иванъ Грозный, ближе къ идеалу царствія Божія, чѣмъ Западъ, у котораго былъ Францискъ Ассизскій. Здѣсь Пушкинъ возражаетъ не только Хомякову, но и Достоевскому: «если мы ограничимся—прибавляетъ онъ далѣе — своимъ русскимъ колоколомъ, мы ничего не сдѣлаемъ для человѣческой мысли и создадимъ только «приходскую» литературу. Очевидно, пожелай только Достоевскій понять Пушкина до глубины, и—кто знаетъ—не оказалась-ли бы цѣлая сторона его поэзіи нерусской, враждебной, зараженной языческими вѣяньями гнилого Запада.

Тѣмъ не менѣе, какъ художникъ, онъ ближе къ Пушкину, чѣмъ Тургеневъ и Гончаровъ. Это единственный изъ русскихъ писателей, который сознательно воспроизводитъ борьбу двухъ міровъ. Быть можетъ, двойственность его еще глубже чѣмъ двойственность Пушкина. Но при этомъ вся она до послѣднихъ глубинъ—разладъ, борење, мука. Великая душа Достоевскаго—какъ бы поле сраженія, потрясаемое, окровавленное, полное скрежетомъ и воплями раненныхъ,—поле, на которомъ сошлись два непримиримыхъ врага. Кто побѣдитъ? Никто никогда. Это борьба—безнадежная, безысходная. На чьей сторонѣ поэтъ? Мы только знаемъ, на чьей сторонѣ онъ хочетъ быть. Но именно въ тѣ мгновенія, когда болѣе всего довѣряешь его христіанскому смиренію, его жалости и цѣломудрію,—гдѣ-нибудь, въ темномъ опасномъ углу психологическаго лабиринта, куда онъ потихоньку заманиваетъ, запутываетъ—какъ паука муху—неопытнаго читателя, вдругъ съ авторомъ происходитъ что-то сверхъестественное, недоброе, такъ что смотришь и не узнаешь: онъ или

не онъ? правда это или только мерещится ужасающій оборотень, двойникъ, волкъ изъ подъ овечьей шкуры? А великій инквизиторъ шепчетъ, съ чуть слышнымъ, сумасшедшимъ хохотомъ, отъ котораго морозъ пробѣгаетъ по тѣлу, и сквозь смиреніе мученика мелькаетъ неистовая гордыня дьявола, сквозь жалость и цѣломудріе страсто-терпца сладострастная жестокость дьявола. Вотъ въ какое уродливое безуміе, въ какіе эпилептическіе припадки демонизма превратилась благодатная пушкинская двойственность, гармонія двухъ міровъ, небесная музыка сферъ, сливающихся голоса свои во славу Единого. Таково мщеніе поруганныхъ языческихъ боговъ. Когда византіяны творять надъ ними кощунство, тѣни олимпійцевъ превращаются въ средневѣковыхъ вампировъ, инкубовъ, вѣдьмъ; пушкинскіе боги превращаются въ «*бтсовъ*» Достоевскаго, которые справляютъ свой шабашъ на Лысой горѣ русскаго нигилизма. Дельфійскій демонъ—тотъ, чей «ликъ былъ гнѣвенъ, полонъ гордостью ужасной и дышалъ неземною силой», вселяется въ полоумнаго студента, петербургскаго пролетарія, одержимаго маніей величія, затравленнаго сыщиками, подражателя Наполеона, убійцу старухи, Родіона Раскольниковъ. Другой, женообразный, сладострастный, волшебный демонъ обреченъ на еще болѣе печальную метаморфозу: онъ превратится въ Карамазова, любовника Лизаветы Смердящей, въ Свидригайлова, который ночью передъ самоубійствомъ видитъ въ отвратительномъ кошмарѣ соблазненную имъ пятнадцатую дѣвочку.

Казалось-бы, вотъ предѣлъ—дальше котораго идти некуда. Но Левъ Толстой доказалъ, что можно пойти и дальше по той-же дорогѣ—въ бездну, въ самоистязаніе, въ ужасъ двойственности, въ титаническій разладъ.

Достоевскій до послѣдняго вздоха страдалъ, мыслить, боролся, и умеръ не найдя, чего онъ больше всего искалъ въ жизни,—душевнаго успокоенія. Левъ Толстой уже болѣе не ищетъ и не борется, или, по крайней мѣрѣ, хочетъ увѣрить себя и другихъ, что ему не съ чѣмъ бороться, нечего искать. Это спокойствіе, это молчаніе и окаменѣніе пѣлаго подавленнаго міра, нѣкогда свободнаго и прекраснаго—съ теперешней точки зрѣнія его творца, до глубины языческаго и преступнаго—міра, который величественно развивался передъ нами въ «Аннѣ Карениной», въ «Войнѣ и Мирѣ»,—эта тишина «Царствія Божія», производитъ впечатлѣніе болѣе жуткое, болѣе тягостное, чѣмъ неистовая борьба, смятеніе, вопли, вѣчная агонія Достоевскаго. Конечно, и Левъ Толстой не сразу, не безъ мучительныхъ усилій достигъ послѣдняго покоя, послѣдней побѣды надъ

языческимъ міромъ. Но уже въ «Войнѣ и Мирѣ», въ «Аннѣ Карениной» мы присутствуемъ при очень странномъ явленіи: двѣ стихіи соприкасаются, не сливаясь, какъ два теченія одной рѣки. Тамъ, гдѣ язычество,—все жизнь и страсть, роскошь и яркость тѣлесныхъ ощущеній. Вѣ добра и зла,—какъ-будто никогда и не существовало добра и зла,—съ безконечною правдивостью, съ младенческимъ и божественнымъ неумѣніемъ стыдиться, скрывать наготу своего сердца, поэтъ выражаетъ жадную ненасытимую любовь ко всему смертному, преходящему,—любовь къ этому великому волнующемуся океану матеріи, ко всему, что съ христіанской точки зрѣнія должно-бы казаться суетнымъ и грѣшнымъ—къ могучему тѣлесному здоровью, родинѣ, славѣ, женщинѣ, дѣтямъ. Здѣсь вся гамма физическихъ наслажденій, переданная съ безстрашною откровенностью, какой еще никогда не бывало ни въ одной литературѣ: ощущеніе мускульной силы, прелесть полевой работы на свѣжемъ воздухѣ, нѣга дѣтскаго сна, упоеніе первыми играми, весельемъ юношескихъ пировъ, спокойнымъ мужествомъ въ кровавыхъ битвахъ, безмолвіемъ вѣчной природы, душистымъ холодомъ русскаго снѣга, душистою теплотою глубокихъ лѣтнихъ травъ. Здѣсь вся гамма физическихъ болей, переданная съ такою-же неумолимою откровенностью, иногда доходящей до цинической грубости и безстыдства,—всѣ ужасы болей,—начиная отъ звѣринаго крика любимой женщины, умирающей въ мукахъ родовъ, до страшнаго хрустящаго звука, когда у лошади скачущей въ ипподромѣ ломается спинной хребетъ. Какой ужасъ, какое упоеніе безпредѣльною чувственностью! И какъ могъ онъ самъ, какъ могли другіе повѣрить ледяному разсудочному христіанству, какъ не узнали въ немъ великаго, сокровеннаго язычника? Но вѣдь объ этомъ язычествѣ изъ лучшихъ произведеній Толстого вопятъ всѣ голоса человѣческой плоти, свѣжей и радостной у ребенка въ объятіяхъ матери, покрытой потомъ агоніи, полусгнившей на страшной постели Ивана Ильича, цвѣтущей и сладострастной у Анны Карениной, истерзанной, окровавленной ножами хирурговъ на операціонныхъ столахъ военныхъ лазаретовъ. Всюду плоть, всюду языческая душа плоти, та изъ двухъ борющихся душъ, о которой Гете говоритъ:

Die eine hält in derber Liebeslust
Sich an die Welt mit klammernden Organen.

Но въ тѣхъ-же произведеніяхъ нѣтъ и оскорбительно выступаютъ наружу части, не соединенныя никакою внутреннею связью

съ художественною тканью произведенія, какъ будто написанныя другимъ человѣкомъ. Это—убійственное резонерство Пьера Безухова, дѣтски-неуклюжія и неестественныя христіанскія перерожденія Константина Левина. Въ этихъ мертвыхъ страницахъ могучая плотская жизнь, которая только что была ключемъ, вдругъ замираетъ, леденѣетъ. Самый языкъ, который достигалъ, высочайшей въ русской литературѣ, пушкинской простоты и ясности, сразу мѣняется: какъ будто мрачный аскетъ мститъ ему за недавнюю откровенность, за нехристіанскую нѣгу и дерзость, съ которыми только что описывались муки и наслажденія грѣшной плоти; аскетъ безпощадно насилуетъ языкъ, ломаетъ, уродуетъ, растягиваетъ и втискиваетъ въ Прокрустово ложе многоэтажныхъ запутанныхъ силлогизмовъ. «Двѣ души», соединенныя въ Пушкинѣ, борющіяся въ Гоголѣ, Гончаровѣ, Тургеневѣ, Достоевскомъ, навѣки покидаютъ другъ друга, разлучаются въ Толстомъ, такъ что одна уже не видитъ, не слышитъ, не отвѣчаетъ другой.

Въ настоящее время мы давно обтерпѣлись, привыкли ко всякому уродству и дисгармоніи, а то, конечно, всѣ почувствовали-бы, какъ дико и безобразно великій художникъ, самъ себя убивая, въ самомъ себѣ кощунственно попирая даръ Бога, всенародно кается въ лучшемъ изъ созданій своихъ, какъ въ преступленіи: «чѣмъ вы любуетесь въ «Аннѣ Карениной»?—говоритъ онъ людямъ,—вѣдь это развратъ, это — языческая мерзость души моей». Слабость великаго художника заключается въ его безсознательности, въ томъ, что онъ язычникъ не свѣтлаго героическаго типа, а темнаго, стихійнаго, варварскаго, сынъ древняго хаоса, *слѣпой титанъ*. Малый, смиренный пришелъ и разставилъ великому хитрую западню—страхъ смерти, страхъ боли,—слѣпой титанъ попался, и смиренный опуталъ его тончайшими сѣтями нравственныхъ софизмовъ, галилейской жалости, обезсилилъ, и побѣдилъ. Еще нѣсколько мучительныхъ содроганій, отчаянныхъ бореній, порывовъ,—и все навѣки замолкло, замерло, наступила тишина «Царствія Божія». Только изрѣдка, сквозь монашескіе гимны и молитвы, сквозь ледяныя пуританскія рѣчи о куреніи табаку, о братствѣ народовъ, о сѣченіи розгами, о цѣломудріи—доносится изъ глубины глубинъ подземный гулъ, глухіе раскаты: это голосъ слѣпота титана, неукротимаго хаоса,—языческой любви къ тѣлесной жизни и наслажденіямъ, языческаго страха тѣлесной боли и смерти.

Левъ Толстой есть антиподъ, совершенная противоположность и отрицаніе Пушкина въ русской литературѣ. И какъ это часто

бываетъ, противоположности обманываютъ поверхностныхъ наблюдателей видѣнными сходствами. И у Пушкина, и у теперешняго Льва Толстого — единство, равновѣсіе, примиреніе. Но единство Пушкина основано на гармоническомъ соединеніи двухъ міровъ; единство Льва Толстого — на полномъ разъединеніи, разрывѣ, насиліи, совершенномъ надъ одной изъ двухъ равно великихъ, равно божественныхъ стихій. Спокойствіе и тишина Пушкина свидѣтельствуютъ о полнотѣ жизни; спокойствіе и тишина Льва Толстого — объ окаменѣлой неподвижности, омертвеніи цѣлаго міра. Въ Пушкинѣ мыслитель и художникъ сливаются въ одно существо; у Льва Толстого мыслитель презираетъ художника, художнику дѣлать до мыслителя. Цѣломудріе Пушкина предполагаетъ сладострастіе, подчиненное чувству божественной мѣры; цѣломудріе Льва Толстого вытекаетъ изъ отчаяннаго аскетическаго отрицанія любви къ женщинѣ. Надежда Пушкина — также какъ Петра Великаго — участіе Россіи въ міровой жизни духа, въ міровой культурѣ; но для этого участія ни Пушкинъ, ни Петръ не отрекаются отъ родной стихіи, отъ особенностей русскаго духа. Левъ Толстой, анархистъ безъ насилія, проповѣдуетъ сліянiе враждующихъ народовъ во всемірномъ братствѣ; но для этого братства онъ отрекается отъ любви къ родинѣ, отъ той ревливой нѣжности, которая переполняла сердце Пушкина и Петра, онъ съ безпощадною гордыней презираетъ тѣ особенныя, слишкомъ для него страстныя, языческія черты отдѣльныхъ народовъ, которыя онъ желалъ-бы слить какъ живыя цвѣта радуги, въ одинъ бѣлый мертвый цвѣтъ — въ космополитическую отвлеченность.

Многознаменательно, что величайшее изъ произведеній Льва Толстого развѣнчиваетъ то послѣднее воплощеніе героическаго духа въ исторіи, въ которомъ не даромъ находили неотразимое обаяніе всѣ, кто въ демократіи XIX вѣка сохранили искру прометеева огня — Байронъ, Гете, Пушкинъ, даже Лермонтовъ и Гейне. Наполеонъ, дельфійскій богъ силы, гнѣва и славы, «сей чудный мужъ, посланникъ провидѣнья, свершитель роковой безвѣстнаго велѣнья, сей царь исчезнувшій, какъ сонъ, какъ тѣнь зари», превращается у Льва Толстого даже не въ нигилиста Раскольниковъ, даже не въ одного изъ чудовищныхъ бѣсовъ Достоевскаго, все-таки окруженныхъ ореоломъ ужаса, а въ маленькаго пошлаго проходимца, мѣщански самодовольнаго и прозаическаго, надушеннаго одеколономъ, съ жирными ляшками, обтянутыми лосиною, съ мелкою и грубою душою французскаго лавочника, въ комическаго генерала Бо-

напарта московскихъ лубочныхъ картинъ. Вотъ когда достигнута послѣдняя ступень въ бездну, вотъ когда идти дальше некуда, ибо здѣсь духъ черни, духъ торжествующей пошлости кощунствуетъ надъ Духомъ Божиимъ, надъ святынею рока, надъ благодатнымъ и страшнымъ явленіемъ героя. Самый пронырливый и современный изъ бѣсовъ — бѣсъ равенства, бѣсъ малыхъ, безчисленныхъ, имя которому *Леионъ*, — поселился въ послѣднемъ великомъ художникѣ, въ слѣпомъ титанѣ, чтобы громовымъ его голосомъ крикнуть на весь міръ: «смотрите, вотъ вашъ герой, вашъ богъ, — *онъ малъ, какъ мы, онъ мерзокъ, какъ мы*».

Всѣ поняли Толстого, всѣ приняли этотъ лозунгъ черни! Не Пушкинъ, а Толстой — представитель русской литературы передъ лицомъ всемірной толпы. Толстой — побѣдитель Наполеона, самъ Наполеонъ безчисленной демократической арміи малыхъ, жалкихъ, скорбящихъ и удрученныхъ. Съ Толстымъ спорять, его ненавидятъ и боятся: это признакъ, что слава его живетъ и растетъ. Слава Пушкина становится все академичнѣе и глуше, все непонятнѣе для толпы. Кто спорить съ Пушкинымъ, кто знаетъ Пушкина въ Европѣ не только по имени? У насъ со школьной скамьи его твердятъ наизусть, и стихи его кажутся такими-же холодными и ненужными для дѣйствительной русской жизни, какъ хоры греческихъ трагедій или формулы высшей математики. Самая непостижимая и таинственная изъ всѣхъ книгъ называется книгой черни — «Вульгатой». Пушкинъ сдѣлался Вульгатой русской литературы. Всѣ готовы почитать его мертвыми устами, мертвыми лаврами, кто почитать его духомъ и сердцемъ? Толпа покупаетъ себѣ признаніемъ великихъ право ихъ незнанія, — мститъ слишкомъ благороднымъ врагамъ своимъ могильною плитою въ академическомъ Пантеонѣ, забвеніемъ въ славѣ. Кто повѣрилъ-бы, что этотъ богъ учителей русской словесности не только живѣе, современнѣе, но — съ точки зрѣнія буржуазной пошлости — и опаснѣе, дерзновеннѣе Льва Толстого. Кто повѣрилъ-бы, что безукоризненно-аристократическій Пушкинъ, пѣвецъ Мѣднаго Всадника, питомецъ старой няни Арины, ближе къ сердцу русскаго народа, чѣмъ глашатай всемірнаго братства, безпощадный пуританинъ въ полубубѣ русскаго мужика.

До какой степени героическая сторона поэзіи Пушкина не понята и презрѣна, ясно изъ того, что два величайшихъ цѣнителя Пушкина — Гоголь и Достоевскій, точно сговорившись, не придаютъ ей ни малѣйшаго значенія. Какъ это ни странно, но, если говорить

не о школьных учебникахъ, не о мертвомъ академическомъ признаніи, Пушкинъ, единственный пѣвецъ единственнаго героя въ странѣ Льва Толстого и Достоевскаго, въ странѣ русскаго нигилизма и русской демократіи, до сихъ поръ—забытый пѣвецъ забытаго героя.

Нашелся одинъ русскій человѣкъ, сердцемъ понявшій героическую сторону Пушкина. Это не Лермонтовъ съ его страстнымъ, но слабымъ и риторичнымъ надгробнымъ панегирикомъ; не Гоголь, усмотрѣвшій оригинальность Пушкина въ его русской стихійной безличности; не Достоевскій, который хотѣлъ на этой безличности основать новое всемірное братство народовъ. Это воронежскій мѣщанинъ, прасолъ, не въ символическомъ, а въ настоящемъ мужицкомъ полушубкѣ. Для Кольцова Пушкинъ—послѣдній русскій богатырь. Не христіанское смиреніе и покорность, не «безпорывная» кротость русской природы—народнаго пѣвца въ Пушкинѣ плѣняютъ избытокъ радостной жизни, «сила гордая, доблесть царская».

У тебя-ль, было,
Въ ночь безмолвную
Заливная пѣснь
Соловьиная.
У тебя-ль, было,
Дни—роскошество,
Другъ и недругъ твой
Прохлаждаются.

Какимъ веселіемъ и благодатнымъ ужасомъ окружено это сказочное явленіе богатыря:

У тебя-ль, было,
Поздно вечеромъ
Грозно съ бурей
Разговоръ пойдетъ,—
Распахнетъ она
Тучу черную,
Обойметъ тебя
Вѣтромъ, холодомъ,
И ты молвишь ей
Шумнымъ голосомъ:
„Вороти назадъ!
„Держи около!“
Закружится она,
Разыграется,—
Дрогнетъ грудь твоя,
Зашатаешься;

Встрепенувшись,
 Разбушуешься,—
 Только свистъ кругомъ,
 Голоса и гуль...
 Буря всплachtetся
 Лѣшимъ, вѣдьмою,
 И несетъ свои
 Тучи за море.

И символизмъ поэмы вдругъ необъятно расширяется, дѣлается пророческимъ,—кажется, что пѣвецъ говорить уже не о случайной смерти поэта отъ пули Дантеса, а о болѣе трагической, теперешней смерти Пушкина въ самомъ сердцѣ, въ самомъ духѣ русской литературы:

Гдѣ-жъ теперь твоя
 Мочь зеленая?
 Почернѣлъ ты весь,
 Затуманился;
 Одичалъ, замолкъ,—
 Только, въ непогодъ,
 Воешь жалобу
 На безвременье...
 Такъ-то темный лѣсъ,
 Богатырь-Бова!
 Ты всю жизнь свою
 Маялъ битвами.
 Не осилили
 Тебя сильные,
 Такъ дорѣзала
 Осень черная.

Въ настоящее время мы переживаемъ этотъ невидимый и не-сознаваемый ущербъ, убыль пушкинскаго духа въ русской литературѣ, эту «черную» осень, безнадежные сумерки демократическаго равенства и утилитарной добродѣтели, съ унылыми слезами покаянія, смиренія и жалости.

Если когда-нибудь духъ Пушкина воскреснетъ, если явится побѣдитель современнаго разлада, геній высшей гармоніи, который увидитъ солнце Возрожденія, онъ скажетъ этой тѣни смертной, этой нависшей надъ нами, нѣмой и грозной тучѣ, языческому безумію Фридриха Ницше, галилейскому безумію Льва Толстого:

Довольно, сокройся! пора миновалась,
 Земля освѣжилась и буря промчалась,
 И вѣтеръ, колебля вершины деревьевъ,
 Тебя съ успокоенныхъ гонить небесъ.

Д. Мережковский.

Е. А. Баратынскій.

Содержаніе поэзіи Баратынскаго—преходимость всего земного, жажда вѣры, вѣчный разладъ разума и чувства и какъ послѣдствіе этого непримиримаго разлада — глубокая печаль. Такую поэзію въ старину называли элегическою, теперь ее называютъ пессимистическою. Современники не разглядѣли Баратынскаго, они не подслушали, что онъ взялъ совсѣмъ новую ноту, воспѣлъ самобытно совсѣмъ иную печаль, что кличка поэта элегическаго, какъ поэта только грустнаго—ему не вполне пристала, и что для него, какъ для писателя съ новой темой, нужна была бы и новая кличка *). Но для этого современникамъ Баратынскаго нужно было заглянуть на полвѣка впередъ и разглядѣть въ его туманѣ нашъ «пессимизмъ»—сушь, тяготу и безвѣріе нашихъ дней, которыя были предсказаны Баратынскимъ въ слѣдующей энергичной строфѣ:

Вѣкъ шествуетъ путемъ своимъ желѣзнымъ;
Въ сердцахъ корысть, и общая мечта
Часть отъ часу насущнымъ и полезнымъ
Отчетливѣй, безстыднѣй занята.
Исчезнули при свѣтѣ просвѣщенья
Поэзіи ребяческіе сны,
И не о ней хлопочутъ поколѣнья,
Промышленнымъ заботамъ преданы.

(«Послѣдній поэтъ»).

*) Недоступность Баратынскаго для массы отмѣтилъ еще Пушкинъ. «Изъ нашихъ поэтовъ Баратынскій всѣхъ менѣе пользовался благосклонностью журналовъ — оттого-ли, что вѣрность ума, чувства, точность выраженія, вкусъ ясности и стройности менѣе дѣйствуютъ на толпу, нежели преувеличеніе (exagération) «модной поэзіи» или потому, что поэтъ нѣкоторыхъ критиковъ задѣлъ своими эпиграммами... Баратынскій принадлежитъ къ числу отличныхъ у насъ поэтовъ. Онъ у насъ оригиналенъ — ибо мыслить... «Онъ — одинъ изъ первостепенныхъ нашихъ поэтовъ... Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать *подлѣ* Жуковскаго и *выше* Батюшкова».

Такъ цѣнилъ Баратынскаго Пушкинъ, приравнивая одинъ томъ поэзіи

Эта строфа точно вчера написана. Въ началѣ своего поприща Баратынскій, въ посланіи къ Богдановичу, завидуя «веселости ясной» отошедшаго пѣвца Душеньки, жалуется, что

Новѣйшіе поэты
Не улыбаются въ твореніяхъ своихъ,
И на лицѣ земли все какъ-то не по нихъ.

И эти строфы также вполне могли бы быть примѣнены ко всей нашей новой поэзіи. Но тогда, въ то время, сродною намъ печалью страдалъ одинъ только Баратынскій. Другіе поэты, подъ вліяніемъ Байрона, были просто разочарованные. Это была печаль нарядная, модная и эффектная. Лермонтовъ, нѣсколько позже, взялъ, быть можетъ, болѣе глубокіе скорбные звуки, чѣмъ Баратынскій, но Лермонтовъ все-таки былъ еще романтикъ и въ его юной, страстной натурѣ, на ряду съ гордымъ отчаяніемъ, кипѣлъ порывъ къ сверхчувственному, ему грезились демоны и ангелы, и «кущи рая», и какой-то «новый міръ», и въ «небесахъ онъ видѣлъ Бога». У Баратынскаго же съ самыхъ молодыхъ лѣтъ фантазія стала блѣднѣть и умирать передъ неумолимымъ, острымъ взглядомъ холоднаго ума, и поэтъ началъ подумывать о какомъ-нибудь философскомъ, спокойномъ исходѣ изъ этой коллизіи. Въ томъ же посланіи къ Богдановичу Баратынскій такъ опредѣляетъ свою роль въ поэзіи:

Я правды красоту даю стихамъ моимъ,
Желаю доказать людскихъ суетъ ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.

Дорого же досталась Баратынскому эта миссія!

Грусть привязалась къ поэту очень рано. Основныя черты характера обозначились еще въ младенчествѣ. Въ письмахъ къ ма-

Баратынскаго всей массѣ сочиненій Жуковскаго... Не малые же богатства поэзіи содержать въ себѣ послѣ этого книга нашего поэта! Очень скромный въ сужденіяхъ о себѣ, Баратынскій сознавалъ, однако, непопулярность своей книги. Въ стихотвореніи «Осень», какъ бы говоря о комъ-то другомъ, поэтъ восклицаетъ:

Такъ иногда толпы лѣнивый умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, пошлый гласъ, вѣщатель общихъ думъ,
И звучный отзывъ въ ней находить,
Но не найдетъ отзыва тотъ глаголь,
Что страстное земное перешелъ...

Поэтъ-мыслитель, поэтъ-метафизикъ, Баратынскій постоянно порывался «перейти страстное земное» и вся его муза есть муза глубокой скорби о какомъ-то необрѣтаемомъ идеалѣ.

тери 11-лѣтній Баратынскій говорилъ: «Не лучше-ли быть счастливымъ невѣждой, чѣмъ несчастнымъ ученымъ», а въ 16 лѣтъ замѣчаетъ: «Si le coeur serait rempli de manière, qu'il ne puisse pas réfléchir à ce qu'il sent!». Въ расцвѣтъ юности, 20-ти лѣтъ, поэтъ пишетъ:

Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполнѣ;
Все мнится: счастливъ я ошибкой
И не къ лицу веселье мнѣ.

Въ томъ же году, въ Финляндіи, въ разсѣлинахъ скалъ, въ свѣтлую финскую ночь, поэтъ задумывается надъ прошлымъ этого края, вспоминаетъ «Одиновыхъ дѣтей», какъ бы видить ихъ туманную толпу въ облакахъ, читаетъ печаль въ ихъ взорахъ и восклицаетъ:

И вы сокрылися въ обители тѣней!
Что-жъ наши подвиги, что слава нашихъ дней,
Что наше вѣтренное племя?
О, все своей чредой исчезнетъ въ безднѣ лѣтъ!
Для всѣхъ одинъ законъ, законъ уничтоженья!

Передъ лицомъ этой подавляющей тщеты всего земного Баратынскій пытается найти поддержку въ разсудкѣ, въ здоровомъ отношеніи къ жизни:

Но я въ безвѣстности, для жизни жизнь люблю,
Я беззаботливой душою
Вострепещу-ль передъ судьбою?
Не точный для времени, я точенъ для себя:
Не одному-ль воображенію
Гроза ихъ что-то говорить?
*Мгновенье мнѣ принадлежитъ,
Какъ я принадлежу мгновенью!*

Но эта рѣшимость поэта наслаждаться дѣйствительностью, «беззаботно любить жизнь для самой жизни», пользоваться мгновеньемъ,—эта рѣшимость не переходитъ въ дѣло. Причиною тому — трагическая организація самого поэта, въ которомъ постоянно боролись двѣ противоположныя силы: холодъ ума и пламя чувства, разсудокъ и фантазія—«огонь и ледь—вода и камни!» Въ слѣдующемъ же стихотвореніи «Къ Коншину», Баратынскій пишетъ: «Страданье нужно намъ въ любви, ибо

Что, что даетъ любовь *сеслымъ* шалунамъ?
Забаву легкую, минутное забвенье.

Намъ же, т. е. поэтамъ, — говоритъ Баратынскій, — «въ ней дано *благо лучшее*». «Мы повѣряемъ нѣжности чувствительной подруги всѣ раны, всѣ недуги, все расслабленіе души своей больной... И если *мнимымъ* (т. е. мечтательнымъ) счастьемъ *для свѣта* мы убоги (т. е. въ глазахъ веселыхъ, здоровыхъ людей), то эти счастливицы зато бѣдѣ насъ, потому что праведные боги

Имъ дали *чувственность*, а *чувство* только намъ!

Понятно, поэтому, что такой темпераментъ не былъ призванъ для матеріальнаго счастья. Иногда раздвоенность поэта достигаетъ какого-то страннаго равновѣсія: онъ самъ не можетъ опредѣлить, наслаждается онъ или страдаетъ:

Когда взойдетъ денница золотая,
Горить эфиръ,
И ото сна встаетъ, благоухая,
Цвѣтушій міръ,
И славить все существованья сладость,—
Съ душой твоей
Что въ пору ту? Скажи: живая радость,
Тоска ли въ ней?
Когда на дѣвѣ цвѣтушихъ и привѣтныхъ,
Передъ тобой
Мелькающихъ въ одеждахъ разноцвѣтныхъ,
Глядишь порой,
Глядишь и пьешь ихъ томныхъ взоровъ сладость,—
Съ душой твоей,
Что въ пору ту? Скажи: живая радость,
Тоска ли въ ней?

Вѣчный анализъ до того преслѣдуетъ поэта, такъ отравляетъ его существованіе, что въ одномъ сильномъ стихотвореніи онъ умоляетъ «Истину» не показываться ему совсѣмъ, покинуть его— или развѣ явиться ему въ самую послѣднюю минуту жизни:

Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи,
Мой разумъ просвѣти:
Чтобъ, жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи
Безропотно сойти.

И вотъ жизнь уже представляется поэту какимъ-то обязательнымъ мученіемъ, тѣмъ болѣе загадочнымъ, что, по природѣ своей, мы дорожимъ этимъ тягостнымъ процессомъ; поэтъ готовъ признать, что самая смерть, вѣроятно, лучше:

Нашъ тягостный жребій: положенный срокъ,
 Питаться болѣзанной жизнью,
Любить и мѣлать недугъ бытія,
И смерти отрадной страшиться.

А позже, необыкновенно вѣрный себѣ, Баратынский посвящаетъ смерти цѣлый хвалебный гимнъ. Онъ отвергаетъ ея легендарное изображеніе въ видѣ уродливаго остова съ косою и называетъ ее «свѣтозарная краса», «дочь верховнаго эфира». Чуднымъ стихомъ опредѣляетъ онъ ея назначеніе въ мірѣ:

Она прохладнымъ дуновеньемъ
 Смиряетъ буйство бытія.

Она даетъ предѣлы всему плодѣющемуся, чтобы на землѣ остался просторъ,—она сравниваетъ властелина и раба, она «всѣхъ загадокъ разрѣшеніе и разрѣшеніе всѣхъ цѣпей!» Въ такой безнадежной философіи Баратынский достигаетъ тридцати-пяти лѣтъ. Здѣсь образуется естественный рубежъ и въ сборникѣ Баратынскаго, и въ самой исторіи его поэзіи.

Новый сборникъ Баратынскаго «Сумерки», изданный уже въ 1842 году, посвященъ Вяземскому. Поэтъ обращается къ Вяземскому съ чудеснымъ задушевнымъ посланіемъ:

Вамъ приношу я пѣснопѣнья,
 Гдѣ отразилась жизнь моя,
 Исполнена тоски глубокой,
 Противорѣчій, слѣпоты,
 И между тѣмъ любви высокой,
 Любви, добра и красоты.

Хотя поэтъ пишетъ далѣе, что сны *сердца* и стремленія *мысли* разумно имъ усыплены, но, читая книгу, которую вѣрнѣе было-бы назвать «Мракомъ», нежели «Сумерками», мы видимъ, что роковыя противорѣчія между разсудочностью и мечтательностью остались въ поэтѣ непримиренными. Эти сіамскіе близнецы, ненавидѣющіе другъ друга, остались въ поэтѣ оба живыми, и оттого книга производитъ удручающее, трагическое впечатлѣніе. Дарованіе поэта окрѣпло и онъ блистательно одолеваетъ самыя трудныя темы. Въ глубокомъ стихотвореніи «Толпѣ тревожный день привѣтенъ», поэтъ говоритъ, что толпа боится ночи и ея видѣній, а поэты страшатся дѣйствительности. Баратынский примиряетъ обѣ стороны и совѣ-

туетъ толпѣ ощущать мракъ — въ немъ нѣтъ призраковъ, а поэту совѣтуетъ не робѣть передъ заботою земною, ибо она таетъ, какъ облако, — и за нею опять открываются обители духовъ. Вы чувствуете, вы видите, что поэтъ отрицаетъ въ этомъ мірѣ силою своего разума все чудесное, но не рѣшается все-таки разстаться съ инымъ, сверхъестественнымъ міромъ. Разъединеніе полное, какъ въ началѣ. Въ превосходномъ стихотвореніи «Осень» поэтъ признаетъ, что

Нѣкогда всѣхъ увлеченій другъ,
Сочувствій пламенный искатель,
Блистательныхъ тумановъ царь—онъ вдругъ:
Бесплодныхъ дебрей созерцатель.

Повидимому, онъ полный банкротъ. Но далѣе поэтъ намекаетъ, что если у него въ груди и есть *озареніе*, которымъ, быть можетъ, *разрѣшается думъ и чувствъ послѣднее вихревозвращеніе*, — то все-таки:

Знай, внутренней своей во вѣки ты
Не передашь земному звуку!

Опять коллизія думъ и чувствъ въ полномъ разгарѣ: несостоятельность земныхъ идеаловъ безспорна и наглядна, а для того, чтобы выразить вѣру — нѣтъ слова, уста коснѣютъ... Въ томъ-же духѣ стихотвореніе «Недоносокъ» — замѣчательная пьеса, нѣчто въ родѣ баллады о ничтожествѣ человѣка, брошеннаго между небомъ и землею, зависимаго отъ стихій, отъ настроенія, неспособнаго сладить съ вопросами ума: «въ тягость роскошь мнѣ твоя, въ тягость твой просторъ, о вѣчность!» Таковы-же: «Мудрецу» — глубоко-пессимистическое стихотвореніе; «Ахиллъ», гдѣ говорится, что Ахиллъ былъ-бы вполне неуязвимъ, еслибы своею несовершенною пятою онъ сталъ на живую вѣру; «На что вы, дни» — сильный, унылый аккордъ и др. Разумѣется, и несовершенный Ахиллъ и Недоносокъ — это самъ Баратынскій. Въ подобныхъ замыслахъ сказывается оригинальность Баратынскаго среди лириковъ, подавленныхъ вліянію Байрона. Байронъ страдалъ избыткомъ величія: это былъ «переносокъ», титанъ! Онъ вызывалъ на бой и вселенную и общество. Между тѣмъ нашъ поэтъ покорно оплакивалъ рабскую ограниченность человѣческой природы. Всего сильнѣе это выражено имъ въ стихотвореніи «Къ чему невольнику мечтанія свободы?»...

Наконецъ, въ стихотвореніяхъ «Послѣдній поэтъ», «Все мысль да мысль!» и «Примѣты» Баратынскій, какъ бы отмщая познанію

и разсудку за свой разладъ, высказалъ, что первоначальные сны поэзи и наивное общеніе съ природой исчезло именно благодаря мысли, *наукѣ*. Это священное слово было названо—и на Баратынскаго ополчился Бѣлинскій.

Вотъ въ подлинникѣ преступное мѣсто въ стихотвореніи «Послѣдній поэтъ»:

Воспѣваетъ простодушный
Онъ *) любовь и красоту,
И науки, имъ ослушной,
Пустоту и суету.
Мимолетныя страданья
Легкомысліемъ цѣня,
Лучше, смертный, въ дни незнанья:
Радость чувствуетъ земля.

А вотъ и отрывокъ изъ «Примѣтъ».

Пока человѣкъ естества не пыталъ
Горниломъ, вѣсами и мѣрой,
Но дѣтски вѣщаньямъ природы внималъ.
Ловилъ ея знаменья съ вѣрой;
Покуда природу любилъ онъ, она
Любовью ему отвѣчала:
О немъ дружелюбной заботы полна,
Языкъ для него обрѣтала.
.....
Но чувство презрѣвъ, онъ довѣрилъ уму,
Вдался въ суету изысканій,
И сердце природы закрылось ему,
И нѣтъ на землѣ прорицаній.

Негодованіе Бѣлинскаго было неудержимое. «Оленя ранили стрѣлой!» Приведенныя мѣста изъ сборника вызвали цѣлую бурю.

Теперь странно читать этотъ горячій трактатъ знаменитаго критика (соч. Бѣлинскаго, т. VI, стр. 297—303). Странно видѣть, съ какимъ усердіемъ Бѣлинскій доказываетъ Баратынскому, словно маленькому мальчику, пользу наукъ, изобрѣтѣній желѣзныхъ дорогъ и т. п. Неужели Баратынскій всего этого не понималъ? Конечно, не могъ онъ не цѣнить завоеваній культуры. Онъ указывалъ только на фактъ безспорный, на фактъ, единогласно признаваемый человечествомъ, что знаніе имѣетъ и свою тѣневую сторону, что оно, обогащая нашъ умъ, отнимаетъ часть прелести у окружающихъ

*) Т. е. поэтъ.

предметовъ, что наука сушить, что все раскрытое перестаетъ быть привлекательнымъ. Поэтому нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который-бы съ особенною любовью не вспоминалъ своего дѣтства, т. е. именно поры полного невѣжества. Вѣдь все это такія истины, что надо только удивляться ослѣпленію Бѣлинскаго. Кстати вспомнимъ, что тѣ-же идеи о горечи познанія мы встрѣчаемъ и у Пушкина. Не Пушкинъ-ли сказалъ:

Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ!

А эта чудная строфа изъ «Евгенія Онегина»:

Стократъ блаженъ, кто преданъ *вѣрѣ*,
Кто, хладный умъ угомонивъ,
Покоится въ сердечной нѣгѣ,
Какъ пьяный путникъ на ночлегъ,
Или, нѣжнѣй, какъ мотылекъ,
Въ весенній впившійся цвѣтокъ;
Но жалокъ тотъ, кто все предвидитъ,
Чья не кружится голова,
Кто всѣ движенія, всѣ слова
Въ ихъ переводѣ ненавидитъ.
Чье сердце опытъ остудилъ
И увлекаться запретилъ.

(Глава четвертая LI).

Развѣ здѣсь слова «истина», «опытъ», «предвидѣніе всего» — т. е. въ сущности завоеванія ума въ жизни отдѣльнаго человѣка — не играютъ рѣшительно той-же роли, какъ и слово «наука» у Баратынскаго? Ибо, что такое наука, какъ не опытъ всего передового человѣчества? Только у Баратынскаго вопросъ поставленъ рѣзче и шире. Объясняется это натурою обоихъ поэтовъ. Пушкинъ — темпераментъ подвижный, страстный, жизнелюбивый; онъ задѣвалъ такіе скорбные вопросы только слегка, онъ слишкомъ любилъ жизнь съ ея блескомъ и культурой и находилъ всегда выходъ изъ страданія въ своей здоровой, гармонической организаціи. Баратынский же, какъ человѣкъ созерцательный и полный мучительныхъ противорѣчій, ни въ чемъ не находилъ исцѣленія отъ своей скорби. И не странно-ли было со стороны Бѣлинскаго распекалъ Баратынскаго за отсталость, когда нашъ поэтъ выражалъ только тотъ глубокий вопль о роковыхъ противорѣчіяхъ міроустройства, который не перестанетъ повторяться во всѣ вѣка. Достаточно вспомнить

философію Руссо въ прошломъ столѣтіи и направленіе поэзіи Льва Толстого въ самые послѣдніе дни нашего времени.

Баратынскій долженъ быть признанъ отцомъ современнаго пессимизма въ русской поэзіи, хотя дѣти его ничему у него не учились, потому что едва-ли заглядывали въ его книгу. Поэтъ какъ-бы сознавалъ свое родство съ какимъ-то близкимъ будущимъ поколѣніемъ, которое, однако, ему не удалось увидеть ¹⁾. Вотъ что онъ говоритъ въ стихотвореніи «На посѣвъ лѣса»:

Летѣлъ душой я къ новымъ племенамъ,
Любилъ, ласкалъ ихъ пустоцвѣтный колосъ;
Я дни извелъ, стучась къ людскимъ сердцамъ,
Всѣхъ чувствъ благихъ я подавалъ имъ голосъ.
Отвѣта нѣтъ! Отвергнувъ струны я,
Да хрящъ другой мнѣ будетъ плодоносенъ
И вотъ ему несетъ рука моя
Зародыши елей, дубовъ и сосенъ.
И пусть! Простяся съ лирою моею,
Я вѣрую: ее замѣнятъ эти
Поэзіи таинственныхъ скорбей
Могучія и сумрачныя дѣти.

Поэтъ вѣритъ, что неразгаданнымъ языкомъ его поэзіи будетъ вѣчно говорить человѣку нѣмая природа...

Итакъ, Баратынскій имѣетъ свою неповторяемую, особенную поэтическую фізіономію. Разсудочность и мечтательность въ разладѣ у многихъ людей, но между этими враждебными сторонами человѣческой сущности у большинства наступаетъ современемъ нѣкоторый сладъ, водворяющій внутреннее равновѣсіе. У Баратынскаго-же наблюдается феноменъ какого-то особеннаго непримиримаго развитія этихъ силъ. Онъ вложилъ въ искусство живую

¹⁾ Онъ самъ предсказалъ свою судьбу:

Мой даръ убогъ и голосъ мой не громокъ,
Но я живу, и на землѣ мое
Кому-нибудь любезно бытіе:
Его найдетъ далекій мой потомокъ
Въ моихъ стихахъ. Какъ знать? Душа моя
Окажется съ душой его въ сношеніи,
И, какъ нашелъ я друга въ поколѣнни,
Читателя найду въ потомствѣ я.

книгу своего страданія, книгу искреннюю, глубокую и потому прекрасную. Теперь феномены, подобные ему, расплодились и онъ легче можетъ быть понятъ, потому что мы сами стали ближе къ Баратынскому. Наивность исчезаетъ въ поэзіи. Пасторали вышли изъ моды, балладамъ—больше не вѣрятъ. Анти-поэтический элементъ размышленія, разсудочности все больше и больше врывается въ сладкія пѣсни дѣтей Феба. Баратынскій одинъ изъ первыхъ вступилъ на эту рискованную дорогу и остался поэтомъ...

С. А. Андреевскій.

ДЕЛЬВИГУ.

Напрасно мы, Дельвигъ, мечтаемъ найти
Въ сей жизни блаженство прямое:
Небесные боги не дѣлятся имъ
Съ земными дѣтьми Прометея.

Похищенной искрой созданье свое
Дерзнулъ оживить безразсудный;
Безсмертныхъ онъ презрѣлъ, и страшная казнь
Постигнула чадъ святотатства.

Нашъ тягостный жребій—положенный срокъ
Питаться болѣзненной жизнью,
Любить и лелѣять недугъ бытія
И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слѣпыя рабы,
Рабы самовластнаго рока!
Земнымъ ощущеньямъ насильственно насъ
Случайная жизнь покоряетъ.

Но въ искрѣ небесной пріяли мы жизнь,
Намъ памятно небо родное,
Въ желаніи счастья мы вѣчно къ нему,
Стремимся неяснымъ желаньемъ!..

Вотще! Мы надолго отвержены имъ!
Сіяя краскою надъ нами,
На брѣнную землю безопасно оно
Торжественный сводъ опираетъ...

Но намъ недоступно! Какъ алчный Танталъ
Сгораетъ средь влаги прохладной,
Такъ, сердцемъ постигнувъ блаженнѣйшій міръ,
Томимся мы жаждою счастья.

ИСТИНА.

О счастіи съ младенчества тоскуя,
Все счастьемъ бѣденъ я;
Или во вѣкъ его не обрѣту я
Въ пустынѣ бытія?

Младые сны отъ сердца отлетѣли,
Не узнаю я свѣтъ;
Надеждъ своихъ лишень я прежней цѣли,
А новой цѣли нѣтъ.

«Безуменъ ты и всѣ твои желанья»,
Мнѣ первый опытъ рекъ.
И лучшія мечты моей созданья
Отвергнулъ я на вѣкъ.

Но для чего души разувѣренъ
Свершилось не исполнѣ?
О юныхъ снахъ слѣпое сожалѣнье
Зачѣмъ живетъ во мнѣ?

Такъ нѣкогда обдумывалъ съ роптаньемъ
Я жребій тяжкій свой.
Вдругъ истину (то не было мечтаньемъ)
Узрѣлъ передъ собой.

«Свѣтильникъ мой укажетъ путь ко счастью!»
Вѣщала:—«захочу,
И страстнаго отрадному безстрастью
Тебя я научу.

«Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь;
Пускай, узнавъ людей,
Ты, можетъ-быть, испуганный разлюбишь
И ближнихъ, и друзей.

«Я бытія всѣ прелести разрушу,
Но умъ наставлю твой;
Я оболю суровымъ хладомъ душу,
Но дамъ душѣ покой».

Я трепеталъ, словамъ ея внимая,
И горестно въ отвѣтъ
Промолвилъ ей: «О гостыя роковая!
Печалень твой привѣтъ!

«Свѣтильникъ твой—свѣтильникъ погребальный
Всѣхъ радостей земныхъ!
Твой миръ, увы! могилы миръ печальный,
И страшень для живыхъ.

«Нѣтъ, я не твой! въ твоей наукѣ строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня: кой какъ моею дорогой
Одинъ я побреду.

«Прости! иль нѣтъ: когда мое свѣтило
Во звѣздной вышинѣ
Начнетъ блѣднѣть, и все, что сердцу мило,
Забуть придется мнѣ,—

«Явись тогда! раскрой тогда мнѣ очи,
Мой разумъ просвѣти,
Чтобъ, жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи
Безропотно сойти!»

ЧЕРЕПЪ.

Усопшій братъ, кто сонъ твой возмутить?
Кто пренебрегъ святынею могильной?
Въ разрытый домъ къ тебѣ я нисходилъ,
Я въ руки бралъ твой черепъ желтый, пыльной.

Еще носилъ волосъ остатки онъ;
Я зрѣлъ на немъ ходъ постепенный тлѣнья.
Ужасный видъ! какъ сильно пораженъ
Имъ мыслящій наслѣдникъ разрушенья!

Со мной толпа безумцевъ молодыхъ
 Надъ ямою безумно хохотала:
 Когда-бъ тогда, когда-бъ въ рукахъ моихъ
 Глава твоя внезапно провѣщала!

Когда-бъ она цвѣтущимъ, пылкимъ намъ
 И каждый часъ грозимымъ смертнымъ часомъ
 Всѣ истины, извѣстныя гробамъ,
 Произнесла своимъ безстрастнымъ гласомъ!

Что говорю? Стократно благъ законъ,
 Молчаньемъ ей уста запечатлѣвшій:
 Обычай правъ, усопшихъ важный сонъ
 Намъ почитать издревле повелѣвшій.

Живи живой, спокойно тлѣй мертвецъ!
 Всесильнаго ничтожное созданье,
 О человѣкъ! увѣрься, наконецъ:
 Не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!

Намъ надобны и страсти, и мечты,
 Въ нихъ бытія условіе и пища:
 Не подчинишь однимъ законамъ ты
 И свѣта шумъ, и тишину кладбища!

Природныхъ чувствъ мудрецъ не заглушить
 И отъ гробовъ отвѣта не получить:
 Пусть радости живущимъ жизнь дарить,
 А смерть сама ихъ умереть научить.

* * *

Толпѣ тревожный день привѣтенъ, но страшна
 Ей ночь безмолвная. Бойтся въ ней она
 Раскованной мечты видѣній своевольныхъ.
 Не легкокрылыхъ грезъ, дѣтей волшебной тьмы,
 Видѣній дня боимся мы,
 Людскихъ суетъ, заботъ юдольныхъ.
 Ощупай возмущенный мракъ:
 Исчезнетъ, съ пустотой сольется
 Тебя пугающій призракъ,
 И заблужденію чувствъ твой ужасъ улыбнется.

О сынъ фантазіи! ты, благодатныхъ фѣй
 Счастливый баловень, и тамъ, въ заочномъ мірѣ,
 Веселый семьянинъ, привычный гость на пирѣ
 Неосязаемыхъ властей!
 Мужайся, не слабѣй душою
 Передъ заботою 'земною:
 Ей исполинскій видъ даетъ твоя мечта;
 Коснися облака нетрепетной рукою,—
 Исчезнетъ, а за нимъ опять передъ тобою
 Обители духовъ откроются врата.

МУДРЕЦУ.

Тщетно межъ бурною жизнью и хладною смертью, философъ,
 Хочешь ты пристань найти, имя даешь ей: покой.
 Намъ, изволенъ Зевеса брошеннымъ въ міръ коловратный,
 Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно.
 Тотъ, кого миновали общія смуты, заботу
 Самъ вымышляетъ себѣ: лиру, палитру, рѣзецъ.
 Міра невѣжда, младенецъ, какъ будто законъ его чуетъ,
 Первымъ стenanьемъ качать нудитъ свою колыбель!

КОНШИНУ.

Повѣрь, мой милый другъ, страданье нужно намъ.
 Не испытавъ его, нельзя понять и счастья:
 Живой источникъ сладострастья
 Дарованъ въ немъ его сынамъ.
 Оди-ли радости отрадны и прелестны?
 Одно-ль веселье веселить?
 Бездѣйственность души счастливыхъ тяготитъ:
 Имъ силы жизни неизвѣстны.
 Не намъ завидовать лѣнивымъ чувствамъ ихъ!
 Что въ дружбѣ вѣтренной, въ любви однообразной
 И въ ощущеніяхъ слѣпыхъ
 Души разсыпанной и праздною
 Счастливы мнимые, способны-ль вы понять
 Участья нѣжнаго сердечную услугу?

Способны-ль чувствовать, какъ сладко повѣрять
 Печаль души своей внимательному другу?
 Способны-ль чувствовать, какъ дорогъ вѣрный другъ?
 Но кто постигнуть рокомъ гнѣвнымъ
 Чью душу тяготитъ мучительный недугъ,
 Тотъ дорожитъ врачомъ душевнымъ.
 Что, что дастъ любовь веселымъ шалунамъ?
 Забаву легкую, минутное забвенье;
 Въ ней благо лучшее дано богами намъ
 И нуждъ живѣйшихъ утоленье!
 Какъ будетъ сладко, милый мой,
 Повѣрить нѣжности чувствительной подругѣ,
 Скажу-ль? всѣ раны, всѣ недуги,
 Все разслабленіе души твоей больной;
 Забывъ и свѣтъ, и рокъ суровый
 Желанье смутное въ одно желанье слить
 И на устахъ ея, въ ея дыханьи пить
 Цѣлебный воздухъ жизни новой!
 Хвала всевидащимъ богамъ!
 Пусть мнимымъ счастьемъ для свѣта мы убоги,—
 Счастливицы насъ бѣднѣй, и праведные боги
 Имъ дали чувственность, а чувство дали намъ.

ПРИЗНАНІЕ.

Притворной нѣжности не требуй отъ меня;
 Я сердца моего не скрою хладъ печальный.
 Ты права, въ немъ ужъ нѣтъ прекраснаго огня
 Моей любви первоначальной.
 Напрасно я себѣ на память приводилъ
 И милый образъ твой, и прежнія мечтанья,—
 Безжизненны мои воспоминанья,
 Я клятвы далъ, но далъ ихъ выше силъ.
 Я не плѣненъ красавицей другою,
 Мечты ревнивыя отъ сердца удали;
 Но годы долгіе въ разлукѣ протекли,
 Но въ буряхъ жизненныхъ развлекся я душою.
 Ужъ ты жила невѣрной тѣнью въ ней;

Уже къ тебѣ взывалъ я рѣдко, принужденно,
И пламень мой, слабѣя постепенно,
Собою самъ погасъ въ душѣ моей.

Вѣрь, жалокъ я одинъ. Душа любви жагаетъ,
Но я любить не буду вновь;
Вновь не забудусь я: вполнѣ упоеваетъ
Насъ только первая любовь.

Грущу я; но и грусть минуетъ, знаменѹя
Судбины полную побѣду надо мной.
Кто знаетъ? мнѣніемъ солюся я съ толпой;
Подругу, безъ любви,—кто знаетъ?—изберу я.
На бракъ обдуманнѣй я руку ей подамъ
И въ храмѣ стану рядомъ съ нею
Невинной, преданной, быть-можетъ, лучшими снамъ,
И назову ее моею,
И вѣсть къ тебѣ придетъ; но не завидуй намъ:
Обмѣна тайныхъ думъ не будетъ между нами,
Душевному прихотямъ мы воли не дадимъ—
Мы не сердца подъ брачными вѣнцами,
Мы только жребіи свои соединимъ.

Прощай! мы долго шли дорогою одною,—
Путь новый я избралъ, путь новый избери,
Печаль безплодную разсудкомъ усьмири
И не вступай, молю, въ напрасный судъ со мною!
Не властны мы въ самихъ себѣ,
И въ молодѣя наши лѣты
Даемъ поспѣшные обѣты,
Смѣшныя, можетъ быть, всевидящей судьбѣ.

* * *

Къ чему невольнику мечтанія свободы?
Взгляни: безропотно текутъ рѣчныя воды
Въ указанныхъ берегахъ, по склону ихъ русла;
Ель величавая стоитъ, гдѣ возросла,
Невластная сойти; небесныя свѣтила
Назначеннымъ путемъ невѣдомая сила
Влечетъ; бродячій вѣтръ неволенъ, и законъ

Его летучему дыханью положень.
 Удѣлу своему и мы покорны будемъ;
 Мятѣжныя мечты смиримъ иль позабудемъ;
 Рабы разумныя, послушно согласимъ
 Свои желанія со жребіемъ своимъ,
 И будетъ счастлива, спокойна наша доля.
 Безумецъ! не она-ль, не вышняя-ли воля
 Даруетъ страсти намъ?..
 О, тягостна для насъ...
 Жизнь, въ сердцѣ бьющая могучею волною
 И въ грани узкія втѣсенная судьбою.

НЕДОНОСОКЪ.

Я изъ племени духовъ,
 Но не житель Эмпирея,
 И едва до облаковъ
 Возлетѣвъ, паду слабѣя.
 Какъ мнѣ быть? я малъ и плохъ;
 Знаю—рай за ихъ волнами,
 И ношусь, крылатый вздохъ,
 Межъ землей и небесами.

Блещетъ солнце: радость мнѣ!
 Съ животворными лучами
 Я играю въ вышинѣ
 И веселыми крылами.
 Ластюсь къ нимъ, какъ облачко;
 Пью счастливо воздухъ тонкій:
 Мнѣ свободно, мнѣ легко,
 И пою я птицей звонкой.

Но ненастье зареветъ,
 И до облакъ сводъ небесный,
 Омрачившись, вознесетъ
 Прахъ земной и листь древесный.
 Бѣдный духъ! ничтожный духъ!
 Дуновение роковое
 Вьетъ, крутитъ меня, какъ пухъ,
 Мчитъ подъ небо громовое.

Бури грохоть, бури свистъ!
Вихорь холодный! вихорь жгучій!
Бьетъ меня древесный листъ,
Удушаетъ прахъ летучій!
Обращусь ли къ небесамъ,
Оглянуся ли на землю—
Грозно, черно тутъ и тамъ;
Вопль унылый я подъемаю.

Смутно слышу я порой
Кличъ враждующихъ народовъ,
Поселятъ безпечныхъ вой
Подъ грозой ихъ переходовъ,
Громъ войны и крикъ страстей,
Плачь недужнаго младенца...
Слезы льются изъ очей:
Жаль земного поселенца!

Изнывающій тоской,
Я мечусь въ поляхъ небесныхъ,
Надо мной и подо мной
Безпредѣльныхъ—скорби тѣсныхъ!
Въ тучу кроюсь я, и въ ней
Мчуся, чуждъ земного края,
Страшный гласъ людскихъ скорбей
Гласомъ бури заглушая.

Миръ я вижу, какъ во мглѣ;
Арфъ небесныхъ отголосокъ
Слабо слышу... На землѣ
Оживилъ я недоносокъ.
Отбылъ онъ безъ бытія:
Роковая скоротечность!
Въ тягость роскошь мнѣ твоя,
Въ тягость твой просторъ, о вѣчность!

* * *

На что вы дни! Юдолюбный миръ явленья
Свой не измѣнить;
Всѣ вѣдомы, и только повторенья
Грядущее сулить.

Не даромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша,—
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безумная душа!

И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній
Сомкнувшая давно,
Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній
Ты дремлешь; а оно

Безсмысленно глядитъ, какъ утро встанетъ,
Безъ нужды ночь смѣня;
Какъ въ мракъ ночной безплодный вечеръ канетъ,
Вѣнецъ пустого дня!

А. В. Кольцовъ.

«Пѣсни Кольцова въ нашей поэзіи едва-ли не самое полное, стройное, донынѣ еще мало оцѣненное выраженіе земледѣльческаго быта русскаго крестьянина *). Мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ чело-вѣкомъ, только любящимъ народъ, т. е. сходящимъ къ нему, а вы-шедшимъ изъ него, не порвавшимъ съ нимъ глубокой сердечной связи: можно сказать, что устами Кольцова говоритъ самъ, тысяче-лѣтія безмолвствовавшій, русскій народъ. Пѣвцы, нисходившіе къ нему, говорили, что онъ несчастенъ:

Выдь на Волгу: чей стонъ раздается
Надъ великою русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется,
То бурлаки идутъ бичевой...
Гдѣ народъ—тамъ и стонъ...

«У Кольцова есть крикъ негодованія, безпредѣльная жажда свободы, даже—если хотите—возмущенный крикъ ярости и боли, но -безпомощныхъ стоновъ и этого жалобнаго плача, которымъ полны вышеприведенные анапесты интеллигентнаго поэта, у Кольцова нѣтъ. Конечно, никакіе стоны интеллигентныхъ пѣвцовъ не могутъ выразить той глубины затаеннаго, высокомернаго и молчаливаго страданія, которое онъ носить въ душѣ своей. Эта скорбь, скорбь народа — во истину ничѣмъ не меньше нашей міровой скорби,—байроновской «*тѣмы*».

Тяжелѣй горы,
Темнѣй полночи,
Легла на сердце
Дума черная...

*) Характеристика эта заимствована изъ книги Д. С. Мережковского «О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы». Спб. 1893 г.

«И все же онъ не стонетъ. Онъ не хочетъ жалости, онъ только жаждетъ воли—

Что-бъ порой предъ бѣдой
За себя постоять,
 Подъ грозой роковой
 Назадъ шагу не дать:
 И что-бъ съ горемъ въ пиру
 Быть съ веселымъ лицомъ,
На побѣлу идти—
Пьши пьтъ соловья!

«Не происходитъ-ли великое и добровольное *смирѣніе* народа, о которомъ такъ много, даже слишкомъ много говорилъ Достоевскій, отъ сознанія этой страшной внутренней силы, отъ историческаго, никакими несчастіями неистребимаго сознанія грядущей побѣды?

Снаряжу коня,
 Полечу въ лѣса,
 Стану въ тѣхъ лѣсахъ
 Вольной волей жить.
 Съ кѣмъ дорогою
 Сойдусь, съѣдусь-ли,—
Всякій молодцу
Шапку до земли!

«Развѣ это стонъ? И вѣдь у каждого изъ тѣхъ мужиковъ, которые стояли у «параднаго подѣзда» и которыхъ пожалѣлъ интеллигентный поэтъ, была же гдѣ-то, въ глубинѣ души такая-же чудная русская гордость и сила. Не намъ жалѣть народъ. Скорѣе мы должны *себя пожалѣть*. Чтобы самимъ не погибнуть въ отвлеченности, въ пустотѣ, въ холодѣ, въ безвѣріи, мы должны беречь кровную связь съ источникомъ всякой силы и всякой вѣры—съ народомъ.

«Вотъ, что замѣчательно: истинно-народный поэтъ—Кольцовъ, по своему духу гораздо ближе къ Лермонтову, величайшему мистику, одинокому мечтателю, презиравшему идеалы пользы и влюбленному въ неземную красоту, чѣмъ къ практическому Некрасову, который всю жизнь самъ такъ мучительно и страстно хотѣлъ быть близкимъ къ народу.

И сила есть—да воли нѣтъ...

И друзья мои товарищи
 Одного меня всѣ кинули...

*Гой ты, сила пододонная!
Отъ тебя я службы требую—
Дай мнѣ волю, волю прежнюю,
А душой тебѣ я кланяюсь.*

«Такъ поэтъ любить волю—онъ готовъ душу отдать темнымъ силамъ Зла, только бы купить себѣ утраченное блаженство воли! Развѣ это не гордое возмущеніе Лермонтова?

«Интеллигентный пѣвецъ народа считаетъ идеалы красоты и поэзіи, такъ называемаго «чистаго (?) искусства» противорѣчащими дѣятельной любви къ народу:

*Съ твоимъ талантомъ стыдно спать,
Еще стыднѣе въ юдину юрля
Красу долины, небесъ и моря,
И ласки милой востыгать!...*

«Онъ стыдится пѣть *вѣчное*, т. е. любовь и красоту, въ то время, какъ народъ несчастенъ. Но самъ народъ, который всетаки больше страдаетъ, чѣмъ за него страдаютъ, не стыдится красоты, а любить ее, какъ жизнь, какъ свободу, какъ свою силу, какъ хлѣбъ насущный. Красота для него вовсе не роскошь и не отдыхъ, она для него—солнце жизни, вдохновеніе въ его пѣсняхъ, молитва въ его страданіяхъ. О нѣтъ, онъ не стыдится красоты. И, правоже, народъ поетъ весну и цвѣты, и красныя зори, и даже ласку милой, все, что въ жизни сладко, всѣ дары Божіи, поетъ по своему не хуже многихъ интеллигентныхъ поэтовъ. И замѣтите, что вѣдь поетъ онъ ихъ именно *безкорыстно*, не думая ни объ идеѣ, ни о пользѣ, а чувствуя блаженство красоты и освобожденія отъ земныхъ цѣпей. Мужикъ, тотъ самый мужикъ, во имя котораго у насъ считали нужнымъ стыдиться красоты, творить свои пѣсни, также, какъ Пушкинъ ихъ творить,—

*Не для житейскаго волненья.
Не для корысти, не для битовъ.*

«И посмотрите, какъ въ древнихъ былинахъ, въ пѣсняхъ, въ стихотвореніяхъ Кольцова, самыя прозаическія подробности жизни, земледѣльческаго быта—хлѣбъ, деньги, свадебная пирушка, даже семейные раздоры, все превращается въ красоту—«въ чистое золото поэзіи», по выраженію Бѣлинскаго. Какъ же народу не любить красоты? Онъ самъ—величайшая красота! Развѣ и Пушкинъ не заимствовалъ всей своей божественной крѣпости и силы изъ этого вѣчнаго, неизсякаемаго источника *русской красоты*, изъ духа народнаго, изъ рѣчи народной? Кто пойметъ и полюбитъ красоту

въ Пушкинѣ, тотъ полюбить не что-то чужое, далекое и враждебное народу, а самую душу русскаго языка, т. е. русскаго народа. Какъ все великое, какъ все живое, красота не отдаляетъ насъ отъ народа, а приближаетъ къ нему, дѣлаетъ насъ причастными глубочайшимъ сторонамъ его духовной жизни. Бояться или стыдиться красоты во имя любви къ народу—безуміе.

На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельскіе
Не насмотрятся.
Люди сельскіе
Божьей милости
Ждали съ трепетомъ
И молитвою.

«И поэтъ рассказываетъ намъ, какія «завѣтныя, мирныя думы» пробуждаются у нихъ съ весною. Первая ихъ дума: «хлѣбъ изъ закрома насыпать въ мѣшки, убирать воза». А вторая ихъ была думушка: «изъ села гужомъ въ пору выѣхать». Какъ видите, думы самыя практическія—хозяйственные и торговые. Конечно, хлѣбъ для народа—величайшая забота. Въ пѣсняхъ Кольцова хлѣбъ играетъ вовсе не меньшую роль, чѣмъ забота и скорбь по поводу экономическаго раззоренія народа въ стихахъ интеллигентныхъ поэтѣвъ. *Какъ рождается хлѣбъ*—вотъ въ сущности реальное содержаніе лучшихъ и самыхъ поэтическихъ пѣсень Кольцова.

«Но замѣчательно, что въ заботахъ о насущномъ хлѣбѣ, объ урожаѣ, о полныхъ закромахъ, у этого практическаго человѣка, настоящаго *прасола*, изучившаго будничную жизнь,—точка зрѣнія вовсе не утилитарная, экономическая, какъ у многихъ интеллигентныхъ писателей, скорбящихъ о народѣ, а напротивъ,—самая возвышенная, идеальная, даже, *мистическая*, что — кстати сказать—отнюдь не мѣшаетъ практическому здравому смыслу. Когда поэтъ перечисляетъ мирныя весеннія думы сельскихъ людей, третья дума оказывается такой священной, что онъ не рѣшается говорить о ней. И только благоговѣйно замѣчаетъ: «третью думушку какъ задумали, *Богу Господу помолилися*». И потомъ мы видимъ, что эта страшная, священная дума народа—о томъ, какъ бы засѣять землю и дожидаться новаго урожая. Все та же дума о хлѣбѣ насущномъ! Мы, интеллигентные люди много говоримъ о насущномъ хлѣбѣ. «Прежде надо накормить голодный народъ, а потомъ уже заботиться о высшей идеальной культурѣ».

«Для народа страшная дума о *хлѣбѣ* неотдѣлима отъ еще бо-
лѣе страшной и великой думѣ о Богѣ. Богъ даетъ ему хлѣбъ:

Посмотрю, пойду,
Полюбуюся,
Что послалъ Господь
За труды людямъ:
Выше пояса
Рожь зернистая...
Словно Божій гостъ,
На всѣ стороны
Дню веселому
Улыбается.

«О, какъ это не похоже на мертвые разговоры мертвыхъ лю-
дей объ экономическомъ благосостояніи народа, какъ это не по-
хоже на нашу скучную, бесплодную, журнальную полемику по «му-
жицкому вопросу», изъ которой ни одного живого зерна не родится.
Когда мы говоримъ о хлѣбѣ, у насъ въ душѣ какая-то недовѣрчи-
вая тревога, мы становимся прозаичны и сухи, чувствуемъ, что
«*ложь въ насъ есть*», съ мефистофельской улыбкой противопостав-
ляемъ мечтамъ идеалистовъ цифры статистиковъ. Мы отдѣляемъ
бездною вопросы о насущномъ хлѣбѣ для народа отъ вопросовъ о
Богѣ, о красотѣ, о смыслѣ жизни. Но народъ не можетъ, не смѣетъ
говорить о хлѣбѣ, не говоря о Богѣ. У него есть вѣра, которая
объединяетъ всѣ явленія природы, всѣ явленія жизни въ одно бо-
жественное и прекрасное цѣлое! Для него нѣтъ прозы, потому что
нѣтъ, какъ у насъ — сытыхъ людей, говорящихъ о хлѣбѣ, лжи и
раздвоенности въ его сердцѣ. Для него самое рожденіе хлѣба—бла-
годатное и неисповѣдимое чудо:

Выйdetъ въ полѣ травка...
Выростетъ и колось,
Станетъ спѣтъ, рядиться
Въ золотыя ткани...
Съ тихою молитвой
Я встану, поспѣю:
Уроди мнѣ Боже—
Хлѣбъ—мое богатство!

«И мотивъ этотъ повторяется всюду: *Богъ рождаетъ хлѣбъ*.
Вотъ гдѣ глубочайшая, *божественная* основа народного міросозер-
цанія, народной поэзіи».

Д. Мережковский.

Приведенная характеристика представляет достаточно полную картину кольцовской поэзии и мѣста занимаемого ею въ нашей литературѣ. Къ ней остается прибавить немного.

Весь интересъ поэзии Кольцова въ непосредственной связи поэта съ народомъ, въ его роли «достовернаго свидѣтеля». Поэтому такъ слабы и блѣдны всѣ его попытки подражанія интеллигентнымъ поэтамъ, всѣ отголоски петербургскихъ и московскихъ впечатлѣній—общенія съ представителями иного міра. Поэтому же такъ прозаичны по формѣ и безсильны по мысли его «Думы», между которыми выдѣляются лишь два-три обращенія «къ Спасителю», проникнутыя духомъ народной вѣры.

За то въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ любви, передъ нами открываются снова типичныя черты народной души въ ея интересной противоположности душѣ «интеллигентной». Сила и бодрость не покидаютъ поэта во всѣхъ перепитіяхъ и тревогахъ его нѣсколько элементарной, чувственной страсти. Свѣжей, здоровой самоувѣренностью дышатъ его признанія... Онъ умѣетъ чувствовать глубоко и искренно, но всегда — въ счастья и въ несчастія — сохраняетъ свою независимость: всегда «онъ владѣетъ страстью, а не она владѣетъ имъ».

Жарко въ небѣ солнце лѣтнее,
Да не грѣетъ меня молодца!
Сердце замерло отъ холода,
Отъ измѣны моей суженой.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку,
Мучить душу мука смертная,
Вонъ изъ тѣла душа просится.

Я пошолъ къ людямъ за помощью—
Люди съ смѣхомъ отвернулись;
На могилу къ отцу-матери—
Не встанутъ они на голосъ мой.

Замутился свѣтъ въ глазахъ моихъ,
Я упалъ въ траву безъ памяти...
Въ ночь глухую буря страшная
На могилѣ подняла меня...

Въ ночь, подъ бурей, я коня сѣдлалъ,
Безъ дороги въ путь отправился—
Горе мыкать, жизнью тѣшиться,
Съ злою долею пересѣдаться.

Глубина чувства, глубина отчаянья достигаютъ здѣсь послѣднихъ предѣловъ — мистическимъ могуществомъ страсти вѣетъ отъ этихъ стиховъ. Но и передъ нею не склоняется человѣкъ, и здѣсь вступаетъ онъ въ борьбу — безсильный, но не побѣжденный.

Перчите «Разлуку», «Послѣдній поцѣлуй», «Косаря» — печаль этихъ стиховъ не уступаетъ апухтинской, но какая разница! Тамъ все — осень и увяданіе; здѣсь все — жизнь и сила. Эта сила, подчиненная и скованная, при другихъ обстоятельствахъ можетъ вернуться и вырваться на дикій просторъ, не щадя другихъ, не жалѣя и себя. Вспомните драму въ «хуторкѣ»; вспомните «деревенскую бѣду» — парень поджигаетъ избу счастливаго соперника въ ночь свадебнаго пира:

Въ эту пору для пріятеля
Заварилъ я брагу хмѣльную,
Заигралъ я свадьбу новую,
Что бесѣду небывалую:

Аль ни дымъ пошелъ подъ облаки,
Аль ни пламя закрутилося,
По сосѣдямъ — черезъ улицу —
На мою избушку бросилосъ.

Гдѣ стоялъ его богатый домъ,
Гдѣ была избушка бѣдная,
Утромъ все съ землей сравнялося —
Только уголья чернѣлися...

Съ той поры я съ горемъ-нуждою
По чужимъ угламъ скитаюся,
За дневной кусокъ работаю,
Кровнымъ потомъ умываюся...

Только послѣ зрѣлища этой силы въ ея дикомъ разгулѣ можемъ мы оцѣнить все значеніе ея подчиненія, ея resignation. «Отреченіе» Кольцова — не лицемѣрная маска безсилія, а знаменательная духовная побѣда. На вершинахъ народнаго и интеллигентнаго творчества мы встрѣчаемъ совпаденіе настроеній, неожиданное тождество мотивовъ. Безсиліе Апухтина, отчаянье Огарева смѣняются въ пѣсняхъ Кольцова, какъ въ стихотвореніяхъ Пушкина, Фета, Тютчева, просвѣтленнымъ примиреніемъ, побѣждаются глубокимъ чувствомъ жизни. И тѣмъ рѣзче выступаютъ для насъ основныя черты русскаго «типоваго», какъ выражался Аполлонъ Григорьевъ; осязательнѣе становится *наше* пониманіе жизни.

П. Перцовъ.

ПОСЛѢДНЯЯ БОРЬБА.

Надо мною буря выла,
Громъ по небу грохоталъ,
Слабый умъ судьба страшила,
Холодъ въ душу проникалъ.

Но не палъ я отъ страданья,
Гордо выдержалъ ударъ,
Сохранилъ въ душѣ желанья,
Въ тѣлѣ—силу, въ сердцѣ—жаръ.

Что погибель! что спасенье!
Будь, что будетъ—все равно!
На святое Провидѣнье
Положился я давно!

Въ этой вѣрѣ нѣтъ сомнѣнья,
Ею жизнь моя полна;
Безконечно въ ней стремленье,
Въ ней—покой и тишина...

Не грози жъ ты мнѣ бѣдою,
Не зови, судьба, на бой:
Готовъ биться я съ тобою,
Но не сладишь ты со мной!

У меня въ душѣ есть сила,
У меня есть въ сердцѣ кровь,
Подъ крестомъ—моя могила,
На крестѣ—моя любовь!

ДУМА СОКОЛА.

Долго-ль буду я
Сиднемъ дома жить,

Мою молодость
Ни за что губить?

Долго-ль буду я
Подъ окномъ сидѣть,
По дорогѣ вдаль
День и ночь глядѣть?

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Всѣ заказаны?

Иль боится онъ
Въ чужихъ людяхъ быть,
Съ судьбой-мачихой
Самъ-собою жить?

Для чего-жъ на свѣтъ
Глядѣть хочется,
Облетѣть его
Душа просится?

Иль зачѣмъ она,
Моя милая,
Здѣсь сидитъ со мной,
Слезы льетъ рѣкой?

Отъ меня летитъ,
Пѣсню мнѣ поетъ,
Все рукой манитъ,
Все съ собой зоветъ...

Нѣтъ, ужъ полно мнѣ
Дома вѣкъ сидѣть,
По дорожкѣ вдаль
Изъ окна глядѣть!

Со двора пойду,
Куда путь манитъ,
А жить стану тамъ—
Гдѣ ужъ Богъ велитъ.

ПѢСНЯ ПАХАРЯ.

Ну, тащися, сивка,
Пашней-десятиной!
Выбѣлимъ желѣзо
О сырую землю.

Красавица зорька
Въ небѣ загорѣлась;
Изъ больнова лѣса
Солнышко выходить.

Весело на пашнѣ.
Ну! тащися, сивка!
Я самъ другъ съ тобою,
Слуга и хозяинъ

Весело я лажу
Борону и соху.
Телѣгу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вѣю...
Ну! тащися, сивка!

Пашенку мы рано
Съ сивкою распашемъ,
Зернышку сготовимъ
Колыбель святую.

Его вспоить, вскормить
Мать-земля сырая;
Выйдетъ въ полѣ травка...
Ну! тащися, сивка!

Выйдетъ въ полѣ травка...
Выростетъ и колосъ,
Станетъ спѣть, рядиться
Въ золотыя ткани.

Заблеститъ нашъ серпъ здѣсь,
Зазвенятъ здѣсь косы;
Сладокъ будетъ отдыхъ
На снопахъ тяжелыхъ!

Ну! тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.

Съ тихою молитвой
Я вспашу, посею:
Уроди мнѣ, Боже,
Хлѣбъ—мое богатство!

УРОЖАЙ.

Краснымъ полымемъ
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туманъ стелется.

Разгорѣлся день
Огнемъ солнечнымъ.
Подобравъ туманъ
Выше темя горъ,

Нагустилъ его
Въ тучу черную,
Туча черная
Понахмурилась,

Понахмурилась,
Что задумалась,
Словно вспомнила
Свою родину...

Понесутъ ее
Вѣтры буйные
Во всѣ стороны
Свѣта блага...

Ополчается
Грономъ, бурей,
Огнемъ, молніей,
Дугой-радугой;

Ополчилась—
И расширилась,
И ударила,
И пролилась

Слезой крупною,
Проливнымъ дождемъ,
На земную грудь,
На широкую.

И съ горы небесъ
Глядитъ солнышко;
Напилась воды
Земля досыта.

На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельскіе
Не насмотрятся.

Люди сельскіе
Божьей милости
Ждали съ трепетомъ
И молитвою.

За-одно съ весной
Пробуждаются
Ихъ завѣтныя
Думы мирныя.

Дума первая:
Хлѣбъ изъ-закрома
Насыпать въ мѣшки,
Убирать воза.

А вторая ихъ
Была думушка:
Изъ села гужомъ
Въ пору выѣхать.

Третью думушку
Какъ задумали —
Богу-Господу
Помолилися.

Чѣмъ-свѣтъ по полю
Всѣ разъѣхались,
И пошли гулять
Другъ за дружкой,

Горстью полною
Хлѣбъ раскидывать,
И давай пахать
Землю плугами,

Да кривой жесой
Перепахивать,
Бороны зубьемъ
Порасчесывать...

Посмотрю — пойду,
Полюбуюся,
Что послалъ Господь
За труды людямъ.

Выше пояса
Рожь зернистая
Дремлетъ колосомъ
Почти до земли;

Словно Божій гость,
На всѣ стороны
Дню веселому
Улыбается;

Вѣтерокъ по ней
Плыветъ — лоснится,
Золотой волной
Разбѣгается...

Люди семьями
Принялися жать,
Косить подъ корень
Рожь высокую.

Въ копны частыя
Снопы сложены;
Отъ воевъ всю ночь
Скрипитъ музыка.

На гумнахъ, вездѣ,
Какъ князья, скирды
Широко сидятъ,
Поднявъ головы.

Видитъ солнышко—
Жатва кончена:
Холоднѣй оно
Пошло къ осени;

Но жарка свѣча
Поселянина
Предъ иконою
Божьей Матери.

П Ъ С Н Я.

Такъ и рвется душа
Изъ груди молодой!
Хочетъ воли она,
Просить жизни другой!

Толи дѣло—вдвоемъ
Надъ рѣкою сидѣть,
На зеленую степь,
На цвѣточки глядѣть!

То ли дѣло—вдвоемъ
Зимню ночь коротать,
Друга жаркой рукой
Ко груди прижимать;

Поутру, на зарѣ,
Обнимать—проводжать,
Вечеркомъ у воротъ
Его вновь поджидать!

ПОСЛѢДНІЙ ПОЦѢЛУЙ.

Обойми поцѣлуй,
Приголубь, приласкай,
Еще разъ, поскорѣй,
Поцѣлуй горячѣй!
Что печально глядишь?
Что на сердцѣ таишь?
Не тоскуй, не горюй,
Изъ очей слезъ не лей:
Мнѣ не надобно ихъ,
Мнѣ не нужно тоски...
На полгода всего
Мы разстаться должны.
Есть за Волгой село
На крутомъ берегу:
Тамъ отецъ мой живетъ,
Тамъ родимая мать
Сына въ гости зоветъ.
Я поѣду къ отцу,
Поклонюся родной—
И согласье возьму
Обвѣнчаться съ тобой
Мучить душу мою
Твой печальный уборъ:
Для чего ты въ него
Нарядила себя?
Разрядись, уберись
Въ свой нарядъ голубой,
И на плеча накинъ
Шаль съ каймой росписной;
Пусть пылаетъ лицо,
Какъ поутру заря
Пусть сіяетъ любовь
На устахъ у тебя!
Какъ мнѣ мило теперь
Любоваться тобой!
Какъ весна, хороша

Ты, неvěста моя!
 Обойми жъ, поцѣлуй,
 Приголубь, приласкай,
 Еще разъ, поскорѣй,
 Поцѣлуй горячѣй!

РАЗЛУКА.

На зарѣ туманной юности
 Всею душою любилъ я милую;
 Былъ у ней въ глазахъ небесный свѣтъ,
 На лицѣ горѣлъ любви огонь.

Что предъ ней ты, утро майское,
 Ты, дуброва-мать зеленая,
 Степь-трава—парча шелковая,
 Заря—вечеръ, ночь—волшебница!

Хороши вы—когда нѣтъ ея,
 Когда съ вами дѣлишь грусть-тоску!
 А при ней васъ—хоть бы не было;
 Съ ней зима—весна, ночь—ясный день!

Не забыть мнѣ, какъ въ послѣдній разъ,
 Я сказалъ ей: «прости, милая!
 Такъ, знать, Богъ велѣлъ—разстанемся,
 Но когда нибудь увидимся»...

Вмигъ огнемъ лицо все вспыхнуло,
 Бѣлымъ снѣгомъ перекрылося,—
 И, рыдая, какъ безумная,
 На груди моей повиснула.

«Не ходи, постой! дай время мнѣ
 Задушить грусть, печаль выплакать
 На тебя, на ясна сокола»...
 Занялся духъ—слово замерло...

КОСАРЬ.

Не возьму я въ толкъ,
Не придумаю...
Отчего же такъ
Не возьму я въ толкъ?
Охъ, въ несчастный день,
Въ безталанный часъ,
Безъ сорочки я
Родился на свѣтъ!
У меня-ль плечо
Шире дѣдова;
Грудь высокая—
Моей матушки;
На лицѣ моемъ
Кровь отцовская
Въ молокъ зажгла
Зорю красную;
Кудри черныя
Лежать скобкою;
Что работаю—
Все мнѣ спорится...
Да, въ несчастный день,
Въ безталанный часъ,
Безъ сорочки я
Родился на свѣтъ!
Прешлой осенью,
Я за Грунюшку,
Дочку старосты,
Долго сватался:
А онъ, старый хрѣнь,
Заупрямился!
За кого же онъ
Выдасть Грунюшку—
Не возьму я въ толкъ,
Не придумаю...
Я-ль за тѣмъ гонюсь,
Что отецъ ея

Богачемъ слыветъ?
Пускай домъ его—
Чаша полная!
Я ее хочу,
Я по ней крушусь:
Лицо бѣлое—
Заря алая,
Щеки полныя,
Глаза темныя
Свели молодца
Съ ума-разума...
Ахъ, вчера по мнѣ
Ты такъ плакала!
Наотрѣзъ старикъ
Отказалъ вчера...
Охъ, не свыкнуться
Съ этой горестью!..
Я куплю себѣ
Косу новую:
Отобью ее,
Нагочу ее—
И прости-прощай,
Село рѣдное!
Не плачь, Груняшка:
Косой вострою
Не подрѣжусь я...
Ты прости, село,
Прости, староста:
Въ края дальніе
Пойдетъ молодець.
Что внизъ по Дону,
По набережью,
Хороши стоятъ
Тамъ слободушки!
Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемъ-травой
Растиляется!..
Ахъ ты, степь моя,

Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному
Понадвинулась!
Въ гости я къ тебѣ
Не одинъ пришелъ:
Я пришелъ самъ-другъ
Съ косою вострою;
Мнѣ давно гулять
По травѣ степной
Вдоль и поперекъ
Съ ней хотѣлося...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни въ лицо,
Вѣтеръ съ полудня!
Освѣжи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Засверкай кругомъ!
Зашуми трава
Подкошбнная,
Поклонись, цвѣты,
Головой землѣ!
На ряду съ травой
Вы засохнете,
Какъ по Грунѣ я
Сохну, молодецъ!
Нагребу копенъ,
Намечу стоговъ,—
Дастъ казачка мнѣ
Денегъ пригоршни.
Я зашью казну,
Сберегу казну,
Ворочусь въ село—
Прямо къ старостѣ;
Не разжалобилъ
Его бѣдностью,
Такъ разжалоблю
Золотой казной!..

М. Ю. Лермонтовъ.

I.

Этотъ молодой военный, въ николаевской формѣ, съ саблей черезъ плечо, съ тонкими усиками, выпуклымъ лбомъ и горькою складкою между бровей, былъ одною изъ самыхъ феноменальныхъ поэтическихъ натуръ. Исключительная особенность Лермонтова состояла въ томъ, что въ немъ соединялось глубокое пониманіе жизни съ громаднымъ тяготѣніемъ къ сверхчувственному міру. Въ исторіи поэзіи едва-ли сыщется другой подобный темпераментъ. Нѣтъ другого поэта, который такъ явно считалъ бы небо своей родиной и землю—своимъ изгнаніемъ. Еслибы это былъ характеръ дряблый, мы получили бы поэзію сентиментальную, слишкомъ эфирную, стремленіе въ «туманную даль», второго Жуковского,—и ничего болѣе. Но это былъ человѣкъ сильный, страстный, рѣшительный, съ яснымъ и острымъ умомъ, вооруженный волшебною кистью, смотрѣвшій глубоко въ дѣйствительность, съ ядомъ ироніи на устахъ, — и потому прирожденная Лермонтову неотразимая потребность въ признаніи иного міра разливаетъ на всю его поэзію обаяніе чудной, божественной тайны.

Пересмотрите въ этомъ отношеніи всемірную поэзію, начиная отъ среднихъ вѣковъ. Здѣсь мы нисколько не сравниваемъ писателей по ихъ величинѣ, а лишь останавливаемся на отношеніи каждаго изъ нихъ къ вопросамъ вѣчности. Дантъ—католикъ; его вѣра ритуальная. Шекспиръ въ «Гамлетѣ» задумывается надъ вопросомъ: есть-ли *тамъ* «сновидѣнія»?—а позже, въ «Бурѣ», склоняется къ пантеизму. Гете — поклоняется природѣ. Шиллеръ — прежде всего гуманистъ, и, повидимому, христіанинъ. Байронъ, подъ вліяніемъ «Фауста», совершенно запутывается въ «Манфредѣ»; эта драматическая поэма проникнута горчайшимъ пессимизмомъ, за который Гете, отличавшійся душевнымъ здоровьемъ, назвалъ Байрона ипо-

хондрикомъ. Мюссе—сомнѣвается и пишетъ философское стихотвореніе «Sur l'existence de Dieu», гдѣ приводитъ читателя къ стѣнѣ, потому что заставляетъ все человѣчество пѣть гимнъ Богу, чтобы Онъ отозвался на безконечный призывъ любви, — и Богъ, какъ всегда, безмолвствуетъ. Гюго красиво и часто воспѣвалъ христіанскаго Бога и въ дѣтскихъ стихотвореніяхъ, и въ библейскихъ поэмахъ, и въ романахъ. Но всякому чувствовалось, что Гюго любитъ этотъ образъ, какъ патетическій эффектъ; въ концѣ жизни и Гюго сознался, что пантеизмъ—исчезновеніе въ природѣ, кажется ему самымъ вѣроятнымъ исходомъ. Пушкинъ относился трезво къ этому вопросу и осторожно ставилъ вопросительные знаки. Тургеневъ всю жизнь былъ страдающимъ атеистомъ. Достоевскій держался очень исключительной и мудреной вѣры, въ духѣ православія. Толстой пришелъ къ вѣрѣ общественной, къ практическому ученію дѣятельной любви. Одинъ Лермонтовъ нигдѣ положительно не высказалъ (какъ и слѣдуетъ поэту), во что онъ вѣрилъ, но за то во всей своей поэзіи оставилъ глубокій слѣдъ своей непреодолимой и для него совершенно ясной связи съ вѣчностью. Лермонтовъ стоитъ въ этомъ случаѣ совершенно одиноко между всѣми. Если Дантъ, Шиллеръ и Достоевскій были вѣрующими, то ихъ вѣра, покоящаяся на общезвѣстномъ христіанствѣ, не даетъ читателю ровничаго болѣе этой вѣры. Вѣра, чѣмъ менѣе она категорична, тѣмъ болѣе заразительна. Все рѣзко обовначенное подрываетъ ее. Одинъ изъ привлекательнѣйшихъ мистиковъ, Эрнестъ Ренанъ, въ своихъ религіозно-философскихъ этюдахъ всегда сбивался на поэзію. Но Лермонтовъ, какъ вѣрно замѣтилъ В. Д. Спасовичъ, даже и не мистикъ: онъ именно—чистокровнѣйшій поэтъ, «человѣкъ не отъ міра сего», забросившій къ намъ откуда-то, съ недосыгаемой высоты, свои чарующія пѣсни...

Смѣлое, вполне усвоенное Лермонтовымъ, родство съ небомъ даетъ ключъ къ пониманію и его жизни, и его произведеній.

Можно, конечно, найти у Лермонтова слѣды сомнѣній. Въ одномъ письмѣ онъ говоритъ: «Dieu sait, si après la vie le moi existera. C'est terrible, quand on pense, qu'il peut arriver un jour, où je ne pourrai pas dire: moi!—A cette idée l'univers n'est qu'un morceau de boue». Въ другомъ мѣстѣ:

Конецъ! какъ звучно это слово!
Какъ *много-мало* мыслей въ немъ!
Послѣдній стонъ—и все готово,
Безъ дальнихъ справокъ—а потомъ?..

Потомъ наслѣдникъ...
 Простивъ вамъ каждую обиду,
 Отслужить въ церкви панихиду,
 Которой (*я боюсь сказать*)
 Не суждено вамъ услышать.

Въ «Сашкѣ»:

Пусть отдадутъ меня стихіямъ! Птица,
 Звѣрь, и огонь, и вѣтеръ, и земля—
 Раздѣлять прахъ мой, и *душа моя*
 Съ душой вселенной, какъ эфиръ съ эфиромъ,
 Сольется и—развѣется надъ міромъ.

(«Сашка», LXXXIII).

Вотъ едва-ли не всѣ цитаты, составляющія исключенія изъ общаго правила. Однако и тутъ видно, что Лермонтовъ никакъ не могъ помириться съ мыслью о своемъ ничтожествѣ. Даже, исчезая въ стихіяхъ, Лермонтовъ отдѣляетъ свою *душу* отъ праха, желаетъ этой душою слиться со вселенной, наполнить ею вселенную...

Съ этими незначительными оговорками, неизбежность высшаго міра проходитъ полнымъ аккордомъ черезъ всю лирику Лермонтова. Онъ самъ весь пропитанъ кровною связью съ надзвѣзднымъ пространствомъ. Здѣшняя жизнь—ниже его. Онъ всегда презираетъ ее, тяготится ею. Его душевныя силы, его страсти—громадны, не по плечу толпѣ; все ему кажется жалкимъ, на все онъ взираетъ глубокими очами вѣчности, которой онъ принадлежитъ: онъ съ ней разстался на время, но непрестанно и безутѣшно по ней тоскуетъ. Его поэзія, какъ бы по безмолвному соглашенію всѣхъ его издателей, всегда начинается «Ангеломъ», составляющимъ превосходнѣйшій эпиграфъ ко всей книгѣ, чудную надпись у входа въ царство фантазіи Лермонтова. Дѣйствительно, его великая и пылкая душа была какъ бы занесена сюда для «печали и слезъ», всегда здѣсь «томила» и

Звуковъ небесъ замѣнить не могли
 Ей скучныя пѣсни земли.

Все этимъ объясняется. Объясняется, почему ему было «и скучно и грустно», почему любовь только раздражала его, ибо «вѣчно любить невозможно», почему ему было легко лишь тогда, когда онъ твердилъ какую-то чудную молитву, когда ему вѣрилось и плакалось; почему морщины на его челѣ разглаживались лишь въ тѣ минуты, когда «въ небесахъ онъ видѣлъ Бога»; почему онъ благодарилъ Его за «жаръ души, растрченный въ пустынь», и

просилъ поскорѣе избавить отъ благодарности; почему, наконецъ, въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ стихотвореній онъ воскликнулъ съ увѣренностью ясновидца:

Но я безъ страха жду довременный конецъ:
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый.

Это былъ человекъ гордый и въ то же время огорченный своимъ божественнымъ происхожденіемъ, съ глубокимъ сознаніемъ котораго ему приходилось странствовать по землѣ, гдѣ все казалось ему такъ доступнымъ для его ума и такъ гадкимъ для его сердца.

Еще недавно было высказано, что въ поэзіи Лермонтова слышатся слезы тяжелой обиды и это будто бы объясняется тѣмъ, что не было еще времени, въ которыя все завитое, чѣмъ наиболѣе дорожили русскіе люди, съ такою безцеремонностью приносилось бы въ жертву идеѣ холоднаго, бездушнаго формализма, какъ это было въ эпоху Лермонтова, и что Лермонтовъ славенъ именно тѣмъ, что онъ по-истинѣ гениально выразилъ всю ту скорбь, какою были преисполнены его современники!.. Можно-ли болѣе фальшиво объяснить источникъ скорби Лермонтова?!. Точно и въ самомъ дѣлѣ, послѣ николаевской эпохи, въ періодъ реформъ, Лермонтовъ чувствовалъ бы себя какъ рыба въ водѣ! Точно послѣ освобожденія крестьянъ и въ особенности въ шестидесятые годы открылась дѣйствительная возможность «вѣчно любить» одну и ту же женщину? Или совсѣмъ искоренилась «лесть враговъ и клевета друзей»? Или «сладкій недугъ страстей» превратился въ безконечное блаженство, не «исчезающее при словѣ разсудка»?.. Или «радость и горе» людей, отходя въ прошлое, перестали для нихъ становиться «ничтожными»?.. И почему этими вѣковѣчными противорѣчіями жизни могли страдать только современники Лермонтова, въ эпоху формализма? Современный Лермонтову формализмъ не вызвалъ у него ни одного звука протеста. Обида, которою страдалъ поэтъ, была причинена ему «свыше»,—Тѣмъ, Кому онъ адресовалъ свою ядовитую благодарность, о Комъ онъ писалъ:

Ищу кругомъ души родной,
 Повѣдать, что мнѣ Богъ готовилъ,
 Зачѣмъ такъ горько прекословилъ
 Надеждамъ юности моей!
 Придетъ ли вѣстникъ избавленья
 Открыть мнѣ жизни назначенье,
 Цѣль упованій и страстей?

Ни въ какую эпоху не получилъ бы онъ отвѣтовъ на эти вопросы. Консервативный строй жизни въ лермонтовское время несомнѣнно вліялъ и на его поэзію, но какъ разъ съ обратной стороны. Быть можетъ, именно благодаря патріархальнымъ правамъ строго-религіозному воспитанію, кіоту съ лампадой въ спальнѣ своей бабушки, Лермонтовъ съ младенчества началъ улетать своимъ умственнымъ взоромъ все выше и выше надъ уровнемъ повседневной жизни и затѣмъ усвоилъ себѣ тотъ величавый, почти божественный взглядъ на житейскія дразги, ту широту и блескъ фантазій, которые составляютъ всю прелесть его лиры и которые едва-ли были бы въ немъ возможны, еслибы онъ воспитывался на книжкахъ Молешота и Бюхнера.

Безъ вѣчности души, вселенная, по словамъ Лермонтова, была бы для него «комкомъ грязи».

И, презрѣвъ дѣтства милые дары,
Онъ началъ думать, строить міръ воздушный,
И въ немъ терялся мыслию послушной.
(«Сашка», LXXI).

Люблю я съ колокольни иль съ горы,
Когда земля молчитъ и небо чисто,
Теряться взорами средь цѣпи звѣздъ огнистой;
И мнится, что межъ ними и землей
Есть путь давно измѣренный душой,—
И мнится, будто на главу поэта
Стремятся вмѣстѣ всѣ лучи ихъ свѣта.
(«Сашка», XLVIII).

Никто такъ прямо не говорилъ съ небеснымъ сводомъ, какъ Лермонтовъ, никто съ такимъ величіемъ не созерцалъ эту голубую бездну. «Прилежнымъ взоромъ» онъ умѣлъ въ чистомъ эфирѣ «слѣдить полетъ ангела», въ тихую ночь онъ чувалъ, какъ «пустыня внемлетъ Богу и звѣзда съ звѣздой говорить». Въ такую ночь ему хотѣлось «забыться и заснуть», но ни въ какомъ случаѣ не «холоднымъ сномъ могилы». Совершеннаго уничтоженія онъ не переносилъ.

II.

Онъ не терпѣлъ смерти, т. е. безсознательныхъ, слѣпыхъ образовъ и фигуръ, даже въ окружающей его природѣ. «Хотя безъ словъ», ему «былъ внятень разговоръ» шумящаго ручья, — его «немолчный ропотъ, вѣчный споръ съ упрямой грудю камней». Ему «свыше было дано» разгадывать думы

— темныхъ скалъ,
 Когда потокъ ихъ раздѣлялъ:
 Простерты въ воздухъ давно
 Объяты каменныя ихъ
 И жаждутъ встрѣчи каждый мигъ;
 Но дни бѣгутъ, бѣгутъ года—
 Имъ не сойтися никогда!..

Такъ онъ, по своему, одухотворялъ природу, читалъ въ ней исторію сродственныхъ ему страданій. Это былъ настоящій волшебникъ, когда онъ брался за балладу, въ которой у него выступали, какъ живыя лица,—горы, деревья, море, тучи, рѣка. «Дары Терека», «Споръ», «Три пальмы», «Русалка», «Морская царевна», «Ночевала тучка золотая», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой»—все это такія могучія олицетворенія природы, что никакіе успѣхи натурализма, никакія переменныя вкусовъ не могутъ у нихъ отнять ихъ вѣчной жизни и красоты. Читатель съ самымъ притупленнымъ воображеніемъ всегда невольно забудется и повѣритъ чисто человѣческимъ страстямъ и думамъ Казбека и Шатъ-горы, Каспія и Терека,—тронется слезою стараго утеса и залюбуется мимолетной золотою тучей, ночевавшей на его груди. Одно стихотвореніе въ такомъ-же родѣ—«Сосна», заимствовано Лермонтовымъ у Гейне. У Гейне есть еще одна подобная вещь: «Лотосъ». Всѣ названныя лермонтовскія пьесы и эти два стихотворенія Гейне составляютъ все, что есть самаго прекраснаго въ этомъ родѣ во всемірной литературѣ; но Лермонтовъ гораздо богаче Гейне. Баллада Гете «Лѣсной царь», чудесная по своему звонкому, сжатому стиху, все-таки сбивается на дѣтскую сказочку. Нѣжное, фантастическое подъ перомъ Гете меньше трогаетъ и не даетъ полной иллюзіи.

Презрѣніе Лермонтова къ людямъ, сознаніе своего духовнаго превосходства, своей связи съ божествомъ сказывалось и въ его чувствахъ къ природѣ. Какъ уже было сказано, только ему одному,—но никому изъ окружающихъ,—*свыше* было дано постигать тайную жизнь всей картины творенія. Устами поэта Шатъ-гора съ ненавистью говорить о человѣкѣ вообще:

Онъ настроятъ дымныхъ келій
 По уступамъ горъ;
 Въ глубинѣ твоихъ ущелій
 Загребить топоръ,
 И желѣзная лопата
 Въ каменную грудь,

Добывая мѣдъ и злато,
 Врѣжетъ страшный путь.
 Ужъ проходить караваны
 Черезъ тѣ скалы,
 Гдѣ носились лишь туманы
 Да цари-орлы!
 Люди хитры!..

Въ «Трехъ пальмахъ» — тотъ же мотивъ; пальмы были не поняты человѣкомъ и изрублены имъ на костеръ. Въ «Морской царевнѣ» витязь хватается за косу всплывшую на волнахъ русалку, думая наказать въ ней нечистую силу, и когда вытаскиваетъ добычу на песокъ — передъ нимъ лежитъ хвостатое чудовище и

Блѣдныя руки хватаютъ песокъ.
 Шепчутъ слова *непоятный упрекъ*.

И

Бѣдетъ царевичъ *задумчиво* прочь.

Въ этой прелестной фантазіи снова повторяется какая-то недомолвка, какой-то роковой разладъ между человѣкомъ и природой.

III.

Всегда природа представляется Лермонтову созданіемъ Бога («Мцыри», XI, «Когда волнуется желтѣющая нива», «Выхожу одинъ я на дорогу» и т. д.); ангелы входятъ въ его поэзію, какъ постоянный, привычный образъ, какъ знакомыя, живыя лица. Поэтому сюжетъ, связанный съ легендой мірозданія, съ участіемъ безплотнаго духа, съ грандіозными пространствами небесныхъ сферъ, неминуемо долженъ былъ особенно привлекать его воображеніе. И Лермонтовъ, съ пятнадцати лѣтъ, замыслилъ своего «Демона». Время показало, что эта поэма изъ всѣхъ большихъ произведеній Лермонтова какъ бы наиболѣе связана съ представленіемъ о его музѣ. Поэтъ, повидимому, чувствовалъ призваніе написать ее и отдѣлывать всю жизнь. Всю свою неудовлетворенность жизнью, т. е. здѣшнюю жизнь, а не тогдашнимъ обществомъ, всю исповѣдскую глубину своихъ чувствъ, превышающихъ обыденныя человѣческія чувства, всю необъятность своей скучающей на землѣ фантазіи, — Лермонтовъ постарался излить устами Демона. Концепція этого фантастическаго образа была счастливымъ, удачнымъ дѣломъ его творчества. Тѣ свойства, которыя казались напыщенными и даже отчасти карикатурными въ такихъ дѣйствующихъ

лицахъ, какъ гвардеецъ Печоринъ, свѣтскій дэнди Арбенинъ или черкесъ Измаиль-Бей, побывавшій въ Петербургѣ,—всѣ эти свойства (личныя свойства поэта) пришлось по мѣркѣ только фантастическому духу, великому падшему ангелу.

Строго говоря, Демонъ—даже не падшій ангелъ; причина его паденія осталась въ туманѣ; это скорѣе—ангелъ, упавшій съ неба на землю, которому досталась жалкая участь

Ничтожной властвовать землей.

Короче, это—самъ поэтъ. Интродукція въ поэму воспѣваетъ

Лучшихъ дней воспоминанья

Тѣхъ дней, когда въ жилищѣ свѣта

Блисталъ онъ, чистый херувимъ,—

точно поэтъ говоритъ о себѣ до рожденія. Чудная строфа объ этихъ воспоминаніяхъ обрывается восклицаніемъ:

И много, много... и всего

Припомнить не имѣлъ онъ силы,—

какъ будто самъ поэтъ потерялъ эту нить воспоминаній и не можетъ самъ себѣ дать отчета, какъ онъ очутился здѣсь. Этотъ скорбящій и могучій ангелъ представляетъ изъ себя тотъ удивительный образъ фантазіи, въ которомъ мы поневолѣ чувствуемъ воплощеніе чего-то божественнаго въ какія-то близкія намъ человѣческія черты. Онъ привлекателенъ своею фантастичностью и въ то же время въ немъ нѣтъ пустоты сказочной аллегоріи. Его фигура изъ траурной дымки почти осязаема:

Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ,—

какъ опредѣляетъ его самъ Лермонтовъ.

То не былъ ада духъ ужасный,
—о нѣтъ! —

спѣшить добавить авторъ и ищетъ къ нему нашего сочувствія. Демонъ, ни въ чемъ опредѣленномъ не провинившійся, имѣетъ, однако, нѣкоторую строптивость противъ неба; онъ иронизируетъ надъ другими ангелами, давая имъ эпитеты «безстрастныхъ»; онъ еще на небѣ невыгодно выдѣлился между другими тѣмъ, что былъ «познанья жаднымъ»; онъ и въ раю испытывалъ, что ему чего-то недостаетъ (впослѣдствіи онъ говоритъ Тамарѣ:

Во дни блаженства мнѣ въ раю
Одной тебя недоставало);

наконецъ, онъ преисполненъ громадною энергіей, глубокимъ знаніемъ человѣческихъ слабостей, отъ него пышетъ самыми огненными чувствами. И все это приближаетъ его къ намъ.

Пролетая надъ Кавказомъ, надъ этой естественной ступенью для нисхожденія съ неба на землю, Демонъ плѣняется Тамарой. Онъ сразу очаровался. Онъ

...позавидоваль невольно
Неполной радости земной.

(Какой эпитетъ!)

Въ немъ чувство вдругъ заговорило
Роднымъ когда-то языкомъ, —

потому что на землѣ одна только любовь напоминаетъ блаженство рая. Онъ не можетъ быть злымъ, не можетъ найти въ умѣ коварныхъ словъ. Что дѣлать?

Забуть! Забвенья не далъ Богъ,
Да онъ и не взялъ бы забвенья

для этой минуты высшаго счастья. Можно-ли сильнѣе, глубже сказать о прелести первыхъ впечатлѣній любви!

Въ любви Демона къ Тамарѣ звучатъ всѣ любимыя темы вдохновеній самого Лермонтова. Демонъ старается поднять думы Тамары отъ земли—онъ убѣждаетъ ее въ ничтожествѣ земныхъ печалей. Когда она плачетъ надъ трупомъ жениха, Демонъ напѣваетъ ей плѣнительныя строфы о тѣхъ чистыхъ и безпечныхъ облакахъ и звѣздахъ, къ которымъ такъ часто любилъ самъ Лермонтовъ обращать свои пѣсни. Онъ говоритъ Тамарѣ о «минутной» любви людей:

Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?—
Волненье крови молодое!
Но дни бѣгутъ и стынетъ кровь.
Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,
Противъ усталости и скуки
Иль своенравія мечты?

Все это лишь развитіе того же мотива любви и страсти, который уже вылился отъ лица самого поэта въ стихотвореніи: «И скучно, и грустно». Въ другомъ мѣстѣ Демонъ восклицаетъ:

Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ?
Они прошли, они пройдутъ!

Едва-ли не съ этой же космической точки зрѣнія, т. е. съ высоты вѣчности, Лермонтовъ обратилъ къ своимъ современникамъ свою знаменитую «Думу»:

Печально я глежy на наше поколѣнѣ!

Его поколѣніе было лучшее, какое мы запомнимъ,—поколѣніе сороковыхъ годовъ,—и онъ, однако, пророчилъ ему, что оно пройдетъ «безъ шума и слѣда»; онъ укорялъ его въ томъ, что у него нѣтъ «надеждъ», что его страсти осмѣяны «невѣріемъ», что оно изсушило умъ «наукою безплодною» и что его не шевелятъ «мечты поэзіи», — словомъ, онъ бросилъ укоръ, который можно впредь до скончанія міра повторять всякому поколѣнію, какъ и двустипіе Демона:

Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ?
Они прошли, они пройдутъ!

Передъ рѣшительнымъ свиданіемъ съ Тамарой у Демона на минуту пробуждается невольное сожалѣніе къ ней. Эта странная, едва уловимая горечь смущенія внушается природой каждому передъ порогомъ дѣйственности.

То было злое предвѣщанье...

Дѣйствительно, передъ Демономъ тотчасъ же открыто выступилъ защитникомъ невинности—ангелъ. Демонъ идетъ «любить готовый, съ душой открытой для добра»—и вдругъ эта непонятная сила, почему-то воспреещающая радость, называемая радостью зломъ!

Зло не дышало здѣсь понынѣ!
Къ моей любви, къ моей святынѣ
Не пролагай преступный слѣдъ!

Тогда въ душѣ Демона проснулся «старинной ненависти ядъ» къ посланнику этой странной силы.

„Она моя! сказалъ онъ грозно,
Оставь ее! Она моя,
Явился ты, защитникъ, поздно
И ей, какъ мнѣ, ты не судья!
На сердце, полное гордыни,
Я наложилъ печать мою;
Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни,

Здѣсь я владѣю и люблю!
И ангель грустными очами
На жертву бѣдную взглянулъ
И, медленно взмахнувъ крылами,
Въ эфиръ неба потонулъ...

Ангель уступилъ безъ боя.

Слѣдуетъ дивная сцена объясненія въ любви. Затѣмъ поцѣлуй—
и смерть Тамары; передъ смертью она вскрикнула; въ этомъ крикѣ
было все —

...любовь, страданье,
Упрекъ съ послѣднею мольбой,
И безнадежное прощанье,
Прощанье съ жизнью молодой...

Ангель уносить ея душу. Демонъ, у котораго «вѣяло хладомъ
отъ неподвижнаго лица», останавливаетъ его: «она моя», но ангель
на этотъ разъ не уступаетъ:

Ея душа была изъ тѣхъ,
Которыхъ жизнь—одно мгновенье
Невыносимаго мученья,
Недостигаемыхъ утѣхъ;
Творецъ изъ лучшаго эфира
Соткалъ живыхъ струны ихъ,
Онъ не созданъ для міра,
И міръ былъ созданъ не для нихъ!
Цѣной жестокой искупила
Она сомнѣнія свои...
Она страдала и любила—
И рай открылся для любви!

А между тѣмъ на лицѣ Тамары въ гробу

Улыбка странная застыла:
Что въ ней? Насмѣшка-ль надъ судьбой,
Непобѣдимое-ль сомнѣнье,
Иль къ жизни хладное презрѣнье,
Иль съ *небомъ* гордая вражда?..

И Демонъ остался

Одинъ, какъ прежде, во вселенной
Безъ упованья и любви!..

IV.

Каждый возрастъ, какъ извѣстно, имѣетъ своихъ поэтовъ, и «Демонъ» Лермонтова будетъ вѣчною поэмою для возраста первоначальной отроческой любви. Тамара и Демонъ, по красотѣ фантазіи и страстной силѣ образовъ, представляютъ чету, превосходящую всѣ влюбленные пары во всемірной поэзіи. Возьмите другія четы, хотя-бы, напримѣръ, Ромео и Джульетту. Въ этой драмѣ достаточно цинизма, а въ монологѣ Ромео подъ окномъ Джульетты вставлены такіе мудреные комплименты насчетъ звѣздъ и глазъ, что ихъ сразу и не поймешь. Наконецъ, перипетіи оживанія и отравленія въ двухъ гробахъ очень искусственны, слишкомъ отзываются расчетомъ дѣйствовать на зрительную залу. Вообще на юношество эта драма не дѣйствуетъ. Любовь Гамлета къ Офеліи слишкомъ элегична, почти безкровна; любовь Отелло и Дездемоны, напротивъ, слишкомъ чувственна. Фаустъ любитъ Маргариту не совсѣмъ по-юношески; неподдѣльнаго экстаза, захватывающаго сердце дѣвушки, у него нѣтъ; Мефистофелю пришлось подsunуть ему брилліанты для подарка Маргаритѣ — истинно стариковскій соблазнъ. Да, Фаустъ любитъ, какъ подмолоченный старикъ. Здѣсь не любовь, а продажа невинности чертомъ старику. Между тѣмъ первая любовь есть состояніе такое шалое, мечтательное, она сопровождается такимъ расцвѣтомъ фантазіи, что пара фантастическая потому именно и лучше, пышнѣе, ярче вбираетъ въ себя всѣ элементы этой зарождающейся любви.

Обѣ фигуры у Лермонтова воплощены въ самыя благодарныя и подходящія формы. Мужчина всегда первый обольщаетъ невинность, онъ клянется, обѣщаетъ, сулитъ золотыя горы; онъ плѣняетъ энергіею, могуществомъ, умомъ, широтой замысловъ — демонъ, совершенный демонъ! И кому изъ отроковицъ не грезится именно такой возлюбленный?—Дѣвушка плѣнительна своей чистотой. Здѣсь чистота еще повышена ореоломъ святости: не просто дѣвственница, а больше—схимница, обѣщанная Богу, хранимая ангеломъ:

Зло не дышало здѣсь понынѣ!

Понятно, какой эффектъ получается въ результатѣ. Взаимное притяженіе растетъ неодолимо, идетъ чудная музыка возрастающихъ страстныхъ аккордовъ съ обѣихъ сторонъ—и что же затѣмъ?

Затѣмъ обладаніе—и смерть любви... Развѣ не такъ? Вѣдь и Фаустъ Пушкина соглашается съ Мефистофелемъ, что даже въ то блаженнѣйшее время, когда онъ завладѣлъ своей возлюбленной, т. е. въ то время,

Когда не думаетъ никто,—

онъ уже думалъ:

...Агнецъ мой послушный!
Какъ жадно я тебя желалъ!..
Что-жъ грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистой?..

Ангель уносить Тамару, но, конечно, только ту Тамару, которая была до прикосновенія къ ней Демона, невинную, — тотъ образъ, къ которому разъ дотронешься—его ужъ нѣтъ,—то видѣніе, которое «не создано для міра»,—и перегорѣвшій мечтатель «съ хладомъ неподвижнаго лица» остается обманутымъ — «одинъ, какъ прежде, во вселенной».

Итакъ, вотъ какова участь поэта, родившагося въ раю, когда онъ, изгнанный на землю, вздумалъ искать здѣсь, въ счастіи земной любви, слѣдовъ своей божественной родины... Есть еще у Лермонтова одна небольшая загадочная баллада «Тамара», въ сущности, на ту же тему, какъ и «Демонъ». Тамъ только развязка обратная: отъ поцѣлуевъ красавицы умираютъ всѣ мужчины. Это будто *das ewig Weibliche*, которое каждого манитъ на свой огонь, но затѣмъ отнимаетъ у людей всѣ ихъ лучшія жизненные силы и отпускаетъ ихъ отъ себя живыми мертвецами.

V.

Любовь дразнила Лермонтова своимъ неизмѣнно повторяющимся и каждый разъ исчезающимъ подобіемъ счастья. Онъ любилъ мстить женщинамъ за это постоянное раздраженіе. Едва-ли не отсюда произошло его злобное донъ-жуанство, холодное кокетство съ женщинами, вызвавшее столько нареканій на его память. Печоринъ самъ презираетъ въ себѣ эту недостойную игру съ женщинами, но сознается, что никакъ не можетъ отъ нея отстать: «Я только удовлетворялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданія—и никогда не могъ насытиться».

... «Некстати было бы мнѣ говорить о нихъ съ такою злостью,— мнѣ, который, кромѣ ихъ, на свѣтѣ ничего не любитъ,— мнѣ, который всегда готовъ былъ имъ жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнью... Но вѣдь я не въ припадкѣ досады и оскорбленнаго самолюбія стараюсь сдернуть съ нихъ то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ. Нѣтъ, все, что я говорю о нихъ, есть слѣдствіе—«ума холодныхъ наблюдений и сердца горестныхъ замѣтъ»... «Первое страданіе даетъ удовольствіе мучить другого»... «Я былъ готовъ любить весь міръ— меня никто не понялъ; и я выучился ненавидѣть». Эти признанія поэта подтверждаютъ нашу характеристику. Въ самомъ заглавіи романа: «Герой нашего времени» слышится невольная иронія поэта, будто онъ хотѣлъ сказать: вотъ какой «герой» только и можетъ нравиться женщинамъ! Многихъ своихъ критиковъ Лермонтовъ поймалъ на удочку названіемъ своего романа и, въ особенности,—предисловіемъ ко второму изданію, гдѣ, откровенно говорясь отъ своего сходства съ Печоринимъ, поэтъ высказалъ, будто характеръ Печорина «составленъ изъ пороковъ всего нашего поколѣнія» и что автору «было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ, и какого, къ его и къ вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчали». Послѣ этого начали искать въ Печоринѣ признаковъ «типа», видѣли въ немъ обобщеніе. Но типа Печорина никогда не существовало. На Печоринѣ, конечно, есть внѣшняя печать времени, модная одежда эпохи: его дендизмъ, пристрастіе къ породѣ и аристократизму, бретерство, фатовство, позированіе á la Байронъ своею холодною гордостью, его практика въ любовныхъ приключеніяхъ по рецепту: «чѣмъ меньше женщину мы любимъ, тѣмъ больше нравимся мы ей». Но все это—замашки, а не сущность его натуры. Разочарованность, которою свѣтскіе львы того времени щеголяли, гораздо болѣе выдержана въ Онѣгинѣ. Онѣгинъ, напримѣръ, какъ вполне пропитанный благороднымъ сплиномъ, ругаетъ луну, а роща, холмъ и поле, уже на третій день пребыванія въ деревнѣ, наводятъ на него сонъ. Печоринъ же всегда наединѣ съ природой остается поэтомъ и, отправляясь на дуэль, готовый умереть, онъ жадно, какъ ребенокъ, любитъ каждую росинку на листьяхъ виноградинокъ. Онѣгинъ почти нигдѣ не измѣняетъ благовоспитанному равновѣсію чувствъ (только въ послѣдней главѣ, изъ тщеславнаго каприза, подъ вліяніемъ препятствій, онъ воспламеняется къ Татьянѣ). Печоринъ же на каждомъ шагу бываетъ готовъ кинуться, отъ полноты чувства, на шею или къ ногамъ тѣхъ, кого онъ за-

тѣмъ безжалостно терзаетъ—и у него «царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный, когда огонь кипитъ въ крови». Онъ полонъ роковыхъ противорѣчій, терзавшихъ самого Лермонтова, у котораго во всей поэзіи нѣжность отзывается злобой, а злоба — нѣжностью. Напрасно поэтъ старается оправдать себя тѣмъ, будто такихъ темпераментовъ было много, и въ Печоринѣ онъ изобразилъ человека своего времени. Нѣтъ! такихъ яркихъ, разительныхъ, притягательныхъ въ самой своей ходульности и порочности людей, какъ Печоринъ, — мы не знаемъ. Дѣло въ томъ, что поэтъ не долюбивалъ себя, какъ Михаила Юрьевича Лермонтова, т. е. задорнаго, весьма тяжелаго для жизни гвардейца—и онъ готовъ былъ свалить всѣ свои непривлекательныя свойства на эпоху; но въ немъ, былъ и другой человекъ. Объ этомъ дуализмѣ Печоринъ говоритъ Вернеру передъ своей дуэлью: «во мнѣ два человека: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслитъ и *судитъ* его; *первый*, быть можетъ, черезъ часъ *простится съ вами и міромъ, а второй... второй?*» — Печоринъ прерываетъ себя: «посмотрите, докторъ: это, кажется, наши противники».—Вотъ этотъ-то *второй, безсмертный*, сидѣвшій въ Печоринѣ, и былъ поэтъ Лермонтовъ, и ни въ комъ другомъ изъ людей той эпохи этого великаго человека не сидѣло. Только этотъ одинъ могъ сказать о себѣ отъ имени Печорина: «зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?.. А, вѣрно, она существовала и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя»... У насъ любили загадывать: что бы могло выйти изъ необъятныхъ силъ, скрытыхъ въ Лермонтовѣ, при иныхъ, болѣе благоприятныхъ для него обстоятельствахъ? При этомъ выводили на справку его безшабашную жизнь и укоряли великосвѣтское общество. Пора бы бросить это гаданье. Изъ Лермонтова вышелъ одинъ изъ великихъ поэтовъ міра: какой еще болѣе высокой роли, какой еще болѣе могучей дѣятельности отъ него требуютъ?!..

VI.

Сожительство въ Лермонтовѣ безсмертнаго и смертнаго человека составляло всю горечь его существованія, обусловило весь драматизмъ, всю притягательность, глубину и ѣдкость его поэзіи. Одаренный двойнымъ зрѣніемъ, онъ всегда своеобразно смотрѣлъ на вещи. Людской муравейникъ представлялся ему жалкимъ поприщемъ напрасныхъ страданій. Когда, напримѣръ, послѣ одной

битвы, генералъ, сидя на барабанѣ, принималъ донесенія о числѣ убитыхъ и раненыхъ, офицеръ Лермонтовъ «съ грустью тайной и сердечной» думалъ о людяхъ:

Жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно;
Подъ небомъ много мѣста всѣмъ:
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?

Поэтъ никогда не пропускалъ случая доказать людямъ ихъ мелочность и близорукость. Громадныя фигуры Наполеона и Пушкина вдохновили его написать горячія импровизаціи—«Послѣднее новоселье» и «На смерть Пушкина»—пѣсы, вылившіяся однимъ потокомъ, и потому написанныя, вопреки обычаю Лермонтова, пестрымъ размѣромъ, съ произвольнымъ количествомъ стопъ въ отдѣльныхъ строкахъ. Суетность, преходимость и случайность здѣшнихъ привязанностей вызвали самыя глубокія и трогательныя созданія лермонтовской музы. Не говоримъ уже о романахъ, о неувядаемыхъ пѣсняхъ любви, которыя едва-ли у кого другого имѣютъ такую мужественную крѣпость, соединенную съ такою граціею формы и силою чувства, но возьмите, напр., поэму о купцѣ Калашниковѣ: Лермонтовъ сѣмѣлъ едва уловимыми чертами привлечь всѣ симпатіи читателя на сторону Кирибѣевича, т. е. на сторону нарушителя законнаго и добронравнаго семейнаго счастья, и скорбно воспѣлъ роковую силу страсти, передъ которою ничтожны самыя добрыя намѣренія... Или вспомните «Колыбельную пѣсню»—самую трогательную на свѣтѣ: одинъ только Лермонтовъ могъ изобразить темою для нея... что же? — неблагодарность! «Провожать тебя я выйду—ты махнешь рукой!..» И не знаешь, чему больше дивиться: безотрадной ли и невознаградивимой глубиной материнскаго чувства, или чудовищному эгоизму цвѣтущей юности, которая сама не въ силахъ помнить добро и благодарить за него?..

VII.

Излишне будетъ касаться вѣчнаго и безплоднаго спора въ публикѣ: кто выше—Лермонтовъ или Пушкинъ? Ихъ совсѣмъ нельзя сравнивать, какъ нельзя сравнивать сонъ и дѣйствительность, звѣздную ночь и яркій полдень. Лермонтовъ, какъ поэтъ, явно недовольный жизнью, давно причисленъ къ пессимистамъ. Но это пессимистъ совершенно особенный, существующій въ единственномъ

экземплярѣ. Глава пессимистовъ нашего вѣка, Шопенгауеръ, острымъ орудіемъ своего ума искололъ всѣ радости человѣческія, не оставилъ въ природѣ человѣка живого мѣстечка и съ неумолимою логичностью доказалъ, что существо нашей породы таково, что ни при какихъ рѣшительно условіяхъ, ни на какой иной планетѣ и ни въ какомъ иномъ мірѣ мы не можемъ быть счастливы: это *пессимизмъ*, не оставляющій никакой надежды, *находящій свое послѣднее слово въ отчаяніи*. Но не такое впечатлѣніе даетъ намъ поэзія Лермонтова. Въ Лермонтовѣ живутъ какіе-то затаенные идеалы; его взоры всегда обращены къ какому-то иному, лучшему міру. Что воспѣваетъ Лермонтовъ? То же самое, что и всѣ другіе поэты, разочарованные жизнью. Но у другихъ вы слышите минорный тонъ,—жалобы на то, что молодость исчезаетъ, что любовь непостоянна, что всему грозитъ неумолимый конецъ, — словомъ, вы встрѣчаете *пессимизмъ безсильнаго унынія*. У Лермонтова, наоборотъ, ко всему этому слышится презрѣніе. Онъ будто говоритъ: «все это глупо, ничтожно, жалко — но только я-то для всего этого не созданъ!» — «Жизнь — пустая и глупая шутка»... — «Къ ней, должно быть, гдѣ-то существуетъ какое-то дополненіе: иначе вселенная была бы комкомъ грязи»... И съ этимъ убѣжденіемъ онъ бросаетъ свою жизнь, безъ надобности, шутя, подъ первой пріятельской пулей... Итакъ, лермонтовскій пессимизмъ есть *пессимизмъ силы, гордости, пессимизмъ божественнаго величія духа*. Подъ куполомъ неба, населеннаго чудною фантазіею, обличеніе великихъ неправдъ земли есть, въ сущности, самая сильная поэзія вѣры въ иное существованіе. Только поэтъ могъ дать почувствовать эту вѣру, какъ сказалъ самъ Лермонтовъ:

Кто толпѣ мои расскажетъ думы?
— Или поэтъ, или никто!

И чѣмъ дальше мы отдѣляемся отъ Лермонтова, чѣмъ больше проходитъ передъ нами поколѣній, къ которымъ равно примѣняется его горькая «Дума», чѣмъ больше дѣтъ звучить съ равною силою его страшное «И скучно и грустно» на землѣ—тѣмъ болѣе вырастаетъ въ нашихъ глазахъ скорбная и любящая фигура поэта, взирающая на насъ глубокими очами полубога изъ своей загадочной вѣчности...

С. А. Андреевскій.

А Н Г Е Л Ъ .

По небу полуночи ангелъ летѣлъ,
И тихую пѣсню онъ пѣлъ;
И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой
Внимали той пѣснѣ святой.

Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ
Подъ кущами райскихъ садовъ,
О Богѣ великомъ онъ пѣлъ, и хвала
Его непритворна была.

Онъ душу младую въ объятіяхъ неслъ
Для міра печали и слезъ,
И звукъ его пѣсни въ душѣ молодой
Остался—безъ словъ, но живой.

И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна,
И звуковъ небесъ замѣнить не могли
Ей скучныя пѣсни земли.

И СКУЧНО, И ГРУСТНО.

И скучно, и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды...
Желанья!... что пользы напрасно и вѣчно желать?
А годы проходятъ—всѣ лучшіе годы!

Любить... но кого же?... на время—не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно.
Въ себя ли заглянешь?—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:
И радость, и муки, и все тамъ ничтожно...
Что страсти?—вѣдь рано или поздно ихъ сладкій недугъ
Исчезнетъ при словѣ разсудка;
И жизнь, какъ согласишься съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ—
Такая пустая и глупая шутка...

ОТЧЕГО.

Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цвѣтущую твою
Не пощадитъ молвы коварное гоненье.
За каждый свѣтлый день или сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбѣ.
Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

БЛАГОДАРНОСТЬ.

За все, за все Тебя благодарю я:
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За мечь враговъ и клевету друзей,
За жаръ души, растроченный въ пустынѣ,
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Недолго я еще благодарилъ.

ПЛѢННЫЙ РЫЦАРЬ.

Молча сижу подъ окошкомъ темницы.
Синее небо отсюда мнѣ видно:
Въ небѣ играютъ все вольныя птицы...
Глядя на нихъ, мнѣ и больно, и стыдно.

Нѣтъ на устахъ моихъ грѣшной молитвы,
Нѣту ни пѣсни во славу любезной;
Помню я только старинныя битвы,
Мечъ мой тяжелый да панцырь желѣзный.

Въ каменный панцырь я нынѣ закованъ,
Каменный шлемъ мою голову давить,
Щитъ мой отъ стрѣлъ и меча заколдованъ,
Конь мой бѣжить—и никто имъ не править.

Быстрое время—мой конь неизмѣнный,
Шлема забрало—рѣшотка бойницы,
Каменный панцырь—высокія стѣны,
Щитъ мой—чугунныя двери темницы.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно подъ новой броней мнѣ стало!
Смерть, какъ пріѣдемъ, поддержитъ мнѣ стремя;
Слѣзу и сдерну съ лица я забрало.

ТУЧИ.

Тучки небесныя, вѣчныя странники!
Степью лазурною, пѣпью жемчужною
Мчитесь вы, будто, какъ я же, изгнанники,
Съ милаго сѣвера въ сторону южную.

Кто же васъ гонитъ: судьбы ли рѣшеніе?
Зависть ли тайная? злоба-ль открытая?
Или на васъ тяготитъ преступленіе?
Или друзей клевета ядовитая?

Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплодныя...
Чужды вамъ страсти и чужды страданія;
Вѣчно-холодныя, вѣчно-свободныя,
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія.

ПАРУСЪ.

Бѣлѣетъ парусъ одинокій
Въ туманѣ моря голубомъ...
Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?
Что кинулъ онъ въ краю родномъ?

Играютъ волны, вѣтеръ свищетъ,
И мачта гнется и скрипитъ...
Увы! онъ счастья не ищетъ,
И не отъ счастья бѣжитъ!

Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури,
Надъ нимъ лучъ солнца золотой:
А онъ, мятежный, проситъ бури,
Какъ будто въ буряхъ есть покой!

ДУМА.

Печально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее—иль пусто, иль темно;
Межъ тѣмъ, подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и поздимъ ихъ умомъ,
И жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы,
Передъ опасностью позорно-малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы.
Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!

Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей

Надежды лучшія и голосъ благородный
 Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
 Едва касались мы до чаши наслажденья,
 Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли:
 Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
 Мы лучшій сокъ навѣки извлекли.

Мечты поэзіи, созданія искусства
 Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ;
 Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ чувства—
 Зарытый скупостью и бесполезный кладъ.
 И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
 Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
 И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
 Когда огонь кипитъ въ крови.
 И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
 Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ;
 И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
 Глядя насмѣшливо назадъ.

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
 Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
 Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovitой,
 Ни геніемъ начатаго труда.
 И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
 Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
 Насмѣшкой горькою обманутаго сына
 Надъ промотавшимся отцомъ.

* *
* *

Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ
 Мою таинственную повѣсть,
 Какъ я любилъ, за что страдалъ;
 Тому судья лишь Богъ да совѣсть.

Имъ сердце въ чувствахъ дать отчетъ,
 У нихъ попросить сожалѣнья—
 И пусть меня накажетъ Тотъ,
 Кто избрѣлъ мои мученья.

Укоръ невѣждъ, укоръ людей
Души высокой не печалить;
Пускай шумить волна морей,—
Утесъ гранитный не повалить.

Его чело межъ облаковъ;
Онъ двухъ стихій жилецъ угрюмый,
И, кромѣ бури да громовъ,
Онъ никому не ввѣрить думы.

* * *

Гляжу на будущность съ боязнью,
Гляжу на прошлое съ тоской
И, какъ преступникъ передъ казнью,
Ищу кругомъ души родной.
Придетъ ли вѣстникъ избавленья
Открыть мнѣ жизни назначенье,
Цѣль упованій и страстей:
Повѣдать, что мнѣ Богъ готовилъ,
Зачѣмъ такъ горько прекословилъ
Надеждамъ юности моей?

Землѣ я отдалъ дань земную
Любви, надеждъ, добра и зла.
Начать готовъ я жизнь другую...
Молчу и жду... Пора пришла...
Я въ мірѣ не оставляю брата;
И тьмой и холодомъ облята
Душа усталая моя:
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,
Она увяла въ буряхъ рока
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія.

* * *

Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою.
Я зналъ: ударъ судьбы меня не обойдетъ,
Я зналъ, что голова, любимая тобою,
Съ твоей груди на плаху перейдетъ.

Я говорилъ тебѣ: ни счастья, ни славы
 Мнѣ въ мірѣ не найти.—Настанетъ часъ кровавый...
 И я паду,—и хитрая вражда
 Съ улыбкой очернить мой недоцвѣтшій геній,—
 И я погибну безъ слѣда
 Моихъ надеждъ, моихъ мученій...
 Но я безъ страха жду довременный конецъ:
 Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый.
 Пускай толпа растопчетъ мой вѣнецъ,
 Вѣнецъ пѣвца, вѣнецъ терновый...
 Пускай! я имъ не дорожилъ!...

.

* * *

Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой
 И въ степь укатился, жестокою бурей гонимый;
 Засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и горя,
 И вотъ, наконецъ, докатился до Чернаго моря.

У Чернаго моря чинара стоитъ молодая,
 Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленя вѣтви лаская;
 На вѣтвяхъ зеленыхъ качаются райскія птицы,
 Поютъ онѣ пѣсни про славу морской царь-дѣвицы.

И странникъ прижался у корня чинары высокой;
 Пріюта на время онъ молитъ съ тоскою глубокой—
 И такъ говоритъ онъ: «Я—бѣдный листочекъ дубовый,
 До срока созрѣлъ я и выросъ въ отчизнѣ суровой;

«Одинъ и безъ цѣли по свѣту ношуся давно я,
 Засохъ я безъ тѣни, увялъ я безъ сна и покоя.
 Прими же пришельца межъ листьевъ твоихъ изумрудныхъ—
 Немало я знаю рассказовъ мудреныхъ и чудныхъ».

— На что мнѣ тебя! отвѣчаетъ младая чинара:
 Ты пыленъ и желтъ, и сынамъ моимъ свѣжимъ не пара.
 Ты много видалъ, да къ чему мнѣ твои небылицы?
 Мнѣ слухъ утомили давно ужъ и райскія птицы...

Иди себѣ дальше, о странникъ! тебя я не знаю.
Я солнцемъ любима, цвѣту для него и блистаю;
По небу я вѣтви раскинула здѣсь на просторѣ,
И корни мои умываетъ холодное море.

* * *

Выхожу' одинъ я на дорогу;
Сквозь туманъ кремнистый путь блеститъ;
Ночь тиха, пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздою говоритъ.

Въ небесахъ торжественно и чудно!
Спитъ земля въ сіяньи голубомъ...
Что же мнѣ такъ больно и такъ трудно:
Жду-ль чего? жалѣю ли о чемъ?

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть;
Я ищу свободы и покоя,
Я-бѣ хотѣлъ забыться и заснуть...

Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы—
Я-бѣ желалъ навѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дремали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтобъ всю ночь, весь день, мой слухъ летѣлъ,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА.

Въ морѣ царевичъ купаетъ коня,
Слышитъ: «Царевичъ, взгляни на меня!»
Фыркаетъ конь и ушами прыдетъ,
Брызжетъ и плещетъ, и далѣ плыветъ.
Слышитъ царевичъ: «Я царская дочь;
Хочешь провести ты съ царвною ночь?»

Вотъ показалась рука изъ воды,
Ловить за кисти шелковой узды.

Вышла младая потомъ голова;
Въ косу впелася морская трава,
Синія очи любовью горятъ,
Брызги на шеѣ какъ жемчугъ дрожатъ.

Мыслить царевичъ: «Добро же, постой!
За косу ловко схватилъ онъ рукой.

Держить. Рука боевая сильна...
Плачетъ, и молить, и бьется она.

Къ берегу витязь отважно плыветъ;
Выплылъ, товарищей громко зоветъ.

«Эй вы! сходитесь, лихіе друзья!
Гляньте, какъ бьется добыча моя...

«Что-жъ вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вотъ оглянулся царевичъ назадъ,
Ахнулъ!—померкъ торжествующій взглядъ.

Видить: лежитъ на пескѣ золотомъ
Чудо морское съ зеленымъ хвостомъ.

Хвостъ чешуею змѣиной-покрытъ,
Весь замирая, свиваясь, дрожитъ.

Пѣна струями сбѣгаетъ съ чела,
Очи одѣла смертельная мгла;

Блѣдныя руки хватаютъ песокъ,
Шепчутъ уста непонятный упрекъ...

Ѣдетъ царевичъ задумчиво прочь...
Будетъ онъ помнить про царскую дочь!

ТАМАРА.

Въ глубокой тѣснинѣ Дарьяда,
Гдѣ роется Терекъ во мглѣ,
Старинная башня стояла,
Чернѣя, на черной скалѣ.

Въ той башнѣ высокой и тѣсной
Царица Тамара жила,
Прекрасна, какъ ангелъ небесный,
Какъ демонъ—коварна и зла.

И тамъ, сквозь туманъ полуночи,
Блисталъ огонекъ золотой,
Кидался онъ путнику въ очи,
Манилъ онъ на отдыхъ ночной.

И слышался голосъ Тамары—
Онъ весь былъ желанье и страсть,
Въ немъ были всеильныя чары,
Была непонятная власть.

На голосъ невидимой пери
Шелъ воинъ, купецъ и пастухъ;
Предъ нимъ отворялися двери,
Встрѣчалъ его мрачный евнухъ.

На мягкой пуховой постели,
Въ парчу и жемчугъ убрана,
Ждала она гости. Шипѣли
Предъ нею два кубка вина.

Сплетались горячія руки,
Уста прилипали къ устамъ,
И странные, дикіе звуки
Всю ночь раздавалися тамъ,—

Какъ будто въ ту башню пустую
Сто юношей пылкихъ и женъ
Сошлись на свадьбу ночную,
На тризну большихъ похоронъ.

Но только что утра сіянье
Кидало свой лучъ по горамъ,
Мгновенно и мракъ и молчанье
Опять воцарялися тамъ.

Лишь Терекъ въ тѣсинѣ Дарьяла,
Гремя, нарушалъ тишину;
Волна на волну набѣгала,
Волна погоняла волну.

И съ плачемъ безгласное тѣло
Спѣшили онѣ унести...
Въ окнѣ тогда что-то бѣлѣло,
Звучало оттуда: «прости!»

И было такъ нѣжно прощанье,
Такъ сладко тотъ голосъ звучалъ,
Какъ будто восторги свиданья
И ласки любви общалъ...

Н. П. Огаревъ.

Огарева у насъ привыкли считать политическимъ агитаторомъ, боевымъ поэтомъ русской эмиграціи. Тѣсная дружба съ Герценомъ, нераздѣльное сосѣдство съ сильной, эффектной фигурой редактора «Колокола» наложили на образъ Огарева чуждыя, несвойственныя ему черты. Его сравнительно блѣдная, тусклая фигура тонетъ въ яркомъ обаяніи его друга, какъ нѣкогда его личное развитіе тонувало въ могучемъ теченіи мысли Герцена. Но если политическая роль послѣдняго несправедливо заслоняетъ до сихъ поръ въ глазахъ большинства истинное значеніе автора «Съ того берега» и «Былого и Думъ», то тѣмъ болѣе невѣрно ходячее представленіе объ Огаревѣ. Въ сущности, вся его, всегда неловкая, порою курьезная (стоитъ вспомнить лондонскій старообрядческій журналъ «Вѣче»), политическая агитація достаточно ясно доказываетъ, что она была не болѣе какъ невольнымъ акомпаниментомъ дѣятельности его друга; собственная-же натура поэта весьма мало соотвѣтствовала его случайной роли. Огаревъ былъ кровнымъ поэтомъ—человѣкомъ съ тонкой и изящной духовной организаціей, съ сердцемъ, «нѣжнымъ какъ ласка» (говоря его-же выраженіемъ).

Политическія увлеченія наложили, впрочемъ, свой отпечатокъ на лирику Огарева, но рука его не умѣла брать могучіе, вызывающіе аккорды. Ему лучше удавалось отразить въ элегическихъ строкахъ своихъ грустныя, безнадежно-задумчивыя настроенія эмиграціи (какъ напр., въ задушевныхъ обращеніяхъ къ «Искандеру»-Герцену). Минорный тонъ этихъ стихотвореній совпадаетъ съ основнымъ тономъ лирики Огарева. Его сборникъ открывается стихотвореніемъ «Друзьямъ»:

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ,
Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой,
Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,
Съ любовью, съ поэтической мечтой.

И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили,
 И юныхъ силъ мы въ битвѣ не щадили.
 Но мы вокругъ не встрѣтили участья,
 И лучшія надежды и мечты,
 Какъ листья средь осенняго ненастья,
 Попадали, и сухи и желты,—
 И грустно мы остались между нами,
 Сплетая дружно голыми вѣтвями.
 И на кладбище стали мы похожи:
 Мы много чувствъ, и образовъ, и думъ
 Въ душѣ глубоко погребли... И что-же?
 Упрекъ-ли небу скажетъ дерзкій умъ?
 Къ чему упрекъ?... Смиренье въ душу вложимъ
 И въ ней затворимся—безъ желчи, если можемъ.

Можно думать, что раннія грозы (ссылка постигла Огарева на 26-мъ году) надломили эту нѣжную натуру уже въ самомъ корнѣ. «Вольнолюбивыя надежды» юности, бессонныя ночи надъ Шиллеромъ, знаменитая клятва на Воробьевыхъ горахъ,—среди тяжелыхъ впечатлѣній времени, въ душной атмосферѣ реакціи; потомъ долгіе годы бурной, бродячей жизни изгнанника — все, вплоть до самой забытой могилы въ чужомъ краю, развивало въ Огаревѣ его пессимизмъ, давало пищу его робкой неудовлетворенности. Но не слѣдуетъ преувеличивать эту роль «внѣшнихъ обстоятельствъ». Поэты-пессимисты, какъ и пессимисты-философы, нерѣдко проводили жизнь въ условіяхъ, способныхъ возбудить зависть иного оптимиста. Не въ подробностяхъ личной жизни слѣдуетъ искать объясненія траурной философіи Шопенгауера или унылой поэзіи Баратынского, Апухтина, Огарева. Огаревскій пессимизмъ носить далеко не личный, а широкій, общепонятный, общечеловѣческій характеръ. Его исторія для читателя—не исторія чужого страданія.

Здѣсь можно отмѣтить любопытное сходство огаревскихъ настроеній съ основнымъ мотивомъ лирики Лермонтова. Изъ характеристики послѣдняго, сдѣланной въ нашемъ сборникѣ С. А. Андреевскимъ, читатель знаетъ этотъ мотивъ—слиянiе страстнаго, увѣреннаго стремленія къ небу съ тоскливымъ, безнадежнымъ отчужденіемъ отъ земли:

И звуковъ небесъ замѣнить не могли
 Ея скучныя пѣсни земли...

Лермонтовская вѣра на почвѣ лермонтовской тоски и рождала протестъ Демона, тотъ гордый вызовъ Небу, который характеризуетъ собою «мятежнаго» поэта.

Огареву изъ двухъ доминирующихъ стихій лермонтовской поэзіи дана была только первая — его слухъ уловлялъ только «скучныя пѣсни земли...» И, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ вѣры, погасло и возмущеніе падшаго, но близкаго Небу ангела. Мы видѣли, какъ покорно встрѣтилъ поэтъ первое, самое жестокое разочарованіе жизни:

Упрекъ-ли небу скажетъ дерзкій умъ?
Къ чему упрекъ?... Смиренье въ душу вложимъ
И въ ней затворимся—безъ желчи, если можемъ.

Желаніе поэта исполнилось, по крайней мѣрѣ относительно его самого. Ему, дѣйствительно, удалось «затвориться» въ своемъ страданіи и «дерзкій» умъ не смѣлъ смущать его лермонтовскимъ «упрекомъ Небу», для котораго, однако, смирившійся поэтъ могъ бы найти не менѣе основаній: *скука жизни* чувствовалась Огаревымъ также ярко, какъ и авторомъ «Ангела». Болѣе того—она была основной стихіей его поэзіи: безнадежность только усугубляла интенсивность этой тоски, равно отнимая у нея радость жизни и упоеніе протеста. Въ пользующихся нѣсколько преувеличенной репутаціей «Монологихъ» встрѣчается варіантъ лермонтовскаго «И скучно и грустно» («Духъ вѣчности обнять заразъ не въ нашей долѣ...» и т. д.). Типичнѣе выраженъ этотъ мотивъ въ другомъ мѣстѣ:

Мнѣ чувство каждое и каждый новый ликъ,
И каждой страсти новое волненье—
Все кажется уже давно прожитый мигъ,
Все стараго пустое повторенье.
И скука страшная лежитъ на днѣ души,
Межъ тѣмъ, какъ я внимаю съ напряженьемъ,
Какъ тайный ходъ судьбы свершается въ тиши,
И вѣтъ мнѣ отъ жизни привидѣньемъ.

Въ замѣчательномъ стихотвореніи «Fatum» этотъ страхъ жизни, жуткое ощущеніе бессмысленной безпомощности человѣческаго существованія переданъ въ странныхъ символахъ:

Вхожу я въ церковь—тамъ стоятъ два гроба,
Окружены молящимися оба.
Одинъ былъ длинный гробъ, и видѣлъ въ немъ
Я мертвеца съ измученнымъ лицомъ,
Съ улыбкою отчаянья глухаго,
И кости лишь да кожа—такъ худаго.
Казался онъ не старъ, но былъ ужъ сѣдъ,
Какъ будто-бы погибъ подъ ношей оѣдъ.

Блѣдна, какъ онъ, и столько-же худая,
Стояла возлѣ женщина, рыдая;
И дѣти нищія на мертвеца
Смотрѣли съ дѣтской глупостью лица.

А гробъ другой былъ малъ, и въ немъ лежало
Дитя—такъ тихо, будто-бъ задремало.
Отецъ и мать у гроба, а вокругъ,
Одѣтыхъ въ трауръ, было много слугъ.
Печально мать—красавица—молчала,
То плакала, то тяжело вдыхала.
Отецъ въ себя казался углубленъ
И все шепталъ: „зачѣмъ онъ былъ рожденъ?“
И я тоски не въ силахъ былъ сносить;
Я вышелъ вонъ, и въ лѣсъ ушелъ бродить—
И вѣтеръ вылъ, и тучи тяготѣли,
И на корняхъ, треща, качались ели.

Огаревъ точно угадывалъ смутно свое близкое духовное родство съ Лермонтовымъ *). По крайней мѣрѣ, при чтеніи его стихотворенія «Характеръ», имя творца Печорина само собой приходитъ на память:

Ребенкомъ онъ упрямъ былъ и рѣзвъ,
И гордо такъ его смотрѣли глазки;
Лишь матери его смиряли ласки,
Но не внималъ онъ звуку грозныхъ словъ.
Про витязей безстрашныхъ слушать сказки

*) Можно указать еще одинъ пунктъ сходства, впрочемъ болѣе внѣшняго, между двумя поэтами. Оба они принадлежать къ разряду «субъективныхъ» художниковъ. Источникъ творческихъ впечатлѣній такого поэта—не столько во внѣшнемъ мірѣ, сколько въ немъ самомъ: онъ не вбираетъ въ себя изъ окружающаго свои темы, а находитъ ихъ непосредственно во внутреннемъ своемъ мірѣ. И потому въ его произведеніяхъ отчетливѣе всего вырисовывается его собственная личность—хотя-бы и между строкъ,—и какъ-бы ни были ярки и разнообразны созданные имъ типы, первымъ и самымъ яркимъ его типомъ всегда является онъ самъ. Если Пушкинъ могъ съ равной силою и отчетливостью рисовать и Онегина, и Татьяну, и Ленского, и Ольгу, то портретъ Лермонтова—Печоринъ, долженъ былъ господствовать надъ героями своего дневника; его копія—Арбенинъ, надъ персонажами «Маскарада»; другой его снимокъ—Демонъ, надъ уничтоженной имъ Тамарой. Для Пушкина, какъ для его «пророка», были вняты «и неба содраганье, и горній ангеловъ полетъ, и гадъ морскихъ подводный ходъ, и дольней лозы прозябанье»—его поэзія была, дѣйствительно, подобна «эху» жизни. Лермонтовскій пророкъ бѣжалъ въ пустыню, чтобы тамъ свободно говорить звѣздамъ, если люди не слушаютъ его,—и поэзія его творца была, прежде всего, его исповѣдь. Но эта «субъективность» не исключаетъ, конечно, общечеловѣческаго значенія «поэта-го-

Любилъ въ тиши онъ зимнихъ вечеровъ,
 Любилъ безбрежіе степи раздольной,
 Слѣдилъ полетъ далекій птицы вольной.
 Провелъ онъ буйно юные года—
 Его вездѣ пустымъ повѣсой звали,
 Но жажды дѣлъ они въ немъ не узнали,
 Да воли сильной, въ мірѣ никогда
 Простора не имѣвшей... Дни бѣжали,
 Жизнь тратилась безъ цѣли, безъ труда;
 Кипѣла кровь бесплодно... Онъ былъ молодъ,
 А въ душу сталъ закрадываться холодъ.
 Влюбленъ онъ былъ и разлюбилъ; потомъ
 Любилъ, бросалъ, но—слабыхъ душъ мученья—
 Не зналъ раскаянья и сожалѣнья.
 Онъ рано посѣдѣлъ. Въ лицѣ худомъ
 Явилась блѣдность. Дерзкое презрѣнье
 Одно осталось въ взорѣ огневомъ;
 И рѣчь его, сквозь устъ едва раскрытыхъ,
 Была полна насмѣшекъ ядовитыхъ.

Этотъ печоринскій силуэтъ не удался-бы такъ Огареву, если-бы въ его собственную душу не закрался тотъ-же «холодъ жизни», то-же глубокое невѣріе въ возможное для ограниченного человѣческаго существованія счастье. Уже ребенка, беззаботно спящаго на рукахъ матери, встрѣчаетъ онъ зловѣщимъ пророчествомъ о томъ печальномъ будущемъ, когда, можетъ быть, ему придется «слишкомъ рано» пожалѣть о своемъ рожденіи (стихотвореніе «Младе-

лоса»—она стоитъ всякой «объективности». Съ другой стороны, «поэтъ-эхо» смотритъ на жизнь, конечно, также «сквозь призму своего темперамента» (по выраженію Зола), и «объективность» его до извѣстной степени «субъективна». Но, не смотря на это сближеніе, характерное отличіе «поэта-эхо» и «поэта-голоса» остается очевиднымъ.

Огаревъ принадлежитъ къ лермонтовскому типу, какъ Апухтинъ, какъ Баратынскій, какъ Голенищевъ-Кутузовъ,—между тѣмъ какъ Фетъ, Майковъ, Полонскій, напримѣръ, къ пушкинскому. Даже въ сравнительно слабыхъ поэмахъ Огарева субъективное настроеніе автора заслоняетъ вѣншній интересъ сюжета, а въ лирикѣ его оно одоо привлекаетъ все наше вниманіе. Огаревъ не дышалъ одною жизнью съ природою, не подсматривалъ ея тайнъ—лишь мимоходомъ вспоминаетъ онъ о ней. Также чужда была ему историческая поэзія (если не считать политическихъ сарказмовъ), область легендъ и сказаній, жизнь и настроенія древняго міра. Не ждите отъ него и откровеній чужой души—онъ можетъ раскрыть намъ только свою, и вѣншія впечатлѣнія лишь предлогъ для его вдохновенія. Вотъ почему, говоря о поэзіи Огарева,—однообразной, какъ творчество всякаго поэта-голоса,—прежде всего и больше всего приходится говорить о немъ самомъ.

нець»). Точно подъ вліяніемъ этого мрачнаго заклинанія, ребенокъ оказывается внезапно мертвымъ—«и въ холодъ бросило меня», признается испуганный этимъ оправданіемъ своего недовѣрія къ жизни поэтъ. Встрѣчая послѣ долгой разлуки женщину, которую онъ знавалъ когда-то дѣвочкой, онъ въ жизни ея пережитой ищетъ прежде всего подтвержденія того-же недовѣрія:

И вотъ опять я встрѣтилъ васъ...
 Ну что-жъ вы дѣлали? какъ жили?
 Не скроете—изъ вашихъ глазъ
 Я узнаю, что вы любили,
 Что съ сердцемъ страсть была дружна,
 И познакомилося страданье,
 И жизнь, быть можетъ, лишена
 Давно для васъ очарованья...
 Не правда-ль, страшно схоронить
 Любовь, которой сердце жило
 И пошло, холодно забытъ
 И страсть, и грусть, и все, что мило?
*Еще страшнѣе сказать себѣ,
 Что все проходитъ непрѣтннн,
 Что въ человѣческой судьбѣ
 Такъ надо, такъ обыкновенно...*

Это, очевидно, еще одна «обыкновенная повѣсть»,—новый вариантъ знаменитаго «Старога дома»:

Въ этой комнаткѣ счастье былое,
 Дружба свѣтлая выросла тамъ...
 А теперь запустѣнье глухое,
 Паутины висятъ по угламъ.

Это плачь унылыхъ строфъ «Онѣгина» о судьбѣ ожидавшей Ленскаго, элегическихъ страницъ «Мертвыхъ душъ» надъ погибшей юностью Тентетникова и Плюшкина.

Примириться съ жизнью на томъ, что она даетъ, найти цѣль въ ея непосредственномъ, хотя-бы и неразлучномъ со страданіемъ, благѣ,—подобно Пушкину воскликнуть: «Но не хочу, о други, умирать—я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать!»—Огаревъ не могъ: слишкомъ сильно чувствовалъ онъ «горести, заботы, тревоженія» жизни—слишкомъ слабо ея «наслажденіе». Ему было совершенно чуждо фетовское противоположеніе ничтожеству конца всей полноты и яркости настоящаго момента («Покуда на груди земной, хотя съ трудомъ, дышать я буду—весь трепетъ жизни молодой мнѣ будетъ внятень отовсюду...»)

Н. Гоголь

Даже любовь, для Огарева, какъ для Лермонтова, отравляется сознаниемъ ея недолговѣчности. «Вѣчно любить невозможно»—и свѣжее, яркое чувство юности обречено на постепенное угасаніе:

Я помню робкое желанье,
Тоску сжигающую кровь,
Я помню ласки и признанье,
Я помню слезы и любовь.
Шло время—ласки были рѣже,
И высохъ слезъ потокъ живой,
И только оставались тѣ-же
Желанья съ прежнею тоской.
Просило сердце впечатлѣній
И теплыхъ слезъ, просило вновь
И новыхъ ласкъ и вдохновеній,
Просило новую любовь.
Пришла пора—прошло желанье
И въ сердцѣ стало холодно,
И на одно воспоминанье
Трепещеть горестно оно.

Воспоминанія любви и отражаются въ поэзіи Огарева болѣе не-жели сама любовь, которой въ одномъ стихотвореніи онъ даетъ знаменательный эпитетъ «ненужной» («Вотъ юность—вотъ играетъ кровь, и сердце жжетъ *ненужная* любовь...»). Въ превосходномъ стихотвореніи «Къ подъѣзду» онъ, въ характерной для него, обманчиво-небрежной формѣ, съ необыкновенною силой заставляетъ насъ почувствовать всю непрочность нашего индивидуальнаго чувства, все роковое несовершенство человѣческой жизни:

Къ подъѣзду!—Сильно за звонокъ рванулъ я—
Что, дома?—Быстро я взбѣжалъ на верхъ.
Уже ея я не видалъ лѣтъ десять...
Какъ хороша она была тогда!
Вхожу. Но въ комнатѣ все дышетъ скукой,
И плющъ завялъ, и сторы спущены.
Вотъ у окна, безмолвно за газетой,
Сидитъ какой-то толстый господинъ.
Мы поклонились. Это мужъ. Какъ дурень!—
Широкое и глупое лицо.
Въ углу сидитъ на креслахъ длинныхъ кто-то,
Въ подушки утонувъ. Смотрю—не вѣрю!
Она—вотъ эта тѣнь полуживая?
А есть еще прекрасныя черты!..
Она мнѣ тихо машетъ: „подойдите!
Садитесь! рада я вамъ, старый другъ!“
Рука, какъ желтый воскъ, чуть внятенъ голосъ,

Взоръ мутенъ. Сердце сжалось у меня.
 „Меня теперь вы вѣрно не узнали...
 Да—я больна; но это все пройдетъ:
 Весной поѣду непременно въ Ниццу“.
 Что отвѣчать? Нельзя-же показать,
 Что слезы хлынули къ глазамъ отъ сердца,
 А слово такъ и мретъ на языкѣ.
 Мужъ улыбнулся, что я такъ неловокъ.
 Какую-то я пошлость ей сказалъ,
 И вышелъ. Трудно было оставаться—
 Поѣхалъ. Мокрый снѣгъ мнѣ билъ въ лицо,
 И небо было тускло...

Это «несовершенство жизни», ся тоска и отчаянье были для Огарева не случайнымъ или временнымъ фактомъ, не послѣдствіемъ единоличной неудачи или несчастія, а огромнымъ, стихійнымъ явленіемъ, неизбѣжнымъ спутникомъ несовершеннаго человѣческаго духа. Могучая, всепоглощающая, всеотравляющая огаревская «скука» есть ни что иное, какъ своеобразное выраженіе неустаннаго стремленія ограниченнаго и временнаго существа къ счастью абсолютнаго и вѣчнаго—стремленія, роковымъ образомъ остающагося безплоднымъ. Какъ и для Лермонтова, для Огарева каждое достиженіе приносить только новую неудовлетворенность и лишь подтверждаетъ безнадежный его выводъ, что «вѣчно крошечное зло настолько счастьемъ помѣшается, что счастья вовсе не бываетъ».

Аккордъ намъ полный, господа,
 Звучать не будетъ никогда!—

воскликаетъ онъ въ поэмѣ «Юморъ». «*Никогда*» — вотъ въ чемъ индивидуальная особенность мировоззрѣнія Огарева, вотъ чего не сказалъ-бы Лермонтовъ. Раціоналистическія вѣянія времени истребили въ Огаревѣ не только первобытныя вѣрованія, но и всякую возможность признанія ирраціональнаго, непостижимаго въ мірѣ. Онъ попалъ въ ту полосу развитія европейской мысли, когда рѣзкая критика устарѣвшихъ формъ мистическаго чувства не щадила самаго ихъ содержанія и самоувѣренно изсушивала до дна всѣ источники философскаго мистицизма. Близко, можно сказать изъ первыхъ рукъ, знакомый съ передовой въ то время философіей крайняго матеріализма, Огаревъ не имѣлъ достаточно умственной самостоятельности, чтобы такъ или иначе выйти изъ-подъ ея вліянія. Только мучительно-унылый тонъ его стиховъ намекаетъ намъ, какъ тяжело доставалось поэту это подчиненіе послѣдней истинѣ своего времени. Но не имѣя лермонтовской увѣренности «міръ увидѣть новый», не зная пушкин-

скаго пантеистическаго примиренія съ «равнодушной» природой, Огаревъ все-же боится смерти—именно какъ полнаго конца, какъ безвозвратнаго уничтоженія и того слабаго, блѣднаго подобія жизни, которое мы зовемъ этимъ именемъ:

Мнѣ мысль о смерти тяжела.
 Не то, чтобъ жизнь была мила;
Жить скучно—горе, да сомнѣнье,
 Бѣда извнѣ, внутри мученье,—
 Да вотъ, когда воображу,
 Что мертвый я въ гробу лежу,
 Что крышкою его накрыли,
 И въ крышку гвозди вколотили,
 И въ землю гробъ спустили мой,
 Да и засыпали землей—
 Душѣ обидно такъ и больно
 И тѣло дрожь беретъ невольно.

И здѣсь, передъ лицомъ смерти, тоска поэта не смягчается вѣрою и не облегчается гордымъ упрекомъ, для котораго нужна та же вѣра. Содрогаясь чисто физическимъ ужасомъ передъ призракомъ уничтоженія, Огаревъ обращается все-же лишь назадъ, цѣпляется за постылую «скуку жизни» *).

П. Перцовъ.

*) Быть можетъ, многіе, при чтеніи этого очерка, увидятъ въ пессимизмъ огаревской поэзіи своеобразное отраженіе нашего «западничества» или, лучше сказать, его результатовъ. Дѣйствительно, параллель между голосомъ «съ того берега» и жалобами поэта напрашивается сама собою. Отголоски первой борьбы и разочарованій постепенно разрастаются въ похоронный гамъ цѣлому міру, въ признаніе банкротства старой религіи. Темныя или жалкія картины родного быта, зараженнаго крѣпостной неправдой, сливаются со стихотвореніями, вызванными европейскими событіями 1848-49 гг.,—съ проклятіями побѣдоносной лжи, съ призывами новаго, несозданнаго міра,—въ одинъ мрачный, зловѣщій крикъ: «vive la mort!»—который встрѣчаетъ насъ и на страницахъ Герцена. Какъ въ юности, такъ и въ старости, Огаревъ отражалъ въ своихъ стихахъ настроенія цѣлаго кружка даровитыхъ, энергичныхъ людей, не напешшихъ себѣ мѣста въ современной имъ дѣйствительности. Больше всѣхъ своихъ сверстниковъ-поэтовъ—не только Фета или Майкова, но и Полонскаго и Алексѣя Толстого,—обвѣявъ онъ воздухомъ эпохи, проникнуть ея движеніемъ, хотя ему, по свойствамъ его таланта, слабѣ всего удавались «общественные мотивы». Въ «два-ли не единственномъ своемъ стихотвореніи „историческаго содержанія“ („Африка“) онъ избралъ темой вдохновенія—знаменательный выборъ!—Марія на развалинахъ Карфагена. Въ этомъ образѣ точно скрытъ символъ собственнаго положенія поэта и его друзей: та-же безнадежность, то-же отчужденіе, тѣ-же развалины стараго міра вокругъ и обломки разбитаго міросозер-

цанія внутри. Извѣстенъ исходъ, найденный Герценомъ,—его вѣра въ Россію и социализмъ. Какъ всякая новаторская идея, слишкомъ неопредѣленная и отвлеченная для конкретнаго воспроизведенія, эта мысль лишь слабо мерцаетъ у Огарева.

Подробная оцѣнка роли поэта въ преданіяхъ русскаго общества, въ исторіи нашей «борьбы съ западомъ», выходитъ за предѣлы предлагаемаго сборника... Тѣмъ болѣе, что—позволяю себѣ повторить мое предупрежденіе — это изслѣдованіе происхожденія и историческаго значенія творчества самаго мрачнаго изъ русскихъ поетовъ, при всей своей важности, не должно претендовать быть единственнымъ объясненіемъ его индивидуальности.

★ СТАРЫЙ ДОМЪ.

Старый домъ, старый другъ! посѣтилъ я
Наконецъ въ запускъ тебя,
И бывшее опять воскресилъ я,
И печально смотрѣлъ на тебя.

Дворъ лежалъ предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой,
И въ саду не шумѣлъ листь зеленый—
Желтый тлѣлъ онъ на почвѣ сырой.

Домъ стоялъ обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругомъ,
Туча сѣрая сверху ходила,
И все плакала, глядя на домъ.

Я вошелъ. Тѣ-же комнаты были—
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ;
Мы бесѣды его не любили—
Насъ страшилъ его черствый языкъ.

Вотъ и комнатка: съ другомъ, бывало,
Здѣсь мы жили умомъ и душой,
Много думъ золотыхъ возникало
Въ этой комнаткѣ прежней порой.

Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,
Въ ней остались слова на стѣнахъ:
Ихъ въ то время рука начертила,
Когда юность кипѣла въ душахъ.

Въ этой комнатѣ счастье былое,
Дружба свѣтлая выросла тамъ...
А теперь заустѣнье глухое,
Паутины висятъ по угламъ.

И мнѣ страшно вдругъ стало. Дрожалъ я—
На кладбищѣ я будто стоялъ,
И родныхъ мертвецовъ вызывалъ я,
Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ.

МЛАДЕНЕЦЪ.

Сидѣла мать у колыбели;
Дитя спало, но въ странномъ снѣ:
Его уста ужъ не атѣли,
А будто улыбались мнѣ.
Свѣча бросала отблескъ блѣдный,
Ребенокъ блѣденъ былъ лицомъ.
Я думалъ: спи, малютка блѣдный,
Пока ты съ горемъ не знакомъ.

Придетъ пора—и вспыхнуть страсти,
Въ сомнѣньяхъ истомится умъ,
И станетъ рваться грудь на части,
И лобъ наморщится отъ думъ;
И, можетъ быть, среди обмана
Надеждъ напрасныхъ и суетъ,
Ты пожалѣешь слишкомъ рано
О томъ, что былъ рожденъ на свѣтъ.

И я на мать взглянулъ уныло—
Увидѣлъ слезы на глазахъ,
Лицо ея такъ грустно было,
Такъ много скорби на устахъ.
Я подошелъ; передо мною
Лежало мертвое дитя,
И мать качала головою—
И въ холодъ бросило меня.

ОБЫКНОВЕННАЯ ПОВѢСТЬ.

Была чудесная весна!
Они на берегу сидѣли—
Рѣка была тиха, ясна,
Вставало солнце, птички пѣли;
Тянулся за рѣкою долъ,
Спокойно, пышно зеленѣя;
Вблизи шиповникъ алый цвѣлъ,
Стояла темныхъ липъ аллея.

Была чудесная весна!
Они на берегу сидѣли—
Во цвѣтъ лѣтъ была она,
Его усы едва чернѣли.
О, еслибъ кто увидѣлъ ихъ
Тогда, при утренней ихъ встрѣчѣ,
И лица-бъ высмотрѣлъ у нихъ,
Или подслушалъ-бы ихъ рѣчи—
Какъ былъ бы милъ ему языкъ,
Языкъ любви первоначальной!
Онъ вѣрно-бъ самъ, на этотъ мигъ,
Расцвѣлъ на днѣ души печальной!..

Я въ свѣтъ встрѣтилъ ихъ потомъ:
Она была женой другаго,
Онъ былъ женатъ, и о быломъ
Въ поминѣ не было ни слова.
На лицахъ виднѣнъ былъ покой,
Ихъ жизнь текла свѣтло и ровно;
Они, встрѣчаясь межъ собой,
Могли смѣяться хладнокровно...

А тамъ, на берегу рѣки,
Гдѣ цвѣлъ тогда шиповникъ алый,
Одни простые рыбаки
Ходили въ лодкѣ обветшалою,
И пѣли пѣсни,—и темно
Осталось, для людей закрыто,

Что было тамъ говорено,
И сколько было позабыто.

* * *

Стучу—мнѣ двери отперъ ключникъ старый.
Я зналъ, что нѣтъ хозяйки, что давно
Она уже уѣхала далеко,
И странствуетъ теперь подъ небомъ чуждымъ;
Но мнѣ на домъ хотѣлось посмотрѣть.
Какъ все знакомо! Зала длинная,
Гдѣ позднимъ вечеромъ, при слабомъ свѣтѣ,
Какія-то таинственныя тѣни
Уныло бродятъ; кабинетъ безмолвный,
Гдѣ часто мы вдвоемъ сидѣли близко...
Я, молча, темнымъ локономъ игралъ,
Иль говорилъ, что было на душѣ,—
А на душѣ тогда такъ было полно!
И все на томъ-же мѣстѣ, какъ и было:
Диванъ въ углу, передъ каминомъ кресло,
Цвѣты на окнахъ, на стѣнахъ портреты,
А на столѣ развернутая книга.
Я взялъ и пыль съ нея обтеръ рукой,
Скамейку шитую толкнулъ къ дивану,
И у окна гардину бѣлую
Расправилъ—солнце зимнее свѣтило
Печально... Уходя, спросилъ я: есть ли
Оттуда письма.—«Нѣтъ-съ, не получаемъ».—
Она меня теперь забыла вѣрно;
А я?—и у меня любви нѣтъ въ сердцѣ,
Одно воспоминанье!

* * *

Еще любви безумно сердце просить,
Любви взаимной, вѣчной и святой,
Которую ни время не уносить,
Не губить свѣтъ мертвящей суетой;

Безумно сердце просить женской ласки,
И чудная мечта нашептываетъ сказки.

Но тщетно все!.. отвѣта нѣтъ желанью;
Въ испугѣ мысль опять назадъ бѣжить,
И бродить трепетно въ воспоминаньи...
Но прошлаго ничто не воскресить!
Замолкшій звукъ опять звучать не можетъ,
И память только онъ гнететъ или тревожить.

И страхъ беретъ, что чувство схоронилось;
По немъ въ душѣ печально, холодно,
Какъ въ домѣ, гдѣ утрата совершилась:
Хозяинъ умеръ — пусто и темно;
Лепечетъ попъ надгробныя страницы,
И бродятъ въ комнатахъ все пасмурныя лица.

* * *

По тряской мостовой я ѣхалъ молча,
Усталый отъ дневныхъ заботъ и шума.
Мнѣ день, утраченный въ пустомъ чаду,
Холоднымъ падалъ на душу упрекомъ,
И ночь мнѣ не была отрадна...
На мѣсяцъ блѣдный облако нашло —
Онъ сквозь него просвѣчивалъ печально;
Пустыя улицы безмолвны были,
И только пѣсь съ досадою въ просонкахъ
Навстрѣчу мнѣ сквозь зубы проворчалъ...
При поворотѣ бѣлый домъ угрюмо
Рядъ оконъ темныхъ на меня уставилъ.
Знакомый домъ!.. Но вотъ свѣча блеснула
И въ комнатахъ задвигалась тихо...
Я встрепенулся. Сердце билось сильно —
Я видѣлъ платье бѣлое
И чей-то медленно идущій образъ.
Свѣча исчезла — я проѣхалъ мимо,
И тяжело мнѣ было на душѣ.

ВСТРѢЧА.

Друзья они съ молоду были,
Но рано разстались они,
И встрѣтились послѣ, случайно,
Черезъ долгіе годы и дни.

И какъ-же они удивились!
Ужъ лица наморщены ихъ,
И головы были сѣдыя,
И сгорблены спины у нихъ.

Старикъ старику подавъ руку,
И молча смотрѣлъ—и никто
Изъ нихъ не сказалъ, сколько было
Имъ внутреннихъ бурь прожито.

Θ. Ι. Τϋτчевъ.

I.

Прежде всего бросается въ глаза при знакомствѣ съ поэзіей Тютчева, созвучіе его вдохновенія съ жизнью природы,—совершенное воспроизведеніе имъ физическихъ явленій какъ состояній и дѣйствій живой души. Конечно, всѣ дѣйствительные поэты и художники чувствуютъ жизнь природы и представляютъ ее въ одушевленныхъ образахъ; но преимущество Тютчева передъ многими изъ нихъ состоитъ въ томъ, что онъ вполне и сознательно *спиритизмъ* въ то, что чувствовалъ, — ощущаемую имъ живую красоту принималъ и понималъ не какъ свою фантазію, а какъ *истину*. Эта вѣра и это пониманіе стали рѣдки въ новое время,—мы не находимъ ихъ даже, напримѣръ, у такого сильного поэта и тонкаго мыслителя, какъ Шиллеръ. Въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи «Боги Греціи» онъ предполагаетъ, что природа только *была* жива и прекрасна въ *воображеніи* древнихъ, а на самомъ дѣлѣ она лишь мертвая машина. Смерть эллинской міеологіи была для Шиллера смертью самой природы; вмѣстѣ съ прекрасными богами Греціи исчезла и душа міра, оставивъ только свою тѣнь въ художественныхъ памятникахъ классической древности.

Тютчевъ не вѣрилъ въ эту смерть природы, и ея красота не была для него пустымъ звукомъ. Ему не приходилось *искать* душу міра и безотвѣтно привѣтствовать отсутствующую: она сама сходилась съ нимъ и въ блескѣ молодой весны, и въ «свѣтлости осеннихъ вечеровъ»; въ сверканьи пламенныхъ зарницъ и въ шумѣ ночного моря она сама намекала ему на свои роковыя тайны. И безъ греческой міеологіи міръ былъ полонъ для него и величья, и красы, и красокъ. Въ этомъ нѣтъ еще ничего особеннаго. Живое отношеніе къ природѣ есть существенный признакъ поэзіи вообще, отличающій ее отъ двойкой прозы: житейско-практической и отвлече-

ченно-научной. Въ минуты настоящаго поэтическаго вдохновенія и Шиллеръ забывалъ, конечно, о «законѣ тяготѣнія»—и отдавался непосредственнымъ впечатлѣніямъ природной красоты. Но у Тютчева, какъ я уже замѣтилъ, важно и дорого то, что онъ не только *чувствовалъ*, а и *мыслилъ какъ* поэтъ,—что онъ былъ *убѣжденъ* въ объективной истинѣ поэтическаго воззрѣнія на природу. Какъ-бы прямымъ отвѣтомъ на Шиллеровскій похоронный гимнъ мнимо-умершей природѣ служить стихотвореніе Тютчева:

Не то, что мните вы, природа—
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:
Въ ней *есть* душа, въ ней *есть* свобода,
Въ ней *есть* любовь, въ ней *есть* языкъ.

Вовсе не высшее *знаніе*, а только собственная слѣпота и глухота заставляютъ людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

Они не видятъ и не слышатъ,
Живутъ въ семь мірѣ какъ въ потьмахъ,
Для нихъ и солнца, знатъ, не дышатъ,
И жизни нѣтъ въ морскихъ волнахъ,
Лучи къ нимъ въ душу не сходили,
Весна въ груди ихъ не цвѣла,
При нихъ лѣса не говорили,
И ночь въ звѣздахъ нѣма была;
И, языками неземными
Волнуя рѣки и лѣса,
Въ ночи не совѣщалась съ ними
Въ бесѣдѣ дружеской гроза...

II.

Кто-же правъ изъ двухъ поэтовъ? Есть жизнь и душа въ природѣ, или нѣтъ? Или, можетъ быть, существуютъ двѣ истины: одна для поэзіи, а другая—для науки? Но наука тутъ не при чемъ; она не отвѣчаетъ за тѣ ложные выводы, которые дѣлаются изъ ея достовѣрныхъ данныхъ въ силу односторонняго направленія мысли, возобладавшаго въ извѣстную эпоху. Наука никогда не доказывала—да по существу дѣла и не можетъ доказывать, что міръ есть *только* механизмъ, что природа есть *только* мертвое вещество. Различныя науки изслѣдуютъ природу *по частямъ* и находятъ между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая изслѣдовала-бы вселенную въ ея единствѣ и цѣлости, вовсе не существуетъ, а логика, обязательная и для наукъ, не позволяетъ

отъ анализа частей и ихъ внѣшней частичной связи дѣлать окончательное заключеніе о всеобщемъ характерѣ или смыслѣ цѣлаго. Вѣдь и въ тѣлѣ живого человѣка всѣ его части и частицы связаны между собою механически; — это не мѣшаетъ ему, однако, быть одушевленнымъ существомъ. Никто не рѣшится утверждать, что механическое устройство и дѣйствіе скелета, сосудистой, мускульной и нервной системъ, изучаемое точными науками — анатоміей и физиологіей, — исчерпываетъ собою весь истинный смыслъ человѣческаго существа и существованія; напротивъ, каждый согласится, что весь этотъ механизмъ координированныхъ частей имѣетъ смыслъ только какъ орудіе или средство выраженія и осуществленія внутренней жизни или души человѣка. Точно также и механизмъ всей природы есть только слаженная совокупность для проявленія и развитія всемірной жизни. Точное изученіе этого механизма въ высшей степени важно: оно даетъ человѣку возможность въ извѣстной мѣрѣ управлять естественными явленіями, пользоваться ими для своихъ цѣлей. Но ни теоретическій интересъ, ни практическая польза такого изученія, не составляютъ еще достаточнаго основанія, чтобы видѣть здѣсь всю истину о природѣ: это въ сущности было бы такъ-же странно, какъ если-бы кто-нибудь сталъ утверждать, что для полного и окончательнаго познанія человѣка нужно только вскрыть и препарировать его трупъ.

Противъ нашего заключенія отъ одушевленности человѣческаго тѣла къ одушевленности тѣла всемірнаго нельзя приводить то соображеніе, что живого человѣка мы дѣйствительно видимъ какъ замкнутое цѣлое въ нѣкоторомъ ощутительномъ единствѣ, — природу-же воспринимаемъ всегда лишь по частямъ. Ясно, что это различіе зависитъ не отъ существа дѣла, а отъ причины совершенно условной — отъ относительныхъ размѣровъ того и другого предмета. Для микроскопическихъ глазъ мухи вовсе не существуетъ цѣлаго гармоническаго очертанія человѣка или человѣческаго лица съ его выраженіемъ, да и для нашего собственнаго глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось-бы при микроскопическомъ изслѣдованіи въ безформенную массу грубыхъ тканей и клѣтокъ, механически нагроможденныхъ безъ всякой законченности и единства. Однако, когда я смотрю на это лицо, какъ на живое, узнаю въ его очертаніяхъ и измѣненіяхъ слѣды внутренняго опыта и выраженіе мыслей, чувствъ и желаній, вижу черезъ него душу и судьбу этого человѣка, то я, конечно, вижу несравненно *больше*, чѣмъ видить въ немъ самая наблюдательная муха,

и узнаю о немъ болѣе полную истину, чѣмъ ту, которую могъ-бы узнать при помощи микроскопа. Никакъ не тѣ волокна и клѣтки, а именно это большее, содержательное и единое, что я вижу живымъ взглядомъ, — оно-то и есть *истина*, или подлинный *смыслъ* этого человѣческаго существа, а то все—только матеріалъ, въ которомъ воплощается, посредствомъ котораго выражается эта истина или этотъ смыслъ.

Какъ тѣлесная видимость человѣка, сверхъ анатомическихъ и физиологическихъ фактовъ, говоритъ намъ еще своими знаками о его внутренней жизни или душѣ, такъ точно и явленія всей природы, каковъ-бы ни былъ ихъ *механический составъ*, говорятъ намъ въ своей живой дѣйствительности о жизни и душѣ великаго міра. Ни логика, ни сама естественная наука, не позволяютъ намъ рассуждать иначе и противопоставлять человѣка міру, какъ живое мертвому. Для взгляда исключительно-аналитическаго — и въ самомъ человѣкѣ нѣтъ живого и цѣлаго существа; а только механическая совокупность матеріальныхъ частицъ; для взгляда-же, направленнаго на полную истину, а не на одну только ея сторону, есть жизнь и во вѣшной природѣ. Послѣдовательная мысль должна выбирать между двумя положеніями: или ни въ чемъ, даже въ человѣкѣ, даже въ насъ самихъ, нѣтъ одушевленной жизни, или — она есть во всей природѣ, различаясь только по степенямъ и формамъ. Ибо нѣтъ никакой возможности, оставаясь на научной почвѣ, *отдѣлить* человѣка въ этомъ отношеніи отъ остальнаго міра. Своею тѣлесною организаціей, которою обусловлено развитіе его внутренней жизни, человѣкъ принадлежитъ къ животному царству, а животныхъ никакъ нельзя выдѣлать изъ прочей природы и признать ихъ исключительными носителями жизни. На самомъ дѣлѣ животное царство неразрывно связано съ растительнымъ, имѣя съ нимъ первоначально одну общую основу органическаго бытія, до сихъ поръ еще представляемую такими организмами, которыхъ нельзя отнести ни къ животнымъ, ни къ растеніямъ. А цѣлый органическій міръ, при всемъ своемъ формальномъ *отличіи*, неразрывно связанъ однако, и по составу, и по происхожденію, съ міромъ неорганическимъ. Утверждать безусловную грань между этими двумя мірами такъ-же въ сущности неосновательно и противно духу науки, какъ если-бы мы признали безусловную разнородность между твердымъ скелетомъ и мягкими тканями человѣческаго тѣла.

Нѣтъ во всей вселенной такой пограничной черты, которая

дѣлила-бы ее на совершенно особенныя, не связанныя между собою области бытія; повсюду существуютъ переходныя, промежуточныя формы, или остатки такихъ формъ, и весь видимый міръ не есть собраніе дѣланныхъ вещей, а продолжающееся развитіе или ростъ единого живого существа.

III.

Глубокое и сознательное убѣжденіе въ дѣйствительной, а не воображаемой только, одушевленности природы избавляло нашего поэта отъ того раздвоенія между мыслию и чувствомъ, которымъ съ прошлаго вѣка и до послѣдняго времени страдаетъ большинство художниковъ и поэтовъ. Простодушно принимая механическое міровоззрѣніе за всенаучное и единственно-научное, а потому несомнѣнное, вѣря ему на слово; эти служители красоты *не взираютъ въ свое дѣло*. Какъ художники, они передаютъ намъ жизнь и душу природы, но при этомъ въ умѣ своемъ убѣждены, что она безжизненна и бездушна, что ихъ чувство и вдохновеніе ихъ обманываютъ,—что красота есть субъективная иллюзія. А на самомъ дѣлѣ иллюзія только въ томъ, что отраженіе ходячихъ мнѣній на поверхности ихъ сознанія принимается ими за нѣчто болѣе достойное, чѣмъ та истина, которая открывается въ глубинѣ ихъ собственнаго поэтическаго чувства.

Понятно, что при такомъ невѣріи самихъ поэтовъ въ свое дѣло простые смертные приучаются смотрѣть на поэзію (и на художественную красоту вообще) какъ на праздный вымыселъ, и про всякую идею, возвышающуюся надъ житейскою плоскостью, говорить: «это только поэзія!» — разумѣя: «это вздоръ и пустяки!» И кто же въ самомъ дѣлѣ станетъ придавать серьезное значеніе тому божеству, въ которомъ сами его жрецы видятъ только пріятный вымыселъ?

Поэты, не вѣрящіе въ поэзію, у которыхъ умъ противорѣчитъ вдохновенію, и которые думаютъ, что истина есть только одна механика,—такіе поэты или должны быть неискренни, или же, отдаваясь поэтическому чувству, должны воздерживаться отъ всякой мысли, что не всегда возможно и не всегда полезно; когда же они начинаютъ разсуждать, у нихъ выходитъ отвлеченная и мертвая дидактика, вовсе ненуждающаяся въ «языкѣ боговъ». Тютчевъ былъ избавленъ отъ такого печальнаго положенія. Его умъ былъ вполне согласенъ съ вдохновеніемъ: поэзія его была полна сознанный

мысли, а его мысли находили себѣ только поэтическое, т.-е. одушевленное и законченное выраженіе.

Дѣло поэзіи, какъ и искусства вообще, — не въ томъ, чтобы «украшать дѣйствительность пріятными вымыслами живого воображенія», какъ говорилось въ старинныхъ эстетикахъ, а въ томъ, чтобы воплощать въ *ощутительныхъ* образахъ тотъ самый высшій *смыслъ* жизни, которому философъ даетъ опредѣленіе въ разумныхъ понятіяхъ, который проповѣдуется моралистомъ и осуществляется историческимъ дѣятелемъ, какъ идея добра. Художественному чувству непосредственно открывается въ формѣ ошутительной красоты то же совершенное содержаніе бытія, которое философіей добывается какъ истина мышленія, а въ нравственной дѣятельности даетъ о себѣ знать какъ безусловное требованіе совѣсти и долга. Это только различныя стороны или сферы проявленія одного и того же; между ними нельзя провести раздѣленія, и еще менѣе могутъ онѣ противорѣчить другъ другу. Если вселенная имѣетъ смыслъ, то двухъ противорѣчащихъ другъ другу истинъ — поэтической и научной, такъ же не можетъ быть, какъ и двухъ исключяющихъ другъ друга «высшихъ благъ», или цѣлей существованія. Слѣдовательно, правъ былъ нашъ поэтъ, когда прекрасное онъ сознательно принималъ и утверждалъ не какъ вымыселъ, а какъ предметную истину, и, чувствуя жизнь природы и душу міра, былъ убѣжденъ въ дѣйствительности того, что чувствовалъ.

IV.

Убѣжденіе въ истинности поэтического воззрѣнія на природу и вытекающая отсюда цѣльность творчества, гармонія между мыслию и чувствомъ, вдохновеніемъ и сознаніемъ, составляетъ преимущество Тютчева даже передъ такимъ значительнымъ поэтомъ-мыслителемъ, какъ Шиллеръ; но, разумѣется, это не есть *исключительное* преимущество нашего поэта, или специфическая особенность его поэзіи. И въ новой литературѣ далеко не всѣ поэты такъ довѣрчиво, какъ Шиллеръ, приняли механическое міровоззрѣніе, такъ легко усвоили дуализмъ Картезія или субъективизмъ Канта. Многіе продолжали и продолжаютъ сознательно вѣрить въ дѣйствительность жизни и красоты, не видя въ этомъ никакого противорѣчія съ маятникомъ Галилея или закономъ тяготѣнія Ньютона. Между великими европейскими именами достаточно назвать Шелли въ Англіи и особенно Гете въ Германіи. Гете, который былъ не только поэтъ

и мыслитель, но и великій естествоиспытатель, положившій начало двумъ интереснѣйшимъ наукамъ—сравнительной анатоміи животныхъ и морфологіи растений,—лучше, чѣмъ кто-либо другой, могъ видѣть всю недостаточность исключительно-механическаго объясненія вселенной, и въ цѣломъ рядѣ великолѣпныхъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: «Gott und Welt», онъ прославляетъ душу міра и жизнь природы.

Конечно, Тютчевъ не рисовалъ такихъ грандіозныхъ картинъ мировой жизни въ цѣломъ ходѣ ея развитія, какую мы находимъ у Гете, напримѣръ, въ стихотвореніи: «Vertheilet euch durch alle Regionen»... Но и самъ Гете не захватывалъ, быть можетъ, такъ глубоко, какъ нашъ поэтъ *темный корень* мирового бытія, не чувствовалъ такъ сильно и не сознавалъ такъ ясно ту *таинственную основу всякой жизни*,—природной и человѣческой,—основу, на которой зиждется и смыслъ космическаго процесса, и судьба человѣческой души, и вся исторія человечества. Здѣсь Тютчевъ дѣйствительно является вполне своеобразнымъ и если не единственнымъ, то навѣрное самымъ сильнымъ во всей поэтической литературѣ. Въ этомъ пунктѣ—ключъ ко всей его поэзіи, источникъ ея содержательности и оригинальной прелести.

«Олимпіецъ» Гете обнималъ своимъ орлинымъ взглядомъ величіе и красоту живой вселенной. Онъ зналъ, конечно, что этотъ свѣтлый, дневной міръ не есть первоначальное, что подъ нимъ скрыто совсѣмъ другое и страшное, но онъ не хотѣлъ останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпійскаго спокойствія. Но при такомъ одностороннемъ взглядѣ *смыслъ* вселенной не можетъ быть раскрытъ во всей своей глубинѣ и полнотѣ. Нашъ поэтъ одинаково чутокъ къ обѣимъ сторонамъ дѣйствительности; онъ никогда не забываетъ, что весь этотъ свѣтлый, дневной обликъ живой природы, который онъ такъ умѣетъ чувствовать и изображать, есть пока лишь «златотканый покровъ», расцвѣтшая и позолоченная вершина, а не основа мірозданія:

На міръ таинственный духовъ,
Надъ этой бездной безъимянной,
Покровъ наброшенъ златотканый
Высокой волею боговъ,
День—сей блистательный покровъ,
День—земнородныхъ оживленье,
Души болящей исцѣленье,
Другъ человѣкъ и боговъ!
Но меркнетъ день, настала ночь;

Пришла—и съ міра рокового
 Ткань благодатную покова,
 Собравъ, отбрасываетъ прочь.
 И *бездна* намъ обнажена
 Съ своими страхами и мглами,
 И нѣтъ преградъ межъ ей и нами:
 Вотъ отчего намъ ночь страшна.

«День» и «ночь», конечно, только видимые символы двухъ сторонъ вселенной, которые могутъ быть обозначены и безъ метафоръ. Хотя поэтъ называетъ здѣсь темную основу мірозданія «бездной *безгиманной*», но ему сказалось и собственное ея имя, когда онъ прислушивался къ напѣвамъ ночной бури:

О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной,
 О чемъ такъ сѣтуешь безумно?
 Что значить странный голосъ твой,
 То глухо-жалобный, то шумный?
 Понятнымъ сердцу языкомъ
 Твердишь о непонятной мукѣ,
 И роешь и взрываешь въ немъ
 Порой неистовые звуки.
 О, *страшныхъ* пѣсень сихъ не пой
 Про *древній хаосъ*, про родимый!
 Какъ жадно міръ души ночной
 Внимаетъ повѣсти любимой!
 Изъ смертной рвется онъ груди
 И съ *безпредѣльнымъ* жаждетъ слиться...
 О, бурь уснувшихъ не буди:
 Подъ ними хаосъ шевелится!..

V.

Хаосъ, т.-е. отрицательная безпредѣльность, зіяющая бездна всякаго безумія и безобразія, демоническіе порывы, возстающіе противъ всего положительнаго и должнаго—вотъ глубочайшая сущность міровой души и основа всего мірозданія. Космическій процессъ вводитъ эту хаотическую стихію въ предѣлы всеобщаго строя, подчиняетъ ее разумнымъ законамъ, постепенно воплощая въ ней идеальное содержаніе бытія, давая этой дикой жизни смыслъ и красоту. Но и введенный въ предѣлы всемірнаго строя, хаосъ даетъ, о себѣ зная мятежными движеніями и порывами. Это присутствіе хаотическаго, ирраціональнаго начала въ глубинѣ бытія сообщаетъ различнымъ явленіямъ природы ту свободу и силу, безъ

которыхъ не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота въ природѣ — это борьба и торжество свѣта надъ тьмою, но этимъ необходимо предполагается, что тьма есть дѣйствительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена въ торжествѣ мировой гармоніи: достаточно, чтобы свѣтлое начало овладѣло ею, подчинило ее себѣ, до извѣстной степени воплотилось въ ней, ограничивая, но не упраздняя ея свободу и противоборство. Такъ безбрежное море въ своемъ бурномъ волненіи *прекрасно*, какъ проявленіе и образъ мятежной жизни, гигантскаго порыва стихійныхъ силъ, введенныхъ, однако, въ неизблемые предѣлы, не могущихъ расторгнуть общей связи мірозданія и нарушить его строя, а только наполняющихъ его движеніемъ, блескомъ и громомъ:

Какъ хорошо ты, о, море ночное,
Здѣсь лучезарно, тамъ сизо-черно!
Въ лунномъ сіяніи, словно живое,
Ходить, и дышетъ, и блещетъ оно.
На безконечномъ, на вольномъ просторѣ
Блескъ и движеніе, грохотъ и громъ...
Тусклымъ сіяньемъ облитое море,
Какъ хорошо ты въ безлюдьи ночномъ!
Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Чей это праздникъ такъ празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звѣзды глядятъ съ высоты...

Хаосъ, т.-е. само безобразіе, есть необходимый фонъ всякой земной красоты, и эстетическое значеніе такихъ явленій, какъ бурное море, или ночная гроза, зависитъ именно оттого, что «подъ ними хаосъ шевелится». Въ изображеніи всѣхъ этихъ явленій природы, гдѣ яснѣе чувствуется ея темная основа, Тютчевъ не имѣетъ себѣ равныхъ:

Не остывшая отъ зною,
Ночь іюльская блистала,
И надъ тусклою землею
Небо, полное грозою,
Отъ зарницъ все трепетало.
Словно тяжкія рѣсницы
Разверзались порою,
И сквозь бѣглыя зарницы
Чьи-то грозныя зѣнницы
Загорались надъ землею.

Этотъ поразительный образъ гениально заканчивается поэтомъ въ другомъ стихотвореніи:

Однѣ зарницы огневья,
 Воспламеняясь чередой,
 Какъ *демоны глухонѣмые*,
Ведутъ бестду межъ собой.
 Какъ по условленному знаку,
 Вдругъ неба вспыхнетъ полоса,
 И быстро выступаютъ изъ мраку
 Поля и дальніе лѣса!
 И вотъ опять все потемнѣло,
 Все стихло въ чуткой темнотѣ,
 Какъ бы *таинственное дѣло*
 Рѣшалось тамъ—на высотѣ...

VI.

Частныя явленія суть знаки общей сущности. Поэтъ умѣетъ читать эти знаки и понимать ихъ смыслъ. «Таинственное дѣло», заговоръ «глухонѣмыхъ демоновъ» — вотъ начало и основа всей міровой исторіи. Положительное, свѣтлое начало космоса сдерживаетъ эту темную бездну и постепенно преодолеваетъ ее. Въ послѣднемъ, высшемъ произведеніи мірового процесса — человѣкѣ — внѣшній свѣтъ природы становится внутреннимъ свѣтомъ сознанія и разума,—идеальное начало вступаетъ здѣсь въ новое, болѣе глубокое и тѣсное сочетаніе съ земною душою; но, соотвѣтственно этому, глубже раскрывается въ душѣ человѣка и противоположное, демоническое начало хаоса. Ту темную основу мірозданія, которую онъ чувствуетъ и видитъ во внѣшней природѣ подъ «златотканымъ покровомъ» космоса, онъ находитъ и въ своемъ собственномъ сознаніи,—

И въ чуждомъ, неразгаданномъ, ночномъ
 Онъ узнаетъ *наслѣдье роковое*.

Главное проявленіе душевной жизни человѣка, открывающее ея смыслъ, есть любовь, и тутъ опять нашъ поэтъ сильнѣе и яснѣе другихъ отмѣчаетъ ту самую демоническую и хаотическую основу, къ которой онъ былъ чутокъ въ явленіяхъ внѣшней природы. Этому вовсе не противорѣчить прозрачный, одухотворенный характеръ тютчевской поэзіи. Напротивъ, чѣмъ свѣтлѣе и духовнѣе поэтическое созданіе, тѣмъ глубже и полнѣе, значить, было прочувствовано и пережито то темное, *не-духовное*, что требуетъ просвѣтленія и одухотворенія.

Жизнь души, сосредоточенная въ любви, есть по основѣ своей *злая* жизнь, смущающая миръ прекрасной природы:

Что это, другъ? Иль злая жизнь не даромъ,
Та жизнь—увы!—что въ насъ тогда текла,
Та злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ,
Черезъ порогъ завѣтный перешла?

Эта злая и горькая жизнь любви убиваетъ и губить:

О, какъ убійственно мы любимъ,
Какъ въ буйной слѣпотѣ страстей
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!

И это не есть случайность, а роковая необходимость земной любви, ея *предопредѣленіе*:

Любовь, любовь,—гласить преданье,—
Союзъ души съ душой родной,
Ихъ соединенье, сочетанье,
И роковое ихъ сліянье,
И поединокъ роковой.
И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжнѣе
Въ борьбѣ неравной двухъ сердець,
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,
Любя, страдая, грустно млѣя,
Оно изноетъ наконецъ.

VII.

«Злая жизнь», превращающая самую любовь въ роковую борьбу, должна кончиться смертью. Но въ чемъ-же тогда смыслъ существованія? Смыслъ природы былъ въ созданіи разумнаго существа—человѣка. Но разумъ въ природномъ человѣкѣ оказывается лишь формальнымъ преимуществомъ; онъ не въ силахъ овладѣть самою жизнью, сдѣлать ее разумною и бессмертною; на зло разуму и на погибель человѣка поднимается и въ немъ демоническое и хаотическое безуміе. Какъ въ міровомъ процессѣ природы темное начало хаоса преодолевалось внѣшнимъ образомъ, чтобы произвести свѣтлое мірозданіе, увѣнчанное явленіемъ человѣческаго разума, — такъ теперь та-же самая темная основа, открывшаяся на новой, высшей ступени въ жизни и сознаніи человѣка, должна быть побѣждена внутреннимъ образомъ, въ самомъ человѣчествѣ и при его собственномъ содѣйствіи. Достойная и вѣчная жизнь, ко-

торая требуется, но не дается разумомъ, должна быть добыта духовнымъ подвигомъ. Носитель мірового смысла не можетъ имѣть свой смыслъ *вне* себя! Если я, какъ человѣкъ, могу понимать откровеніе абсолютнаго совершенства и сознательно стремиться къ нему, то зачѣмъ же мнѣ переставать быть человѣкомъ, чтобы достигнуть этого совершенства? Если мое сознаніе, какъ форма, можетъ вмѣстить безконечное, то зачѣмъ же мнѣ искать другой формы? Очевидно, я долженъ быть не сверхъ-человѣкомъ, а только совершеннымъ человѣкомъ, т.-е. соответствующимъ въ дѣйствительности идеалу человечности.

Смыслъ человѣка есть онъ самъ, но только не какъ рабъ и орудіе злой жизни, а какъ ея побѣдитель и владыка. Если загадка мірового сфинкса разрѣшена явленіемъ природнаго человѣка, то загадка новаго сфинкса—души и любви человѣческой—разрѣшается явленіемъ духовнаго человѣка, дѣйствительнаго и вѣчнаго царя мірозданія, покорителя грѣха и смерти. И какъ первое явленіе разумнаго сознанія произошло въ природѣ и *изъ* природы, но *не отъ* природы, а отъ того разума, который изначала устроялъ самую природу для этого явленія и цѣлесообразно направлялъ естественный ходъ всемірнаго процесса,—подобнымъ образомъ и первое явленіе совершенной духовной жизни произошло въ человечествѣ и *изъ* человечества, но *не отъ* человечества, а отъ Того, Кто изначала вложилъ въ свой образъ и подобіе зародышъ высшаго совершенства, и какъ Грядущій приготавлилъ чрезъ всю исторію необходимыя условія своего дѣйствительнаго воплощенія.

Примкнуть къ «Вождю на пути совершенства», замѣнить роковое и убійственное наслѣдіе древняго хаоса духовнымъ и животворнымъ наслѣдіемъ новаго человѣка, или Сына человѣческаго,—первенца изъ мертвыхъ, — вотъ единственный исходъ изъ «злой жизни» съ ея кореннымъ раздвоеніемъ и противорѣчіемъ,—исходъ, котораго не могла миновать вѣщая душа поэта:

О, вѣщая душа моя,
О, сердце полное тревоги,
О, какъ ты бьешься на порогъ
Какъ бы двойного бытія!..
Такъ, ты—жилище двухъ міровъ:
Твой день—болѣзненный и страстный,
Твой сонъ—пророчески-неясный,
Какъ откровеніе духовъ...
Пускай страдальческую грудь
Волнуютъ страсти роковыя,—

Душа готова, какъ Марія,
Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть...

VIII.

«Роковое наслѣдіе» темныхъ силъ въ нашей душѣ не есть что-нибудь личное, оно одинаково принадлежитъ всему человѣчеству, — таково же и духовное наслѣдіе Христово: оно явилось не для одиночнаго утѣшенія отдѣльнаго человѣка, а для спасенія всего человѣчества. Но что такое это человѣчество, въ чемъ оно реально воплощается, гдѣ его дѣйствительное единство? На это у Тютчева былъ опредѣленный отвѣтъ, который я здѣсь только укажу, не оспаривая и не подтверждая его.

Какъ во всей природѣ нашъ поэтъ признавалъ живую душу, которою держится единство и цѣлость міра, подобнымъ-же образомъ онъ признавалъ и живую душу человѣчества, и видѣлъ ее—въ Россіи. Какъ, по словамъ одного учителя церкви, душа человѣческая *по природѣ* христіанка, такъ Тютчевъ считалъ Россію *по природѣ* христіанскимъ царствомъ. Такъ какъ смыслъ исторіи въ христіанствѣ, то Россія, какъ страна по преимуществу христіанская, призвана внутренне обновить и внѣшнимъ образомъ объединить все человѣчество.

Для Тютчева Россія была не столько предметомъ любви, сколько вѣры—«въ Россію можно вѣрить». Личныя чувства его къ родинѣ были очень сложны и многоцвѣтны. Было въ нихъ даже нѣкоторое отчужденіе, съ другой стороны—благоговѣніе къ религіозному характеру народа: «всю тебя, земля родная, — въ рабскомъ видѣ—Царь Небесный исходилъ, благословляя»,—бывали въ нихъ, наконецъ, минутныя увлеченія самымъ обыкновеннымъ шовинизмомъ.

Тютчевъ не любилъ Россію той любовью, которую Лермонтовъ называетъ почему-то «странною». Къ русской природѣ онъ скорѣе чувствовалъ антипатію. «Сѣверъ роковой» былъ для него «сновидѣніемъ безобразнымъ»; родныя мѣста онъ прямо называетъ *не милыми*:

Итакъ, опять увидѣлся я съ вами,
Мѣста не милыя, хотъ и родныя,
Гдѣ мыслилъ я и чувствовалъ впервые.

Ахъ, нѣтъ! не здѣсь, не этотъ край безлюдный
Былъ для души моей родимымъ краемъ,—

Не здѣсь расцвѣлъ, не здѣсь былъ величаемъ
 Великій праздникъ молодости чудной!
 Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ
 То, чѣмъ я жилъ и чѣмъ я дорожилъ!..

Значить его вѣра въ Россію не основывалась на непосредственномъ органическомъ чувствѣ, а была дѣломъ сознательно выработаннаго убѣжденія. Первое, еще неопредѣленное, но зато высоко-поэтическое выраженіе этой вѣры онъ далъ еще въ молодости—въ прекрасномъ стихотвореніи: *На взятіе Варшавы*. Въ своей борьбѣ съ братскимъ народомъ Россія руководилась не звѣрскими инстинктами, а только необходимостью «державы цѣлостъ соблюсти», для того, чтобы—

Славянъ родныя поколѣнья
 Подъ знамя русское собрать
 И вѣсть на подвигъ просвѣщенья
 Единомысленную рать.
 И это высшее сознанье
 Вело нашъ доблестный народъ;
 Путей небесныхъ оправданье
 Онъ смѣло на себя беретъ.
 Онъ чуетъ надъ своей главою
 Звѣзду въ незримой высотѣ,
 И неуклонно за звѣздою
 Идетъ къ таинственной метѣ.

Эта вѣра въ высокое призваніе Россіи возвышаетъ самого поэта надъ мелкими и злобными чувствами національнаго соперничества и грубаго торжества побѣдителей. Необычно у патріотическихъ пѣвцовъ гуманностью дышатъ заключительные стихи, обращенные къ Польшѣ:

Ты-жъ, братскою стрѣлой пронзенный,
 Судебъ свершая приговоръ,
 Ты палъ, орелъ одноплеменный,
 На очистительный костеръ!
 Вѣрь слову русскаго народа:
 Твой пепелъ мы свято сбережемъ,
 И наша общая свобода,
 Какъ фениксъ, возродится въ немъ.

Позднѣе—вѣра Тютчева въ Россію высказывалась въ пророчествахъ болѣе опредѣленныхъ. Сущность ихъ въ томъ, что Россія сдѣлается всемірною христіанскою монархіей,—

...и не пройдетъ во вѣкъ,
 Какъ то провидѣлъ Духъ и Даніиль предрекъ.

Одно время условіемъ для этого великаго событія онъ считалъ соединеніе Восточной церкви съ Западною чрезъ соглашеніе Царя съ Папой, но потомъ отказался отъ этой мысли, находя, что папство несовмѣстимо со свободой совѣсти, т.-е. съ самою существенною принадлежностью христіанства.

Отказавшись отъ надежды мирнаго соединенія съ Западомъ, нашъ поэтъ продолжалъ предсказывать превращеніе Россіи во всемірную монархію, простирающуюся, по крайней мѣрѣ, до Нила и до Ганга съ Царьградомъ, какъ столицей. Но эта монархія не будетъ, по мысли Тютчева, подобіемъ звѣринаго царства Навуходоносорова,—ея единство не будетъ держаться насиліемъ. По поводу извѣстнаго изреченія Бисмарка, Тютчевъ противопоставляетъ другъ другу *два единства*:

„Единство“—возвѣстилъ оракулъ нашихъ дней—
„Быть можетъ спаено желѣзомъ лишь и кровью“;
Но мы попробуемъ спаять его любовью,—
А тамъ увидимъ, что прочнѣй...

Великое призваніе Россіи предписываетъ ей держаться единства, основаннаго на духовныхъ началахъ; не гнилою тяжестью земнаго оружія должна она облечься, а «чистою ризою Христовою».

Надъ этой темною толпой
Непробужденнаго народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснетъ ли лучъ твой золотой?
Блеснетъ твой лучъ и оживить,
И сонъ разгонитъ и туманы...
Но старыя гнилыя раны,
Рубцы насилій и обидъ,
Растлѣныя душъ и пустота,
Что гложетъ умъ и въ сердцахъ ноетъ...
Кто ихъ излечить, кто прикроетъ?—
Ты, риза чистая Христа...

Мнѣ остается только прибавить нѣсколько словъ, чтобы изъ патріотическихъ пророчествъ нашего поэта извлечь ихъ окончательный смыслъ.

Допустимъ, становясь на точку зрѣнія Тютчева, что Россія—душа человѣчества. Но, какъ въ душѣ природнаго міра, и въ душѣ отдѣльнаго человѣка свѣтлое духовное начало имѣетъ противъ себя темную хаотическую основу, которая еще не побѣждена, еще не подчинилась высшимъ силамъ,—которая еще борется за преобла-

даніе и влечетъ къ смерти и гибели, — точно также, конечно, и въ этой собирательной душѣ человѣчества, т.-е. въ Россіи. Ея жизнь еще не опредѣлилась окончательно, она еще двоятся, увлекаемая въ разныя стороны противоборствующими силами. Воплотился-ли уже въ ней свѣтъ истины Христовой; спаяла ли она единство всѣхъ своихъ частей любовью? Самъ поэтъ признаетъ, что она еще не покрыта ризою Христа.

Значить,—можно сказать поэту,—судьба Россіи зависитъ не отъ Царьграда и чего-нибудь подобнаго, а отъ исхода внутренней нравственной борьбы свѣтлаго и темнаго начала въ ней самой. Условіе для исполненія ея всемірнаго призванія есть внутренняя побѣда добра надъ зломъ въ ней, а Царьградъ и прочее можетъ быть только слѣдствіемъ, а никакъ не условіемъ желаннаго исхода. Пусть Россія, хотя-бы безъ Царьграда, хотя-бы въ настоящихъ своихъ предѣлахъ, станетъ христіанскимъ царствомъ въ полномъ смыслѣ этого слова—царствомъ правды и милости—и тогда все остальное,—навѣрное,—приложится ей.

Владиміръ Соловьевъ.

* * *

Святая ночь на небосклонъ взошла,
И день отрадный, день любезный
Какъ золотой коверъ она свила,—
Коверъ, накинутый надъ бездной.

И, какъ видѣнье, внѣшній міръ ушелъ...
И человѣкъ, какъ сирота бездомный,
Стоить теперь и немощенъ, и голъ,
Лицомъ къ лицу предъ этой бездной темной.

И чудится давно минувшимъ сномъ
Теперь ему все свѣтлое, живое,
И въ чуждомъ, неразгаданномъ, ночномъ
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое...

* * *

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной,
Земная жизнь кругомъ объята снами.
Настанетъ ночь, и звучными волнами
Стихія бьютъ о берегъ свой.

То гласъ ея: онъ нудитъ насъ и просить.
Ужъ въ пристани волшебный ожилъ чолнъ...
Приливъ растетъ и быстро насъ уноситъ
Въ неизмѣримость темныхъ волнъ.

Небесный сводъ, горящій славой звѣздной,
Таинственно глядитъ изъ глубины;
И мы плывемъ, пылающею бездной
Со всѣхъ сторонъ окружены.

НОЧНЫЕ ГОЛОСА.

Какъ сладко дремлетъ садъ темнозеленый,
Объятый нѣгой ночи голубой;
Сквозь яблони, цвѣтами убѣленной,
Какъ сладко свѣтитъ мѣсяцъ золотой!

Таинственно, какъ въ первый день созданья,
Въ бездонномъ небѣ звѣздный сонмъ горить;
Музыки бальной слышны восклицанья,
Сосѣднѣй ключъ слышнѣе говорить.

На мѣръ дневной спустилася завѣса;
Изнемогло движенье, трудъ уснулъ;
Надъ спящимъ градомъ, какъ въ вершинахъ лѣса,
Проснулся чудный, еженочный гулъ...

Откуда онъ, сей гулъ непостижимый?
Иль смертныхъ думъ, освобожденныхъ сномъ,
Мѣръ безтѣлесный, слышный, но незримый,
Теперь роится въ хаосѣ ночномъ?..

БЕЗУМІЕ.

Тамъ, гдѣ съ землею обгорѣлой
Слился, какъ дымъ, небесный сводъ,
Тамъ въ беззаботности веселой
Безумье жалкое живетъ.

Подъ раскаленными лучами,
Зарывшись въ пламенныхъ пескахъ,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищетъ въ облакахъ.

То вспрыгнетъ вдругъ и, чуткимъ ухомъ
Припавъ къ растреснувшей землѣ,
Чему-то внемлетъ жаднымъ слухомъ
Съ довольствомъ тайнымъ на челѣ.

И мнить, что слышитъ струй кипѣнье,
Что слышитъ токъ подземныхъ водъ,

И колыбельное ихъ пѣнье,
И шумный изъ земли исходъ.

* * *

Дума за думой, волна за волной—
Два проявленья стихій одной!
Въ сердцѣ-ли тѣсномъ, въ безбрежномъ-ли морѣ,
Здѣсь—въ заключеніи, тамъ—на просторѣ:
Тотъ-же все вѣчный прибой и отбой,
Тотъ-же все призракъ тревожно-пустой!

* * *

Смотри, какъ на рѣчномъ просторѣ,
По склону вновь ожившихъ водъ,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина встѣдъ плыветъ.

На солнцѣ-ль радужно блистая,
Иль ночью, въ поздней темнотѣ,
Но всѣ, неизбѣжимо тая,
Онѣ плывутъ къ одной метѣ.

Всѣ вмѣстѣ—малыя, большія,
Утративъ прежній образъ свой,
Всѣ безразличны, какъ стихія,
Сольются съ бездной роковой!...

О, нашей мысли обольщенье,
Ты—человѣческое я!
Не таково-ль твое значенье,
Не такова-ль судьба твоя?

СУМЕРКИ.

Тѣни сизыя смѣсились,
Цвѣтъ поблѣкнулъ, звукъ уснулъ;

Жизнь, движеніе разрѣшились
 Въ сумракъ зыбкій, въ дальній гуль...
 Мотылька полетъ незримый
 Слышенъ въ воздухѣ nocturnъ...
 Часть тоски невыразимой!
 Все во мнѣ—и я во всемъ...

Сумракъ тихій, сумракъ сонный,
 Лейся въ глубь моей души,
 Тихій, томный, благовонный,
 Все залей и утиши.
 Чувства мглой самозабвенья
 Переполни черезъ край,
 Дай вкусить уничтоженья,
 Съ міромъ дремлющимъ смѣйай.

ВЕСНА.

Какъ ни гнететь рука судьбины,
 Какъ ни томить людей обманъ,
 Какъ ни браздятъ чело морщины,
 И сердце какъ ни полно ранъ;
 Какимъ-бы строгимъ испытаньямъ
 Вы не были подчинены,—
 Что устоитъ передъ дыханьемъ
 И первой встрѣчею весны?

Весна—она о васъ не знаетъ,
 О васъ, о горѣ и о злѣ:
 Безсмертьемъ взоръ ея сіяетъ,
 И ни морщины на челѣ...
 Своимъ законамъ лишь послушна,
 Въ условный часъ слетаетъ къ намъ,
 Свѣтла, блаженно-равнодушна,
 Какъ подобаетъ божествамъ.

Цвѣтами сыплеть надъ землею,
 Свѣжа, какъ первая весна:
 Была-ль другая передъ нею—
 О томъ не вѣдаетъ она.

По небу много облакъ бродить,
Но эти облака—ей:
Она ни слѣду не находитъ
Отцвѣтшихъ весенъ бытія.

Не о быломъ вздыхаютъ розы,
И соловей въ ночи поетъ;
Благоухающія слезы
Не о быломъ Аврора льетъ;
И страхъ кончины неизбѣжной
Не свѣтъ съ древа ни листа:
Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,
Вся въ настоящемъ разлита.

Игра и жертва жизни частной,
Приди-жь, отвергни чувствъ обманъ
И ринься, бодрый, самовластный,
Въ сей животворный океанъ!
Приди—струей его эфирной
Омой страдальческую грудь,
И жизни божески-всемірной
Хотя на мигъ причастенъ будь!

* * *

Такъ; въ жизни есть мгновенія,
Ихъ трудно передать,
Они самозабвенія
Земнаго благодать.

Шумятъ верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесныя
Бесѣдуютъ со мной.

Все пошлое и ложное
Ушло такъ далеко,
Все мило-невозможное
Такъ близко и легко...

И любо мнѣ и сладко мнѣ,
И миръ въ моей груди,

Дремотою обвѣянъ я...
О, время, погоди!

* * *

О, не кладите меня
Въ землю сырую!
Скройте, заройте меня
Въ траву густую.
Пусть дыханье вѣтерка
Шевелить травкою,
Свирѣль поетъ издалека,
Свѣтло и тихо облака
Плывутъ надо мною.

Л И С Т Ъ Я.

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчать,
Въ снѣга и мятели
Закутавшись, спать.
Ихъ тощая зелень,
Какъ иглы ежа,
Хоть въ вѣкъ не желтѣетъ,
Но въ вѣкъ несвѣжа.

Мы-жъ, легкое племя,
Цвѣтемъ и блестимъ,
И краткое время
На сучьяхъ гостимъ.
Все красное лѣто
Мы были въ красѣ,
Играли съ лучами,
Купались въ росѣ!..

Но птички отпѣли,
Цвѣты отцвѣли,
Луга поблѣднѣли,
Зефиры ушли.

Такъ что-же намъ даромъ
Висѣть и желтѣть?
Не лучше-ль за ними
И намъ улетѣть?

О, буйные вѣтры,
Скорѣе, скорѣй!
Скорѣй насъ сорвите
Съ докучныхъ вѣтвей.
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотимъ,—
Летите, летите!
Мы съ вами летимъ!

* * *

Когда, что звали мы своимъ,
На вѣкъ отъ насъ ушло,
И какъ подъ камнемъ гробовымъ
Намъ станеть тяжело...
Пойдемъ и взглянемъ вдоль рѣкп..
Туда—по склону водъ,
Куда стремглавъ бѣгутъ струи,
Куда потокъ несетъ,
Неодолимъ, не удержишь,
И не вернется вспять...

И чѣмъ мы далѣе глядимъ,
Тѣмъ легче намъ дышать...
И слезы льются изъ очей,
И видимъ мы сквозь слезъ,
Какъ все быстрѣе и быстрѣй
Волненье понеслось...
Душа впадаетъ въ забытье,
И чувствуетъ она,
Что вотъ умчала и ее
Великая волна...

M A L' A R I A.

Люблю сей Божій гнѣвъ, люблю сіе, незримо
 Во всемъ разлитое, таинственное зло—
 Въ цвѣтахъ, въ источникѣ прозрачномъ какъ стекло,
 И въ радужныхъ лучахъ, и въ самомъ небѣ Рима!
 Все та-жъ высокая, безоблачная твердь,
 Все также грудь твоя легко и сладко дышетъ,
 Все тотъ-же теплый вѣтръ верхи деревъ колышетъ,
 Все тотъ-же запахъ розъ... и это все—есть смерть.

Какъ вѣдать? Можетъ-быть, и есть въ природѣ звуки,
 Благоуханія, цвѣты и голоса—
 Предвѣстники для насъ послѣдняго часа
 И усладители послѣдней нашей муки.
 И ими-то судебъ посланникъ роковой,
 Когда сыновъ земли изъ жизни вызываетъ,
 Какъ тканью легкою, свой образъ прикрываетъ,
 Да утаитъ отъ нихъ приходъ ужасный свой.

EST IN ARUNDINEIS MODULATIO MUSICA RIPIS.

Пѣвучесть есть въ морскихъ волнахъ,
 Гармонія въ стихійныхъ спорахъ,
 И стройный мусикійскій шорохъ
 Струится въ зыбкихъ камышахъ.

Невозмутимый строй во всемъ,
 Созвучье полное въ природѣ;
 Лишь въ нашей призрачной свободѣ
 Разладъ мы съ нею сознаемъ.

Откуда, какъ разладъ возникъ?
 И отчего-же въ общемъ хорѣ
 Душа не то поетъ, чѣмъ море,
 И ропщетъ мыслящій тростникъ?

ИТАЛЬЯНСКАЯ ВИЛЛА.

И распростяся съ тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь,
Блаженной тѣнью, тѣнью Елисейской,
Она заснула въ добрый часъ.

И вотъ тому ужъ вѣка два иль болѣ,
Волшебною мечтой ограждена,
Въ своей цвѣтущей опочивъ юдоли,
На волю неба предалась она.

Но небо здѣсь къ землѣ такъ благосклонно!
И много лѣтъ и теплыхъ южныхъ зимъ
Провѣяло надъ нею полусонной,
Не тронувши ея крыломъ своимъ.

По прежнему фонтанъ ея лепечеть,
Подъ потолкомъ гуляетъ вѣтерокъ,
И ласточка влетаетъ и щебечеть...
И спитъ она, и сонъ ея глубокъ.

И мы вошли. Все было такъ спокойно,
Такъ все отъ вѣка мирно и темно!
Фонтанъ журчалъ, недвижимо и стройно
Сосѣднй кипарисъ глядѣлъ въ окно.

Вдругъ все смутилось: судорожный трепеть
По вѣтвямъ кипариснымъ пробѣжалъ;
Фонтанъ замолкъ, и нѣкій чудный лепеть,
Какъ-бы сквозь сонъ, невнятно прошепталъ.

Что это другъ? Иль злая жизнь не даромъ,
Та жизнь—увы!—что въ насъ тогда текла,
Та злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ.
Черезъ порогъ завѣтный перешла?

* * *

О, какъ убійственно мы любимъ,
Какъ, въ буйной слѣпотѣ страстей.

Мы то все вѣрнѣ губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!
Давно-ль, гордясь своей побѣдой,
Ты говорилъ: «она моя»...
Годъ не прошелъ,—спроси и свѣдай,
Что уцѣлѣло отъ нея?
Куда ланить дѣвались розы,
Улыбка устъ и блескъ очей?—
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.
Ты помнишь-ли, при вашей встрѣчѣ,
При первой встрѣчѣ роковой,
Ея волшебный взоръ и рѣчи
И смѣхъ младенчески-живой?
И что-жъ теперь? И гдѣ все это?
И долговѣченъ-ли былъ сонъ?
Увы! какъ сѣверное лѣто,
Былъ мимолетнымъ гостемъ онъ.
Судьбы ужаснымъ приговоромъ
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженнымъ позоромъ
На жизнь ея она легла.
Жизнь отреченья, жизнь страданья!
Въ ея душевной глубинѣ
Ей оставались воспоминанья,
Но измѣнили и онѣ.
И на землѣ ей дико стало,
Очарованіе ушло...
Толпа, нахлынувъ, въ грязь втоптала
То, что въ душѣ ея цвѣло.
И что-жъ отъ долгаго мученья,
Какъ пепелъ, сберець ей удалось?—
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль безъ отрады и безъ слезъ!
О, какъ убійственно мы любимъ,
Какъ, въ буйной слѣпотѣ страстей,
Мы то всего вѣрнѣ губимъ,
Что сердцу нашему милѣй!

* *
* *

Она сидѣла на полу
И грудѹ писемъ разбирала,
И, какъ остывшую золу,
Брала ихъ въ руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно такъ на нихъ глядѣла,
Какъ души смотреть съ высоты
На ими брошенное тѣло.

И сколько жизни было тутъ,
Невозвратно-пережитой,
И сколько горестныхъ минутъ
Любви и радости убитой!

Стоялъ я молча въ сторонѣ
И пасть готовъ былъ на колѣни,—
И страшно, грустно стало мнѣ,
Какъ отъ присущей милой тѣни.

ПОСЛѢДНЯЯ ЛЮБОВЬ.

О, какъ на склонѣ нашихъ лѣтъ
Нѣжнѣй мы любимъ и суевѣрнѣй!..
Сіяй, сіяй прощальный свѣтъ
Любви послѣдней, зари вечерней!
Полнеба охватила тѣнь,
Лишь тамъ на западѣ бродить сіянье.
Помедли, помедли вечерній день,
Продлись, продлись очарованье!
Пусть скудѣетъ въ жилахъ кровь,
Но въ сердцѣ не скудѣетъ нѣжность...
О ты, послѣдняя любовь!—
Блаженство ты, и безнадежность.

* * *

Не гулъ молвы прошелъ въ народѣ,
Вѣсть родилась не въ нашемъ родѣ—
То древній гласъ, то свыше гласъ:
Четвертый вѣкъ ужъ на исходѣ,
Свершится онъ, и грянетъ часъ!

И своды древніе Софіи
Въ возобновленной Византіи
Вновь осѣнятъ Христовъ алтарь!..
Пади предъ нимъ, о Царь Россіи,
И встань какъ Всеславянскій Царь!

* * *

Эти бѣдныя селенія,
Эта скудная природа—
Край родной долготерпѣнья,
Край ты русскаго народа!

Не пойметъ и не оцѣнитъ
Гордый взоръ иноплемennyй,
Что сквозить и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ, Царь небесный
Исходилъ, благословляя.

Гр. А. К. Толстой.

Въ статьѣ объ Огаревѣ было отмѣчено частное совпаденіе мотивовъ этого поэта съ лермонтовскими настроеніями. Лирика «скучныхъ пѣсенъ земли» дѣлаетъ Огарева какъ-бы однимъ изъ эпитимовъ Лермонтова, его легатаріемъ, если позволено воспользоваться терминомъ римскаго права. Полную въ этомъ отношеніи антитезу Огарева—Алексѣя Толстого, можно назвать другимъ сонаслѣдникомъ. Вотъ поэтъ, къ которому перешла лермонтовская увѣренность «міръ увидѣть новый», которому открылись «звуки небесъ» и заглушили для него даже весь разладъ земли. Въ сущности, личныя духовныя качества гр. А. К. Толстого во многомъ напоминаютъ характеръ Огарева: не смотря на всѣ свои боевыя порывы, это было тоже «сердце нѣжное какъ ласка». То-же смиреніе, которое Огарева заставило «затвориться безъ желчи» въ своемъ уныніи, мирило Алексѣя Толстого съ «нестройнымъ гуломъ сомнѣній и заботъ»: ему было довольно знать, что «всѣ межъ собой враждующіе звуки послѣдній часъ въ созвучіе сольются». Лермонтовскій мятежный вопросъ о томъ, «что мнѣ Богъ готовилъ, зачѣмъ такъ горько прекословилъ надеждамъ юности моей?»—и ему показался-бы гордымъ и преступнымъ. Жгучая обида жизни, «жаръ души растроченный въ пустынь»—всѣ муки Люцифера были непонятнымъ кошунствомъ для этого вѣрнаго ангела. И Сатана Алексѣя Толстого (въ поэмѣ «Донъ-Жуанъ») именно только кошунствуетъ: въ его остроумныхъ репликахъ много соли, адвокатской изворотливости, но очень мало сознанія своей правоты, еще менѣе величія и лучезарнаго могущества Демона. За то послушайте хоры ангеловъ—эти почти подлинныя «звуки небесъ»:

Едино, цѣльно, недѣлимо,
 Полно созданья своего,
 Надъ нимъ и въ немъ, невозмутимо,
 Царить отъ вѣка Божество.

Осуществилось въ немъ ясно
 Чего постичь не могъ никто:
 Несогласимое согласно,
 Съ грядущимъ прошлое слито,
 Совмѣстно творчество съ покоемъ
 Съ невозмутимостью любовь,
 И возникаютъ вѣчнымъ строемъ
 Ея созданья вновь и вновь.
 Всемирнымъ полная движенъемъ,
 Она свѣтиламъ кажетъ путь,
 Она нисходитъ вдохновеньемъ
 Пѣвца въ восторженную грудь;
 Цвѣтами рдѣя полевыми,
 Звуча въ паденьи свѣтлыхъ водъ
 Она законами живыми
 Во всемъ, что движется, живетъ.
 Всегда раздѣльна отъ вселенной,
 Но вѣчно съ ней соединена,
 Она для сердца несомнѣнна,
 Она для разума темна.

Этотъ вдохновенный гимнъ повторяется въ «Іоаннѣ Дамаскинѣ», принимая въ человѣческихъ устахъ болѣе земную окраску («Благословляю васъ, дѣса!..»). Пантеистическій характеръ этого обращенія къ природѣ немедленно сглаживается въ концѣ гимна («Греми лишь именемъ Христа мое восторженное слово!..»). Ал. Толстой былъ слишкомъ вѣрующей натурой для чистаго пантеизма, его мистическая экзальтація требовала болѣе опредѣленныхъ представленій. Въ этомъ новомъ «Іоаннѣ Дамаскинѣ», ушедшемъ отъ двора «калифа», чтобы «дышать и пѣть на волѣ», жила душа христіанина первыхъ вѣковъ, пылкая и нетерпѣливая вѣра, страстное ожиданіе освобожденія отъ земной «неволи». «Полюбить свои мученья», подобно вѣрующему и тоскующему лермонтовскому Демону, для Алексѣя Толстого было не только невозможно (какъ для разочарованнаго матеріалиста Огарева), но и ненужно—избытокъ вѣры облегчалъ ему гнѣтъ земного изгнанія. Загадка жизни, неразрѣшимая для Огарева, Ал. Толстому являлась даже не загадкой. Увѣренный и спокойный, онъ могъ мириться со своей тюрьмой, увлекаться ея впечатлѣніями. Въ своемъ отвѣтѣ человѣку земныхъ интересовъ, «гражданину», И. С. Аксакову, оправдываясь отъ упрековъ въ искусственной приподнятости и отвлеченности своего творчества, онъ признаетъ всю цѣнность стремленій, волновавшихъ Аксакова, но вмѣстѣ съ тѣмъ не скрываетъ интимной подкладки своихъ вдохновеній:

Повѣрь, и мнѣ мила природа,
И быть родного мнѣ народа;
Его стремленья я дѣлю,
И все земное я люблю.

.
И всѣ мнѣ дороги явленья,
Тобой описанныя, другъ,—
Твои гражданскія стремленья
И честной рѣчи трезвый звукъ.
Но все, что чисто и достойно,
Что на землѣ сложилось стройно,
Для человѣка то ужель,
Въ тревогъ вѣчной мірозданья,
Есть грань высокаго призванья
И окончательная цѣль?
Нѣтъ, въ каждомъ шорохѣ растенья
И въ каждомъ трепетѣ листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я въ нихъ иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа!...

Здѣсь открывается различіе между «христіаниномъ» Толстымъ и русскими поэтами пантеизма—Тютчевымъ, Фетомъ и гр. Голенищевымъ-Кутузовымъ. Поэзія послѣдняго отразила въ себѣ лишь заключительное слово пантеизма—тяготѣніе къ абсолютному, безличному сліянію съ природой. Это поэзія торжества Смерти надъ Жизнію. И потому въ тревожныхъ ея порывахъ, въ нетерпѣливомъ ожиданіи «разсвѣта»—«желаннаго дня пробужденья», замѣчается внѣшнее сходство съ ностальгіей Алексѣя Толстого. Но источники аналогичныхъ настроеній обоихъ поэтовъ глубоко различны: для поэта-пантеиста «прекрасный жизни бредъ» прекрасенъ какъ одно изъ проявленій *абстрактнаго*—«начала жизни», но чуждъ, какъ проявленіе неполное и смутное; тогда какъ для поэта-христіанина онъ дорогъ, какъ созданіе *индивидуализированнаго*, общаго «Творца», но чуждъ, какъ созданіе неполное—преддверіе той «заоблачной отчизны», разлуку съ которой велитъ ему покорно нести та-же его вѣра. Сліяніе съ природой—вотъ характерная мечта перваго; порывъ къ Небу—вотъ опредѣляющая тенденція втораго. И, соответственно, для одного, какъ для гр. Кутузова, смерть есть лишь «день пробужденья», для другого-же, какъ для Ал. Толстого, болѣе того—моментъ освобожденья («Пожди еще—неволя недолга...»).

Но если упомянутыхъ поэтовъ сближаетъ еще внѣшнее сходство ихъ настроеній, то сравненіе автора «Дамаскина» и «Грѣшницы» съ поэтомъ *полнаго* пантеизма—Фетомъ, окончательно устраняетъ поверхностное впечатлѣніе мнимаго пантеизма Толстого. Жизнь и Смерть сливались для Фета въ одно, равно доступное и близкое, цѣлое. Если смерть также не могла страшить его («Я въ жизни обмиралъ и чувство это знаю, гдѣ мукамъ всѣмъ конецъ и сладокъ томный хмѣль: вотъ почему я васъ безъ страха ожидаю—ночь безрасвѣтная и вѣчная постель...»), то, съ другой стороны, каждое данное мгновеніе существованія чувствовалось имъ настолько трепетно и ярко, что въ непосредственной жизненности этого впечатлѣнія топились всѣ умозаключенія рефлексіи («Покуда на груди земной, хотя съ трудомъ, дышать я буду—весь трепеть жизни молодой мнѣ будетъ внятенъ отовсюду...»).

Параллель съ Тютчевымъ даетъ еще болѣе богатые результаты. Теоретическіе взгляды Фета и Тютчева были, повидимому, тождественны, но послѣднему дано было больше средствъ для выраженія ихъ на практикѣ. Поэзія Тютчева есть поэзія обѣихъ сторонъ природнаго и человѣческаго міра,—поэзія раціональнаго и ирраціональнаго, «дня» и «ночи» (стихотвореніе «День и ночь»). Фетъ понималъ умомъ природу и человѣка также, какъ Тютчевъ, но на его долю досталось быть «представителемъ дня» (употребляя одно выраженіе Ал. Толстого): онъ глубже чувствовалъ красоту раціональнаго, и его поэзія есть поэзія «златотканнаго покрова». Но въ творчествѣ обоеихъ поэтовъ слышится несомнѣнная духовная близость; ея объясняется и взаимная ихъ симпатія. Тютчевъ шире Фета, который впадаетъ въ него какъ часть, но эта часть больше соотвѣтствующей части своего цѣлаго. Ясновидящій и въ глубинѣ своей скорбный духъ Тютчева невольно устремлялся къ таинственной первоначальной ночи, къ загадочной сущности человѣческаго бытія. Его поэзія стала прежде всего поэзіей «хаоса»—недоступной человѣку части внѣшняго міра, непостижимой стороны его собственнаго духа. Поэтому-то—при всей своей красотѣ—такъ разсудочны тютчевскія описанія природы, его гимны веснѣ. Фетъ умѣлъ увлекаться и пѣть несравненно беззавѣтнѣе. И оттого такъ неподражаемы весеннія пѣсни Фета, оттого остаются непревзойденными его, вдохновенія любви, и оттого-же онъ останется навсегда любимымъ поэтомъ молодости и весеннихъ впечатлѣній жизни,—только съ годами раскрывается даль тютчевской поэзіи и интимныя симпатіи переходятъ на ея сторону.

Идея «хаоса» наводитъ на параллель между Тютчевымъ и Ал. Толстымъ. Въ нашей критической литературѣ г. Влад. Соловьевъ уже пытался установить связь между ними въ этомъ отношеніи. Читателю знакома изъ этюда о Тютчевѣ его характеристика «хаоса»: г. Соловьевъ опредѣляетъ это понятіе, какъ «отрицательную безпредѣльность, зияющую бездну всякаго безумія и безобразія, демоническіе порывы, возстающіе противъ всего положительнаго и должнаго». Далѣе, отмѣчая противоположность хаотическаго, ирраціональнаго гармоническому, разумному,—противоположность «дня» и «ночи», г. Соловьевъ продолжаетъ: «Космическій процессъ вводитъ эту хаотическую стихію въ предѣлы всеобщаго строя, подчиняетъ ее разумнымъ законамъ, постепенно воплощая въ ней идеальное содержаніе бытія, давая этой дикой жизни смыслъ и красоту». Такимъ образомъ г. Соловьевъ настаиваетъ на дуалистическомъ значеніи тютчевскаго раздѣленія «дня» и «ночи». «Покровъ златотканый» отождествляется съ идеальнымъ началомъ гармоніи, свѣта и разума; «бездна» ночи съ противнымъ, зловѣщимъ началомъ «всякаго безумія и безобразія», мятежно возстающимъ противъ «всего положительнаго и *должнаго*». Г. Соловьевъ даже прямо полагаетъ весь смыслъ міровой исторіи въ томъ, что «положительное свѣтлое начало космоса сдерживаетъ эту темную бездну (хаоса) и постепенно преодолеваетъ ее». Теорія дуалистическаго противоположенія и фатальной борьбы заявлена здѣсь вполне опредѣленно.

Въ статьѣ объ Алексѣѣ Толстомъ («Вѣст. Европы», 1895 г., 5) г. Соловьевъ, устанавливая раздѣленіе школъ русской поэзіи, причисляетъ Тютчева и Ал. Толстого къ одной фазѣ («поэзія гармонической мысли»), ссылаясь на общность міросозерпанія обоихъ поэтовъ. Далѣе, обращаясь къ дуалистическимъ тенденціямъ Толстого, г. Соловьевъ снова выдвигаетъ идею «хаоса».

Мірозданіемъ раздвинуть,
Хаосъ мстительный не спитъ:
Искаженъ и опрокинутъ,
Божій образъ въ немъ дрожитъ;
И всегда, обмановъ полный,
На Господню благодать
Мутно плещущія волны
Онъ старается поднять

—такими стихами въ прологѣ «Донъ-Жуана» опредѣляетъ «четвертый духъ» сущность злаго начала. Совпаденіе этого понятія съ предыдущимъ опредѣленіемъ совершенно ясно — и г. Соловьевъ,

приписавъ ранѣе отрицательное значеніе тютчевской идеи «хаоса», и тѣмъ приблизивъ пантеиста Тютчева къ предѣламъ чистаго дуализма, теперь готовъ, обратно, приблизить дуалиста Ал. Толстого къ пантеизму, признавая за нимъ даже заслугу «отчетливаго и твердаго «проведенія» идеи всеединого Божества между Сциллою и Харибдою пантеизма и дуализма».

Однако, при всемъ желаніи, едва-ли возможно въ какомъ-бы то ни было отношеніи согласиться съ почтеннымъ критикомъ. И прежде всего представляется совершенно недоказанной дуалистическая характеристика понятія «хаоса» въ поэзіи Тютчева. Темное, ирраціональное начало міра и жизни нигдѣ въ его стихахъ не окрашивается враждебностью къ человѣку, не встрѣчаетъ осужденія. Эта бездна внушаетъ трепетъ, какъ все великое и тайное, но въ тоже время, ощущая въ самомъ себѣ присутствіе той-же бездны, человѣкъ чувствуетъ, какъ тянетъ его къ ней:

О, страшныхъ пѣсень сихъ не пой
 Про древній хаосъ, про *родимый!*
Какъ жадно міръ души ночной
Внимаетъ повѣсти любимой!
 Изъ смертной рвется онъ груди
 И съ безпредѣльнымъ жаждетъ слиться...

Уже цитированныхъ строкъ достаточно, чтобы видѣть, насколько произвольно сближеніе, допущенное г. Соловьевымъ: стихійная безбрежность всемірной жизни отнюдь не есть синонимъ злого начала, моральной категоріи «всякаго безумія и безобразія». Отрицательные эпитеты, сопровождающіе характеристику «хаоса», равно какъ догматическое отождествленіе дневныхъ явленій съ областью «положительнаго и должнаго», представляютъ, очевидно, лишь субъективное увлеченіе критика. Притомъ-же Тютчевъ, передавая намъ ужасъ бездны, страхъ «таинственнаго дѣла» — проявленія невѣдомыхъ и недоступныхъ человѣку природныхъ силъ, рядомъ умѣетъ изображать ту-же тайну ночи, то-же «наслѣдье роковое», и вѣдь этого осложненія:

Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ,
 Какъ на небѣ звѣзды рдѣютъ,
 Какъ подъ сумрачнымъ ихъ свѣтомъ
 Нивы дремлющія зрѣютъ!...
 Усыпительно-безмолвны,
 Какъ блестятъ въ тиши ночной
 Золотистыя ихъ волны,
 Убѣлennыя луной!

Тутъ тотъ-же трепеть хаоса, то-же таинственное ощущение чего-то безпредѣльнаго и неизъяснимаго, но странно понятнаго и влекущаго...

Органической вражды «дня» и «ночи» съ прогрессивнымъ торжествомъ свѣтлаго начала не только нѣтъ, но и не можетъ быть въ поэзіи Тютчева—прежде всего потому, что эта борьба была-бы поединкомъ части и цѣлаго, съ невозможнымъ преобладаніемъ первой надъ послѣднимъ. «День» и «ночь» у Тютчева совсѣмъ не равносильныя сферы: надъ *бездною* ночи день наброшенъ только какъ *покрова*, какъ «земнородныхъ оживленье». Въ океанѣ непостижимаго насъ поддерживаютъ лишь рѣдкіе островки доступнаго и раціональнаго (стихотвореніе «Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной...»). «Дуализмъ» Тютчева—если только можно обозначить этимъ терминомъ просгую параллель познаваемаго и непознаваемаго—не знаетъ Ормузда и Аримана: въ отношеніи къ земному добру и злу этотъ поэтъ, умѣвшій постигать красоту въ самой смерти («*Mal'aria*») и смерть въ самой любви («О, какъ убійственно мы любимъ!...»), былъ олицетвореніемъ глубокой мысли его ближайшаго товарища:

... если на крылахъ гордыни
Познать дерзаешь ты, какъ богъ,—
Не заноси-же въ міръ святыни
Своихъ невольничьихъ тревогъ.
Пари всезрящій и всеильный,
И—съ незапятнанныхъ высотъ,
Добро и зло, какъ прахъ могильный.
Въ толпы людскія отпадетъ.

Добро и зло—результатъ вкушенія плода съ древа *познанія*—есть принадлежность дневнаго, раціональнаго міра. Въ «хаосѣ»—въ безднѣ непознаваемаго, мы безсильны и безоружны: то, что доступно нашему сужденію и приговору, *въ силу этого* уже лежитъ за предѣлами бездны, образуя обитаемую нами территорію. Только, отрѣшаясь отъ условныхъ субъективныхъ мѣрокъ, можемъ мы заглянуть въ глубь безусловнаго и объективнаго — и полная свобода отъ всякаго догматизма была необходимымъ качествомъ поэзіи Тютчева.

Напротивъ, у Алексѣя Толстого мы встрѣчаемся съ яснымъ выраженіемъ одной изъ формъ дуализма. Выше была уже приведена характеристика его понятія «хаоса». Параллель Ормузда и Аримана—съ подчиненіемъ послѣдняго первому—проходитъ черезъ

всю поэзію Ал. Толстого. Духи въ «Донъ-Жуанъ» отвѣчаютъ Сатанѣ:

Два разнородныя начала,
Тому равно подвластны мы,
Кого премудрость указала—
Намъ быть глаголомъ идеала;
Тебѣ-же быть глаголомъ тьмы!

И Сатана добродушно соглашается, хотя замѣчаетъ не безъ нѣкоторой строптивости:

... Безъ комплимента
Мы, значить, въ родѣ парламента
Мы, такъ сказать, правленія вѣсы.
Сознайтесь, что Господь адѣсь только для красы;
Онъ—символь лишь замысловатый;
Дѣлами-жъ правимъ мы—двѣ равныя палаты;
Точнѣй: коль на него посмотришь съ двухъ сторонъ,
Выходить: вы да я, мы совокупно—Онъ.

Духи, однако-же, отнюдь не примыкаютъ къ этой теоріи дуалистическаго равновѣсія и непреклонно заявляютъ:

... бѣса умствованія ложны:
Тождественъ съ истиною Тотъ,
Кого законы непреложны,
Предъ чьимъ величіемъ ничтожны
Равно кто любить иль клянетъ!
Какъ звѣздный блескъ въ небесномъ полѣ
Яснѣй выказываетъ мгла,
Такъ на твою досталось долю
Противорѣчить Божьей волѣ,
Чтобъ тѣмъ свѣтлѣй она была!

Но и самъ Сатана въ другомъ мѣстѣ выражаетъ тотъ-же взглядъ, нѣсколько грубовато замѣчая:

...если-бъ чорта не было на свѣтѣ,
То не было-бы и святыхъ!

Онъ самъ зоветъ себя: «я живописи тѣнь; я темный фонъ картины; необходимости логическая дань»... Эта смиренная пассивность доходить въ его устахъ до прямого признанія теологической легенды:

... на утрѣ бытія,
Мечтателемъ когда-то былъ и я,
Пока не преступилъ небеснаго предѣла...

Такимъ образомъ устанавливается не только вассальная зависимость Аримана отъ Ормузда, но даже производное происхожденіе перваго отъ втораго. Сатана «Донъ-Жуана» — это Люциферъ ортодоксальныхъ вѣрованій, возмущившійся противъ *Творца* и низвергнутый архангеломъ Михаиломъ (въ поэмѣ есть прямые указанія на эту легенду). Дуализмъ Алексѣя Толстого, дѣйствительно, уклоняется отъ чистаго типа, но отнюдь не въ сторону пантеизма, а въ сторону мистической индивидуализаціи Божества.

Третій духъ поетъ въ прологѣ «Донъ Жуана»:

Богъ одинъ есть свѣтъ безъ тѣни,
Нераздѣльно въ немъ слита
Совокупность всѣхъ явленій,
Всѣхъ сіяній полнота;
Но струшаясь отъ Бога
Сила борется со тьмой;
Въ немъ могущества покой—
Вкругъ него время тревога!

Пятый духъ объясняетъ смыслъ происхожденія тьмы:

И усилямъ духа злого
Вседержитель волю далъ,
И свершается все снова
Споръ враждующихъ началъ.
Въ битвѣ смерти и рожденія
Основало Божество
Нескончаемость творенья,
Мірозданья продолженъе,
Вѣчной жизни торжество!

Г. Влад. Соловьеву кажется, что эти стихи представляютъ— «возможное въ предѣлахъ поэтической формы»—«удовлетворительное рѣшеніе» роковой проблемы: «какимъ образомъ дѣйствительность злаго начала можетъ быть согласована со всеединствомъ Божества»? «По существу» возможно однако-же возраженіе, что подчиненіе злаго начала волѣ и разуму Божества не есть еще установленіе его *raison d'être*: самостоятельное или производное, начало это равно не утрачиваетъ характера соблазна, не перестаетъ смущать насъ уже самымъ фактомъ своего бытія. Вѣдь дѣло идетъ не столько объ единствѣ, сколько о сосуществованіи всеблагаго Божества съ злымъ началомъ. Объяснять неизбежность зла тѣмъ, что на немъ основана борьба жизни и смерти и законъ непрерывнаго прогресса, — значить, собственно говоря, еще ничего не сказать, заключивъ лишь тотъ-же вопросъ въ другія формы:

чѣмъ объясняется необходимость этихъ явленій и условій имъ сопутствующихъ *)? Помимо своей догматичности, это рѣшеніе есть не болѣе какъ простая тавтологія. Въ видахъ смягченія чувствъ смущенія и обиды, быть можетъ, предпочтительнѣе даже откровенное дуалистическое противоположеніе Ормузду независимаго и непобѣдимаго Аримана. Наиболѣе-же удовлетворительнымъ—по крайней мѣрѣ въ тѣхъ-же предѣлахъ поэтической формы—кажется «пантеистическое» безразличіе Тютчева, его осторожное воздержаніе отъ абсолютной формулировки нравственныхъ категорій конкретнаго человѣческаго міра.

Мораль Алексѣя Толстого, подобно его религіи, не лишена дуалистическихъ тенденцій. Духи въ «Донъ-Жуанѣ» даютъ ясный намекъ на нихъ:

Въ тревожномъ жизни колебаньи
Всегда съ душой враждуетъ плоть...

Далѣе эта мысль получаетъ даже болѣе прочное обоснованіе въ связи съ основами міровоззрѣнія Толстого:

Вкругъ дѣлъ людскихъ загадочной чертой
Свободы грань очерчена отъ вѣка;
Но безъ насилья можетъ въ грани той
Вращаться вольный выборъ человѣка.
Лишь если онъ предѣлы перейдетъ,
Въ чужую область вступить святотатно,
Впадаетъ онъ въ судьбы водоворотъ
И увлеченъ теченьемъ невозвратно.

Такимъ образомъ какъ бы устанавливается независимость моральной жизни, ограниченной лишь внѣшней оговоркой догматическаго характера и послушной одному внутреннему броженію стихійныхъ началъ. Но скоро въ этой «границѣ» отыскивается руководящая нить. Сами духи, предвозвѣщая спасеніе Донъ-Жуана, указываютъ ее:

Любовь есть сердца покаянье,
Любовь есть вѣры ключъ живой...

Мысль этого стиха является центральной идеей философіи Алексѣя Толстого. Его вариантъ «Донъ-Жуана» написанъ для ея выра-

*) При этомъ невольно вспоминаются знаменитыя діатрибы Ивана Камазова.

женія, и въ его истолкованіи космополитическій испанскій герой является, конечно, въ одномъ изъ наилучшихъ своихъ обликовъ. Это отнюдь не воплощеніе «безсмертной пошлости людской», созданное Пушкинымъ въ его неподражаемомъ «Каменномъ Гостѣ». Донъ-Жуанъ Алексѣя Толстого есть прежде всего человѣкъ идеала и «донъ-жуанство» его совершенно лишено вульгарнаго характера. Вотъ какъ самъ онъ объясняетъ свое пониманіе любви:

Я въ ней искалъ не узкое то чувство,
 Которое, два сердца соединивъ,
 Стѣною ихъ отъ міра отдѣляетъ.
 Она меня родила со вселенной,—
 Всѣхъ истинъ я источникъ видѣлъ въ ней,
 Всѣхъ дѣлъ великихъ первую причину.
 Черезъ нее я понималъ ужъ смутно
 Чудесный строй законовъ бытія,
 Явленій всѣхъ сокрытое начало.
 Я понималъ, что всѣ ея лучи,
 Раскинутые врозь по мірозданью,
 Въ другомъ я сердца вмѣстѣ-бъ соединилъ,
 Сосредоточилъ-бы ихъ блескъ блудящій,
 И сжатымъ свѣтомъ ярко-бъ озарилъ
 Моей души неясныя стремленья!
 О, если-бы то сердце я нашелъ!
 Я съ нимъ одно бы цѣлое составилъ,
 Одно звено той безконечной цѣпи,
 Которая, въ связи со всей вселенной,—
 Восходитъ вѣчно выше къ Божеству,
 И оттого лишь слиться съ нимъ не можетъ,
 Что путь къ нему, какъ вѣчность, безъ конца!
 О, если-бы изъ тѣхъ, кого любилъ я,
 Хотя-бъ одна сдержала обѣщанье!
 Я имъ не измѣнялъ—нѣтъ, нѣтъ—онѣ,
 Онѣ меня безстыдно обманули,
 Мой идеалъ онѣ мнѣ подмѣнили,
 Подставили чужую личность мнѣ,
 И ихъ любить, на мѣсто совершенства—
 Вотъ гдѣ-бъ измѣна низкая была!

Далѣе онъ раскрываетъ свое міросозерцаніе еще полнѣе:

.....Когда любовь
 Есть ложь, то всѣ понятія и чувства,
 Которыя она въ себѣ вмѣщаетъ:
 Честь, совѣсть, состраданье, дружба, вѣрность,
 Религія, законовъ уваженье,
 Привязанность къ отечеству—все ложь!

*Религія! Не на любви-ль ея
Основано высокое начало?*

Эти знаменательныя строки есть, очевидно, прямой перифразъ слова ангеловъ: «любовь есть вѣры ключъ живой!»

Разочарованіями любви объясняется и самая чувственность Донъ-Жуана—

Любви ничтожный, искаженный снимокъ,
Который иногда, зажмуря очи,
Еще принять мы можемъ за любовь.

Вся мораль Донъ-Жуана заключена въ любви. Ея обманъ уничтожаетъ для него весь смыслъ жизни:

А совѣсть? Справедливость? Честь? Законы?—
Все громкія и пошлыя слова,
Все той-же лжи различныя названья!
Что-жъ остается въ жизни? Слава? Власть?
Но гдѣ вѣнецъ, гдѣ свѣтлая тіара,
Которые-бы стоили труда
Къ нимъ руку протянуть? Какая власть
Того насытитъ, кто искалъ блаженства?
И если-бъ всѣ живущіе народы
И всѣхъ грядущихъ поколѣній тьмы,
Всѣ пали ницъ передо мной—ужели-бъ
Я хотъ на мигъ ту жажду позабылъ,
Которой нѣтъ на свѣтѣ утоленья?

Наконецъ, онъ прямо формулируетъ:

Коль нѣтъ любви, то нѣтъ и убѣжденій;
Коль нѣтъ любви, то знайте: нѣтъ и Бога!

Болѣе того. Впослѣдствіи онъ говорить Доннѣ-Аннѣ:

Да! Въ Бога я давно уже не вѣрю,
Но вѣрить въ васъ еще не пересталъ!...

Въ лирикѣ Толстого найдутся признанія совершенно аналогичныя съ монологами его героя. Его мораль вѣрна духу христіанства, также какъ его метафизика: условно дуалистическая, она въ концѣ концовъ все подчиняетъ своей исходной заповѣди.

Психологія христіанскихъ настроеній распадается на два момента: первый составляетъ отреченіе отъ собственной личности, отъ моего «я»; второй—альтруистическое общеніе съ другими индивидуальностями, съ моими «ближними». Поэты индивидуализма умѣли иногда достигать перваго, но типичный коллективизмъ требуетъ наличности

обоихъ. У Фета въ молитвенныхъ сонетахъ («Мадонна»; «Владычица Сіона, предъ тобою...»), точно написанныхъ подъ вліяніемъ «Мадонны» Пушкина («Не множествомъ картинъ...»), схвачено настроеніе перваго момента—порыва самоотреченія, но типично, что даже здѣсь, во второй пьесѣ, поэтъ не выдерживаетъ тона, откровенно сбиваясь на защиту своихъ индивидуальныхъ правъ:

..... Покорною душою
Молюсь за ту, кѣмъ жизнь моя ясна;
Дай ей цвѣсти, будь счастлива она,—
Съ другимъ-ли избраннымъ, одна или со мною.
О, нѣтъ! прости вліянію недуга!
Ты знаешь насъ: намъ суждено другъ-друга
Взаимными молитвами спасать... *)

Даже такой яркій индивидуалистъ—притомъ нерѣдко на подкладкѣ матеріализма—какъ Майковъ, не избѣжалъ этого чувства тягости своей личности и жажды ея забвенія. Въ двухъ удивительныхъ стихотвореніяхъ («Дорогъ мнѣ передъ иконой...» и «Стою предъ образомъ Мадонны...»), передалъ онъ намъ это «начало поворота», зарожденіе христіанскаго стремленія. Но и Майковъ остановился на томъ-же моментѣ: его монахъ-живописецъ (во второмъ стихотвореніи) весь ушелъ въ индивидуальное достиженіе Божества, онъ еще близокъ къ психологіи буддизма, къ психологіи факира изъ стихотворенія Полонскаго:

И на камнѣ близъ потока,
Чтобъ стоять и ночь и день,
Вознеслася одиноко
Человѣческая тѣнь...

Правда, кисть монаха заставляла плакать всю братію, заставляетъ плакать и поэта, но не о томъ думалъ самъ художникъ, «измученъ подвигомъ духовнымъ».

Наиболѣе-же полнымъ и законченнымъ образомъ моментъ разлада и изнеможенія индивидуальности отразился въ гениальномъ стихотвореніи Тютчева:

*) Напротивъ, въ «Молитвѣ» Лермонтова («Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою...») находимъ цѣльную психологію христіанскаго чувства:

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника, въ свѣтъ безроднаго,
Но я вручить хочу дѣву невинную
Теплой Заступницѣ міра холоднаго...

О, вѣщая душа моя,
 О, сердце, полное тревоги,
 О, какъ ты бьешься на порогъ
 Какъ-бы двойнаго бытія!...
 Такъ; ты—жилище двухъ міровъ:
 Твой день—болѣзненный и страстный,
 Твой сонъ—пророчески-неясный,
 Какъ откровеніе духовъ...
 Пускай страдальческую грудь
 Волнуютъ страсти роковыя,—
 Душа готова, какъ Марія,
 Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть.

Но обычное настроеніе индивидуализма далеко отъ этого кризиса. Непрерывно отзывчивый на всѣ впечатлѣнія жизни, истый индивидуалистъ всегда готовъ сказать вмѣстѣ съ Фетомъ:

... какъ въ росинкѣ чуть замѣтной
 Весь солнца ликъ ты узнаешь,
 Такъ слитно въ глубинѣ завѣтной
 Все міроздаѣе ты найдешь.

Эта удовлетворенная замкнутость многоцвѣтной личности была непонятна для коллективиста Алексѣя Толстого. Изолированное наслажденіе индивидуализма замѣнялось для него радостью общенія съ другими единичными проявленіями общаго первоисточника, сознаніемъ взаимнаго сродства и симпатіи въ явленіяхъ вселенной. Если не имѣть въ виду похвалы или порицанія, то можно сказать, что творчество Фета или Тютчева носить эгоистическій характеръ—преимущественное вниманіе этихъ авторовъ обращено на индивидуальныя процессы; творчество-же Ал. Толстого отмѣчено характеромъ альтруистическимъ—поэтъ даже для главнѣйшихъ проявленій личной жизни ищетъ прежде всего аналогіи въ окружающемъ. Абстрактное, безличное «Начало Жизни» пантеистовъ у мистика Толстого преобразуется въ индивидуализированное, требовательное начало «Люби». «Просвѣтленный» земнымъ его проявленіемъ, поэтъ не только не замыкается въ повышенной интенсивности личныхъ ощущеній, но, наоборотъ, тѣмъ яснѣе прозрѣваетъ ихъ связь съ «любовью» вселенной:

Меня, во мракѣ и пыли
 Досель влачившаго оковы,
 Любви крылья вознесли
 Въ отчизну пламени и слова...

.

И съ горней выси я сошелъ,
Проникнуть весь ея лучами,
И на волнующійся долъ
Взираю новыми очами.
И слышу я, какъ разговоръ
Вездѣ немолчный раздается,
Какъ сердце каменное горъ
Съ любовью въ темныхъ нѣдрахъ бьется,
Съ любовью въ тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И подъ древесною корой,
Весною свѣжей и пахучей,
Съ любовью въ листья сокъ живой
Струей подымается пѣвучей.
И вѣщимъ сердцемъ понялъ я,
Что все рожденное отъ Слова,
Лучи любви кругомъ лія,
Къ нему вернуться жаждетъ снова,
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытія
Неудержимо къ Божью лону,
И всюду звукъ, и всюду свѣтъ,
И всѣмъ мірамъ одно начало,
И ничего въ природѣ нѣтъ,
Что-бы любовью ни дышало.

Конечно, аналогичное прозрѣніе, раскрывающееся въ душѣ съ разсвѣтомъ любви, знакомо и поэзіи индивидуализма, но было-бы ошибочно сближать эти настроенія до полного совпаденія. Собственно говоря, любовь, вопреки своему «коллективному» облику, есть явленіе индивидуализма (подразумѣвая, конечно, любовь половую). Въ этомъ чувствѣ человѣческая индивидуальность не только не ограничивается и не стирается, какъ въ явленіяхъ подлиннаго коллективизма, а напротивъ, находитъ себѣ новое закрѣпленіе и окончательное выраженіе. «Любить» — гласитъ одинъ афоризмъ — «значить потерять свое я, чтобы найти другое, лучшее». Точнѣе будетъ выразиться, что любить значитъ преобразовать свое прежнее я въ другое, лучшее. Изъ положенія любви, какъ явленія индивидуализма, вытекаютъ и всѣ особенности этого чувства, его сила и слабость. Отсюда ея зависимость отъ сходства индивидуальностей, съ подчиненіемъ менѣе законченной личности второй, болѣе цѣльной, ни въ всякаго иного ихъ соотношенія; отсюда ея важность и незаменимое значеніе въ жизни индивидуальности; отсюда наконецъ и

ея ограничительное, «буддійское» вліяніе, ея оправданіе покоя удовлетворенной, самодовлѣющей личности. Поэтому-же наиболее яркая и выработанная поэзія любви находится въ лирикѣ индивидуалистовъ. Неподражаемое стихотвореніе Тютчева «Предопредѣленіе» даетъ намъ какъ-бы формулу любви:

Любовь, любовь—гласить преданье,—
Союзъ души съ душой родной,
Ихъ соединенье, сочетанье,
И роковое ихъ сліянье,
И поединокъ роковой!

Здѣсь, на этой частной темѣ, снова раздѣлились роли Тютчева и Фета, сообразно общему различію. Уже вторая половина стихотворенія показываетъ, куда клонятся художественныя симпатіи Тютчева и спеціальныя свойства его таланта:

И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжнѣе,
Въ борьбѣ неравной двухъ сердець,
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,
Любя, страдая, грустно млѣя,
Оно изноетъ наконецъ.

Въ рядѣ стихотвореній («Не говори: меня онъ какъ и прежде любить...»; «О, какъ убійственно мы любимъ!...»; «Она сидѣла на полу...»; «Послѣдняя любовь» и др.) Тютчевъ постоянно обращается съ грустнымъ вниманіемъ къ «роковому поединку» — къ таинственной, ирраціональной сторонѣ любви, — тому стихійному «хаосу», который скрытъ и въ этой области человѣческаго чувства за свѣтлымъ его прологомъ. Напротивъ, вдохновеніе Фета посвящено этой ясной полосѣ, блаженству любви. До глубокой старости изъ подъ его пера вырывались искренніе, знойные гимны счастья. Его лучшее стихотвореніе на эту тему — носящее знаменательное названіе «Alter ego» — съ необыкновенною силой выражаетъ власть «рокового сліянія»:

У любви есть слова, тѣ слова не умрутъ,
Насъ съ тобой ожидаетъ особенный судъ,
Онъ съумѣетъ насъ сразу въ толпѣ различить,
И мы вмѣстѣ придемъ, насъ нельзя разлучить!

Возвращаясь теперь къ Алексѣю Толстому, мы не находимъ въ его стихахъ о любви всей глубины и напряженности индивидуальнаго чувства. Его «коллективистская» любовь граничитъ съ простой симпатіей альтруизма и порою страннымъ образомъ готова сама сознаться въ своей неудовлетворенности и условности:

Слеза дрожить въ твоёмъ ревнивомъ взорѣ—
 О, не грусти!—ты все мнѣ дорога!
 Но я любить могу лишь на просторѣ—
 Мою любовь, широкую какъ море,
 Вмѣстить не могутъ жизни берега!

Когда Глагола творческая сила
 Толпы міровъ воззвала изъ ночи,
 Любовь ихъ всѣ, какъ солнце, озарила,
 И лишь на землю, къ намъ, ея свѣтила
 Нисходятъ порознь рѣдкіе лучи.

И порознь ихъ отыскивая жадно,
 Мы ловимъ отблескъ вѣчной красоты;
 Намъ вѣстью лѣсъ о ней шумить отрадной.
 О ней гремитъ потокъ струею холодной,
 И говорятъ, качаяся, цвѣты.

И любимъ мы любовью раздробленной
 И тихій шепотъ вербы надъ ручьемъ,
 И милой дѣвы взоръ на насъ склоненный,
 И звѣздный блескъ, и всѣ красы вселенной,
 И ничего мы вмѣстѣ не сольемъ.

Но не грусти—земное минетъ горе,
 Позди еще—неволя недолга—
 Въ одну любовь мы всѣ сольемся вскорѣ,
 Въ одну любовь, широкую какъ море,
 Что не вмѣстятъ земные берега.

Любовь для Алексѣя Толстого только одинъ моментъ жизни, и даже не господствующій, не исключительный—въ его глазахъ почти равносильны и «тихий шепотъ вербы надъ ручьемъ» и «милой дѣвы взоръ на насъ склоненный». Не менѣе характерно тоскливое признаніе: «и ничего мы вмѣстѣ не сольемъ». Вотъ типичная черта психологіи коллективизма—моментъ совершенно обратный субъективному синтезу индивидуализма («...такъ слитно въ глубинѣ за-вѣтной все мірозданье ты найдешь...»). Исходя изъ теоретическаго признанія объективнаго единства («И всѣмъ мірамъ одно начало...»), поэтъ-коллективистъ стремится подмѣтить всѣ конкретныя выраженія этой идеи, его творческое вниманіе направлено къ анализу единства вселенной, если можно такъ выразиться. Не будучи въ состояніи постигнуть вѣчную тайну всемірнаго синтеза, онъ довольствуется разрозненными намеками на ея сущность, которые встрѣчаются въ пространствѣ доступномъ его наблюденію. Напротивъ, для поэта-индивидуалиста типическій «методъ рѣшенія»

общей загадки скрывается въ глубинѣ его собственнаго духа—въ той всесторонней полнотѣ ощущеній, которая одновременно и убѣждаетъ его въ абсолютномъ своемъ значеніи и даетъ ему, въ конкретномъ своемъ *синтезѣ*, возможное удовлетвореніе. Въ минуту полнаго проникновенія вѣшной красотой Фетъ восклицаетъ:

И вѣрить хочется, что все, что такъ прекрасно,
Такъ тихо властвуетъ въ прозрачный этотъ мигъ,
По небу и душѣ проходить не напрасно,
Какъ оправданіе стремленій роковыхъ.

Заимствуя термины изъ столь неудачной тургеневской параллели между Пушкинымъ и Некрасовымъ, можно назвать поэта типа Алексѣя Толстого *центроблжнымъ* и поэта фетовскаго типа *центральнымъ*.

Любовь, какъ явленіе альтруизма, составляетъ для Ал. Толстого то-же «оправданіе стремленій роковыхъ». Вспомнимъ Донъ-Жуана:

О, если-бы то сердце я нашелъ!
Я съ нимъ одно-бы цѣлое составилъ!
Одно звено той безконечной цѣпи,
Которая, *въ связи со всей вселенной*,
Восходитъ вѣчно выше къ Божеству,
И оттого лишь слиться съ нимъ не можетъ,
Что путь къ нему, какъ вѣчность, безъ конца!

Вѣрный самоотверженному исканію коллективиста, поэтъ какъ-бы игнорируетъ тотъ пышный расцвѣтъ индивидуальности, который приносить съ собою любовь. Даже сильнѣйшій изъ соблазновъ земли не въ силахъ покорить этотъ строгій духъ, заставить его измѣнить божественной мечтѣ. И это чувство, какъ всю свою личность, подчиняетъ онъ основной своей идеѣ, и мы видѣли, что ни грусть, ни ревность его подруги не заставили его поколебаться. Такъ могли-бы отвѣчать своей «возлюбленной о Господѣ» первые христіане, «коллективисты» религіозныхъ общинъ, догму которыхъ напоминаетъ это мистическое исповѣданіе вѣры. Все для Алексѣя Толстого, всякая подробность жизни имѣетъ значеніе, важна, не сама по себѣ, а лишь какъ осколокъ цѣлаго, намекъ на будущее его возстановленіе, когда

Всѣ межъ собой враждующіе звуки
Послѣдній часъ въ созвучіе сольются;
Въ одинъ порывъ смѣшаетъ въ сердцѣ гордомъ
Всѣ чувства, врозь которыя звучать,
И разрѣшить торжественнымъ аккордомъ
Ихъ голосовъ мучительный разладъ.

Вотъ полная противоположность дисгармоническому матеріализму
Огарева съ его безнадежнымъ:

Аккордъ намъ полный, господа,
Звучать не будетъ никогда!

«Мажорный тонъ» поэзіи гр. А. К. Толстого, который самъ поэтъ, считавшій его почему-то своей исключительной собственностью, нѣсколько наивно приписывалъ близости своей къ природѣ въ качествѣ записного охотника (см. автобіографію), объясняется, конечно, несравненно болѣе глубокими причинами. «Блаженъ, кто вѣруеть» — вѣра Ал. Толстого и сообщила всей его жизни ясный, теплый, хотя, быть можетъ, слишкомъ безмятежный колоритъ.

«Ангеламъ невѣдомы страсти» — крайности мученій и наслажденій любви миновали Ал. Толстого: всѣ его обращенія къ «ней» проникнуты ровнымъ чувствомъ — изрѣдка тихою, покорною грустью; чаще свѣтлымъ, спокойнымъ сознаніемъ счастья. Это не поэтъ сердечныхъ бурь — это поэтъ семейнаго согласія и довѣрія. Но съ этой привычной близостью родней души онъ не хотѣлъ-бы, не можетъ разстаться: съ ея утратою его вѣра не могла-бы быть оправдана — разладъ земли утвердился-бы на небѣ. Напротивъ, существованіе этого чувства, его интенсивность представляютъ для поэта новое подкрѣпленіе его вѣры: аккордъ земной служитъ прелюдіей не-земного. Онъ вполне понимаетъ идеальныя стремленія своей подруги, ея мистическую печаль, раздѣляемую имъ самимъ:

Грустно жить тебѣ, о, другъ, я знаю,
И понятна мнѣ твоя печаль:
Отлетѣла-бъ ты къ родному краю
И земной весны тебѣ не жаль...

Но онъ проситъ свою подругу «не спѣшить» — не разрывать
союза ихъ вѣчной, божественной любви:

Сліясь въ одну любовь, мы цѣпи безконечной
Единое звено,
И выше восходить, въ сіянье правды вѣчной,
Намъ врозь не суждено!

Но роковая минута все-же должна или, по крайней мѣрѣ, можетъ наступить. Поэтъ задумывается надъ этою возможностью и его отношеніе къ моменту смерти вполне отвѣчаетъ всему строю его міросозерцанія:

Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ,
 Вокругъ міровъ вращаются міры;
 Тамъ сонмы душъ возносятся стройнымъ хоромъ.
 Своихъ молитвъ немолчные дары.
 Блаженствомъ тамъ сіяющіе лики
 Отвращены отъ міра суеты,
 Не слышны имъ земной печали клики,
 Не видны имъ земныя нищеты.
 Все, что онѣ желали и любили,
 Все, что къ землѣ привязывало ихъ,
 Все на землѣ осталось горстью пыли,
 А въ небѣ нѣтъ ни близкихъ, ни родныхъ.
 Но ты, о, другъ, лишь только звуки рая,
 Какъ дальній зовъ, въ твою проникнуть грудь
 Ты обо мнѣ подумай, умирая,
 И хоть на мигъ блаженство позабуди!
 Прощальный взоръ бросая нашей жизни,
 Душою, другъ, взгляди въ мои черты,
 Чтобы узнать въ заоблачной отчизнѣ
 Кого звала, кого любила ты.
 Чтобы не могъ моей молящей рѣчи
 Небесный хоръ навѣки заглушить,
 Чтобы тебѣ, до нашей новой встрѣчи,
 Въ странѣ лучей и помнить, и грустить!

Параллель этого стихотворенія съ «Alter ego» Фета напрашивается сама собою. Быть можетъ, это единственная уступка нашего поэта требованіямъ индивидуальности. Но и здѣсь, убѣжденная въ своемъ правѣ, увѣренная въ его осуществленіи, торжественно-спокойная мысль Фета («насъ нельзя разлучить!») переходитъ въ робкую мольбу, въ своеобразное желаніе исключенія изъ общаго правила, по которому «въ небѣ нѣтъ ни близкихъ, ни родныхъ». И, вмѣстѣ съ тѣмъ, это—просьба о жертвѣ, о временномъ отказѣ отъ желаннаго удовлетворенія («и хоть на мигъ *блаженство* позабуди!»). Настроеніе Ал. Толстого прямо противоположно ликующему индивидуализму Фета, его смѣлому канонизированію своего чувства. Но это послѣднее колебаніе передъ бездною абсолютнаго, это неожиданное смущеніе личности объясняется, конечно, все тою-же высокою цѣнностью любви въ общемъ строѣ морали и религіи Ал. Толстого, гдѣ чувство сердца служитъ фундаментомъ всего зданія, играетъ роль ариадниной нити:

Любовь есть вѣры ключъ живой!

П. Перцовъ.

ИЗЪ «ІОАННА ДАМАСКИНА».

Благословляю васъ, лѣса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу,
И голубыя небеса!
И посохъ мой благословляю,
И эту бѣдную суму,
И степь отъ краю и до краю,
И солнца свѣтъ, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищій, я иду,
И въ полѣ каждую былинку,
И въ небѣ каждую звѣзду!
О, если бѣ могъ всю жизнь смѣшать я,
Всю душу вмѣстѣ съ вами слить;
О, если бѣ могъ въ мои объятія
Я васъ, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
Какъ горней бури приближенъе,
Какъ натискъ пѣнящихся водъ,
Теперь въ груди моей растетъ
Святая сила вдохновенья.
Ужъ на устахъ дрожить хвала
Всему, что благо и достойно—
Какія-жъ мнѣ воспѣть дѣла,
Какія битвы, или войны?
Гдѣ я для дара моего
Найду высокую задачу,
Чѣе передамъ я торжество,

О, если въ этотъ часъ ты также имъ объята,
 Мы думою, скажи, проникнуты-ль одной,
 И видится-ль тебѣ туманный образъ брата,
 Съ улыбкой грустною склоненный надъ тобой?

* *
 *

Порой, среди заботъ и жизненнаго шума
 Внезапно набѣжить мучительная дума
 И гонить образъ твой изъ горестной души;
 Но только лишь одинъ останусь я въ тиши,
 И суетнаго дня минуетъ гулъ тревожный,
 Смиряется во мнѣ волненіе жизни ложной,
 Душа, какъ озеро, прозрачна и сквозна,
 И взоръ я погрузить въ нее могу до дна;
 Спокойной мыслію, ничѣмъ невозмутимой,
 Твой отражаю ликъ, желанный и любимый,
 И ясно вижу глубь, гдѣ, какъ блестящій кладъ,
 Любви моей къ тебѣ сокровища лежатъ.

* *
 *

Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ,
 Теплый паръ восходитъ отъ земли,
 И кувшинчикъ синій расцвѣтаетъ,
 И зовутъ другъ друга журавли.

Юный лѣсъ, въ зеленый дымъ одѣтый,
 Теплыхъ грозъ нетерпѣливо ждетъ,
 Все весны дыханіемъ согрѣто,
 Все кругомъ и любить, и поетъ;

Утромъ небо ясно и прозрачно;
 Ночью звѣзды свѣтятъ такъ свѣтло—
 Отчего-жъ въ душѣ твоей такъ мрачно,
 И зачѣмъ на сердцѣ тяжело?

Грустно жить тебѣ, о другъ, я знаю,
 И понятна мнѣ твоя печаль:

Отлетѣла-бъ ты къ родному краю
И земной весны тебѣ не жаль.

* * *

О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище,
Среди міровъ иныхъ.
Помедли здѣсь со мной, на этомъ пепелищѣ
Твоихъ надеждъ земныхъ.

Отъ праха отрѣшась, не удержать полета
Въ невѣдомую даль—
Кто будетъ въ той странѣ, о, другъ, твоя забота
И кто твоя печаль?

Въ тревогѣ бытія, въ безбрежномъ колыбаньи
Безъ цѣли и слѣда,
Кто въ жизни будетъ мнѣ и радость, и дыханье,
И яркая звѣзда?

Сліясь въ одну любовь, мы цѣпи безконечной
Единое звено,
И выше восходить, въ сіянье правды вѣчной,
Намъ врозь не суждено.

А. А. Фетъ.

I.

Какъ Паллада, рожденная во всеоружіи своихъ достѣховъ, такъ художественное произведеніе сразу является міру законченнымъ на всю вѣчность, такъ образъ самого художника предстаетъ потомству единымъ, цѣльнымъ и сложившимся. У художника одно имя, одинъ возрастъ, одинъ обликъ: это возрастъ и обликъ характера его дарованія, символомъ которыхъ является имя, въ силу этого легко становящееся нарицательнымъ, подобно именамъ героевъ, выводимыхъ поэтами въ своихъ произведеніяхъ. Анакреонъ—вѣчно юный старецъ; Гомеръ—вѣчный слѣпецъ-нищій; хитрые китайцы рассказываютъ даже, что ихъ геніальный старецъ Лао-цзы такъ и родился на свѣтъ съ сѣдыми волосами; вся его біографія въ томъ и состоитъ, что онъ былъ и оставался всю жизнь мудрымъ старцемъ, написавшимъ Тао-те-кинъ. Потомство и въ этомъ отношеніи счастливѣе современниковъ, какъ читатель счастливѣе самого поэта. На глазахъ художника—его произведеніе, самъ художникъ—на глазахъ современныхъ ему поколѣній, лишь медленно и трудно dorостаютъ до себя самихъ, до той цѣльности и полноты особенностей и чертъ, въ какихъ будутъ извѣстны и памяты зрителямъ и потомству. Мы, современники, старшіе и младшіе, поневолѣ знаемъ относительно Фета, что онъ когда-то былъ уланомъ, потомъ практичнымъ помѣщикомъ, бранившимъ, богатыя, новые порядки; мы поневолѣ знаемъ, что старъ и малъ когда-то глумились надъ его произведеніями, то провозглашая ихъ пошлостью и порнографіей, то заявляя, что ихъ авторъ—гнусный реакціонеръ, а стало быть эти произведенія никуда не годятся; потомство-же все это или забудетъ, или-же будетъ разсматривать лишь какъ забавное личное воспоминаніе великаго старца, автора «Вечернихъ огней». То-же самое случится и съ пониманіемъ самой сущности

его произведеній. Только благодаря глубокимъ вдохновеніямъ «Вечернихъ огней» приобрѣли въ нашихъ глазахъ совершенно новый смыслъ его плѣнительныя, благоухающія пѣсни молодости, эти поэтическія предчувствія философски просвѣтленныхъ созерцаній старости поэта; между тѣмъ потомство начнетъ съ того, что долго было тайной не только для современниковъ, но и для самого автора; начнетъ съ ключа, а не съ запертой двери, начнетъ съ картины, а не съ наброска углемъ на холстѣ; и потому смѣло начнетъ съ восторженныхъ похвалъ, которыми такъ робко и скупомыслы кончаютъ на нашихъ глазахъ современники. Фетъ въ этомъ смыслѣ до такой степени поэтъ будущаго, что съ полнымъ правомъ могъ бы во главѣ своихъ стихотвореній поставить знаменитыя слова Шопенгауера: «черезъ головы современниковъ передаю мой трудъ грядущимъ поколѣніямъ».

Съ этихъ общихъ соображеній необходимо начинать критическое выясненіе философской сущности произведеній Фета. Огромное большинство читателей, знакомое по юмористическимъ или прямо ругательнымъ отзывамъ и почти никогда не по собственному чтенію съ произведеніями молодости Фета, нерѣдко даже не слыхивало о его «Вечернихъ огняхъ». Между тѣмъ, какъ уже сказано выше, пѣсни молодости—лишь эпизодъ въ дѣятельности Фета, лишь проба пера, почти бессознательное проявленіе того, что сознательно и твердо выражено въ лучшихъ пьесахъ «Вечернихъ огней». Особенно ярко можно даже выставить различіе двухъ періодовъ его дѣятельности, сопоставивъ принадлежащія къ каждому изъ нихъ пьесы, написанныя на однородную или близкую тему. Таковы напр. стихотворенія «Я долго стоялъ неподвижно», принадлежащее къ числу раннихъ произведеній Фета, и «Среди звѣздъ», помѣщенное въ первомъ выпускѣ «Вечернихъ огней». Въ одномъ случаѣ поэтъ прямо

Хватаетъ на лету и закрѣпляетъ вдругъ

И темный бредъ души, и травъ неясный запахъ,

а во второмъ передъ нами не бредъ, не «тѣнь отъ облака летучаго», которую «не пришьешь гвоздемъ къ сырой землѣ», но живой лучъ, выхваченный изъ мірозданія и навѣки сіяющій свѣтомъ цѣлаго пантеистическаго міровоззрѣнія. Какъ соловьи, Фетъ пѣлъ только на зарѣ, въ молодости и въ старости. Но его трудовой полдень ознаменовался для него изученіемъ философіи Шопенгауера, этого почти столько-же художника, сколько фило-

софа, этого Платона новаго міра, который создалъ для насъ своего Канта, какъ древній Платонъ своего Сократа. Пантеистъ по самой сущности своей природы, Фетъ не поступилъ своимъ воззрѣніемъ въ угоду многочисленнымъ оговоркамъ Шопенгауера и многое въ его ученіи упростилъ, а многое за него до конца договорилъ. Философія и жизненный опытъ ни на іоту не измѣнили поэта, но для него самого прояснили живую душу его могущественнаго лиризма. Этотъ философъ-поэтъ до такой степени поэтъ философовъ, что его произведенія неизбѣжно станутъ современемъ настольною книгою каждаго мыслителя, каждаго ученаго, наконецъ, каждаго философски мыслящаго человѣка, если только онъ не безусловно лишенъ чувства изящнаго. Самая содержательность этой поэзіи сдѣлала ее столь непопулярной, какой она отчасти остается и до настоящаго времени. Между тѣмъ невольное чутье подсказало даже толпѣ, какая великая творческая сила этотъ непонятый и осмѣиваемый поэтъ: насколько не трудно встрѣтить образованнѣйшаго человѣка, не читавшаго ни строки Фета, настолько-же трудно найти гимназиста, который бы не зналъ его имени. Какъ бы то ни было, безъ посягательства на исчерпывающую характеристику поэзіи Фета въ ея цѣломъ, въ дальнѣйшемъ дана будетъ попытка выяснить ея основныя философскіе элементы, не предваряющая окончательнаго приговора надъ этою поэзіею грядущихъ поколѣній, но за то и совершенно пренебрегающая узкой, пристрастной и случайной оцѣнкой современниковъ.

II.

Философское и художественное творчество чрезвычайно близко граничатъ одно съ другимъ и однакоже между ними не замѣчается должнаго взаимнаго вліянія. Въ нашей современной дѣйствительности философія гораздо тѣснѣе связана съ наукой, чѣмъ съ искусствомъ, хотя съ послѣднимъ у нея едва-ли не больше родства, чѣмъ съ первой. Правда, нашъ вѣкъ ознаменовался было революціей точныхъ наукъ, забывшихъ мудрую притчу Мененія Агриппы и удалившихся на новую Священную гору—мнимыя высоты позитивизма; но «всему научить насъ дряхлѣющее время», взявшее на себя роль осторожнаго патриція и понемногу приводящее вновь все человѣческое знаніе въ подчиненіе высшимъ философскимъ обобщеніямъ. Совершенно иначе обстояло дѣло съ искусствомъ: какъ въ старину къ религіи, оно въ новѣйшее время въ лицѣ всѣхъ высшихъ своихъ представителей льнуло къ философіи, кото-

рая его почти игнорировала, пока наконецъ на нашихъ глазахъ грубѣйшій цинизмъ и матеріализмъ не воцарились въ его области въ видѣ реализма съ одной и декадентства съ другой стороны. Въ настоящее время и философія болѣе отзывчиво, чѣмъ прежде, пошла было на помощь искусству, — но уже было поздно, разрывъ уже совершился. Вина въ немъ лежитъ безусловно на философахъ: они все свое вниманіе посвящали методологіи наукъ, чуждаясь вопросовъ методологіи эстетической, которая, вновь напомнимъ, гораздо ближе къ теоріи философскихъ умозрѣній, чѣмъ къ научной діалектикѣ. Почти безъ исключеній, философское образованіе — наилучшій эстетическій цензъ, тѣмъ болѣе, что элементъ эстетичности неотъемлемо присущъ всякому творчеству вообще. Безспорно, что и логика и математика включаютъ въ себя своеобразные эстетическіе элементы, которыхъ не исключаютъ ни геометрическія, ни юридическія разсужденія, ни даже выработанныя канцелярскія бумаги. Сжатость и замкнутость всякихъ умозрительныхъ построеній, строгость и послѣдовательность умозаключеній вездѣ и всегда проявляютъ извѣстную красоту. Если можно такъ выразиться, истина не включаетъ въ себя красоты, а только ею отливается; красота — какъ бы поверхность истины. Не потому-ли рѣдки философы, успѣшно стремящіеся къ художественному творчеству, — Платонъ единственный примѣръ, если не подымать неразрѣшимо спорнаго вопроса о первобытныхъ эллинскихъ философскихъ поемахъ или о принадлежности Бекону драмъ Шекспира, — и рѣдки крупные художники, которые сознательно или безсознательно не затрогивали бы въ своихъ произведеніяхъ глубочайшихъ философскихъ проблемъ?

Изъ всѣхъ лирическихъ поэтовъ, доселѣ жившихъ, ни одинъ до такой степени не сумѣлъ себѣ усвоить чисто философскій духъ и остаться притомъ исключительно поэтомъ, какъ Фетъ. Этотъ великій художникъ — какое-то золотое звено, связующее красоту съ истиной, золотой мостъ между философіей и поэзіей. Прозрѣніе въ сущность вещей — вотъ въ его глазахъ предѣльное напряженіе художественнаго творчества:

Въ вашихъ чертогахъ мой духъ окрылился,
Правду провидитъ онъ съ высей творенья,

обращается онъ къ поэтамъ. И тѣмъ не менѣе это прозрѣніе остается у него на дѣлѣ и въ словѣ только слѣдствіемъ поэтического полета: истина ему открывается только на вершинахъ эсте-

тического восторга, которыхъ онъ притомъ для нея не покидаетъ и не для нея достигаетъ. Онъ къ ней приближается своимъ путемъ, непостижимымъ для точнаго мыслителя и между тѣмъ ему глубоко родственнымъ. Въ результатахъ поэтъ и мыслитель сходятся; они только приходятъ различными дорогами. Мыслитель обосновываетъ истину на посылкахъ и предпосылкахъ; художникъ удостовѣряетъ ее красотою выводовъ. Философъ выводитъ явленіе изъ долгихъ вычисленій, изъ сочетаній законовъ, опредѣленій и теоремъ; поэтъ — само явленіе. Въ одномъ изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ стихотвореній Фетъ прямо сопоставляетъ безгласнаго со всѣмъ своимъ глубокомыслимъ мудреца и все на свѣтѣ могущаго въ полной наивности выразить поэта:

Какъ бѣденъ нашъ языкъ: хочу—и не могу!..
 Не передать того ни другу, ни врагу,
 Что буйствуетъ въ груди прозрачною волною!
 Напрасно вѣчное томленіе сердецъ,
 И клонить голову маститую мудрець
 Предъ этой ложью роковою.
 Лишь у тебя; поэтъ, крылатый слова звукъ
 Хватаетъ на лету и закрѣпляетъ вдругъ
 И темный бредъ души, и травъ неясный запахъ;
 Такъ, для безбрежнаго покинувъ скудный долъ,
 Летитъ за облака Юпитера орелъ,
 Снопъ молніи неся мгновенный въ вѣрныхъ лапахъ.

Потому-то и можетъ истинный философъ углубиться въ свою работу до незнанія поэзіи; но встрѣтиться во взглядахъ съ поэтомъ лучшее доказательство въ мірѣ для мыслителя, доказательство и вмѣстѣ съ тѣмъ толкованіе: дѣло въ томъ, что поэтъ воплощаетъ волевою стороною духа; онъ *чувствуетъ* мысли и переживаетъ ихъ, онъ *дочувствуется* до истины:

Nur durch das Morgenthor des Schönen
 Dringt er in der Erkenntniss Land;

Философъ, который до нея медлительно и трудно добирается холднымъ и строгимъ размышленіемъ по утомительнымъ ступенямъ отвлеченныхъ силлогизмовъ, невольно увлекается и поражается стремительными, разрозненными намеками поэта, не связанными нитями умозаключеній, какъ отдаленныя вѣтви кустарниковъ нитями блестящей паутины.

III.

Надо впрочемъ замѣтить, что встрѣча мыслителя съ Фетомъ на высотахъ прозрѣнія представляетъ особую прелесть и особую трудность. Трудность заключается въ особенностяхъ художественной техники Фета. Великій лирикъ грѣшилъ всѣми слабостями своихъ достоинствъ. Порывистость его вдохновеній зачастую выражалась у него въ необычныхъ и темныхъ оборотахъ рѣчи, сжатость изложенія обуславливала нерѣдко чудовищные скачки, говорящіе намъ бѣглыми намеками, отрывочными восклицаніями, а не связной, хотя-бы и поэтической, рѣчью, не солнечными лучами, а зарницами. Стихъ его изумительно музыкаленъ, выразителенъ, образенъ, но небреженъ и невыдержанъ до крайности. Синтаксисъ его—что-то совершенно невѣроятное, а слогъ безпрестанно впадаетъ въ изысканность и даже вычурность. Его стихотворенія требуютъ долгаго и вдумчиваго изученія. Его замыселъ нужно иногда высматривать, какъ папоротникъ въ Иванову ночь; правда, кто его подслѣдилъ и настигъ, тотъ открываетъ воистину неисчерпаемый кладъ художественныхъ наслажденій; но то, что оправдываетъ иной разъ въ глазахъ читателя недостатки изложенія у философовъ, не можетъ служить извиненіемъ художнику слова. Между тѣмъ музу Фета приходится почти только угадывать по его произведеніямъ, какъ Золушку по башмачку: во-первыхъ, это также трудно, какъ въ сказкѣ, а во-вторыхъ, только для принца этотъ башмачекъ служить достаточной, надежной, а главное — понятной примѣтой, залогомъ высокаго художественнаго наслажденія: для прочихъ онъ лишь хорошенькая бездѣлушка. Въ виду этого, вопреки площаднымъ сужденіямъ о великихъ, будто-бы, достоинствахъ художественной формы Фета, позволительно утверждать, напротивъ, что превозносить форму Фета въ ущербъ сущности его поэзіи могутъ искренно только тѣ, кому послѣдняя недоступна. Характерно въ этомъ отношеніи, что всѣ хулители Фета начинали обыкновенно съ того, что «отдавали должное» его «умѣнью владѣть стихомъ» и т. д. Они этимъ сами свидѣтельствовали о степени своего критическаго пониманія. Наоборотъ, удивительно вѣрно сознавалъ свой недостатокъ Фетъ, чувствовавшій свой великій даръ и свое плохое умѣнье. О своей музѣ онъ говорилъ:

Цвѣты послѣдніе въ рукѣ ея дрожали,
Отрывистая рѣчь была полна печали,

И женской *прихоти*, и серебристыхъ грезъ,
Невысказанныхъ мукъ и непонятныхъ слезъ.

На ряду съ нею онъ указывалъ на другую, великолѣпную музу древнихъ, даже замѣтно отдавалъ должную дань ея превосходству; но, прибавлялъ онъ,

Мнѣ слуха не ласкалъ языкъ ея *молчій*,
И тихій, и простой, и звучный безъ созвучій.

Скромный къ самому себѣ, онъ даже еще прямо говорилъ про свое дарованіе:

Нѣтъ, не жди ты пѣсни страстной!
 Эти звуки—бредъ неясный,
 Томный звонъ струны.

До самого почти конца поэта не оставляла грусть о недосказанности, о непонятности его поэзіи, доходившая даже до какого-то болѣзненного желанія, чтобы «Лета поглотила его минутныя мечты»:

Съ солнцемъ склоняясь за темную землю,
 Взоромъ весь пройденный путь я объемлю:
 Вижу, безслѣдно пустынная мгла
 День погасила и ночь привела.
 Станнымъ лишь что-то мерцаетъ узоромъ:
 Горе минувшее тайнымъ укоромъ,
 Въ сбивчивомъ ходѣ несбыточныхъ грезъ,
 Тамъ миллионы разсыпало слезъ.
 Стыдно и больно, что такъ непонятно
 Свѣтятся эти туманныя пятна,
 Словно неясно дошедшая вѣсть...
 Все-бы, ахъ, все-бы съ собою унести!..

Такова коренная трудность знакомства съ Фетомъ и проникновенія въ истинную сущность его поэзіи: крупные недостатки поэтической формы. Особая же прелесть этого проникновенія заключается, помимо содержанія, въ характерѣ господствующихъ въ поэзіи Фета настроеній. Ея темы—аристократически избранны, а потому вышній кругъ ея содержанія крайне тѣсенъ. Поэтъ хорошо это сознавалъ и умышленно не покидалъ привычнаго его вдохновенію предѣла. Въ стихотвореніи «Горная высь» онъ говорить:

Превыше тучъ, покинувъ горы
 И наступя на темный лѣсъ,
 Ты за собою смертныхъ взоры
 Зовешь на синеву небесъ.

Снѣговъ серебряныхъ порфира
 Не хочетъ праха прикрывать;
 Твоя судьба—на граняхъ міра
 Не снисходить, а возвышать.
 Не тронетъ вадохъ тебя безсильный,
 Не омрачить земли тоска:
 У ногъ твоихъ, какъ дымъ кадильный,
 Віяся, таютъ облака.

Эти великолѣпные стихи всего вѣрнѣе можно примѣнить къ нему самому. Въ дѣлѣ поэзіи его судьба—не снисходить, а возвышать, и потому пониманіе поэзіи Фета—наилучшій эстетическій цензъ; эту мысль и выражаетъ въ боевой формѣ ходячее словечко: кто не любитъ Фета, не понимаетъ поэзіи. При всеѣмъ кажущемся противорѣчіи чертъ его поэтическаго характера, главная особенность его вдохновеній объединяетъ и примиряетъ все разногласіе частностей однимъ общимъ родовымъ свойствомъ. Муза Фета—что-то эфирное, легкое и воздушное. Въ ней не слышно ничего тѣлеснаго, ничего земного, хотя она ни на что не закрываетъ глаза. Даже попытки въ антологическомъ родѣ нимало не противорѣчаютъ общему отъ нея духовно-цѣломудренному и чистому впечатлѣнію. Ея вдохновенія—это дѣйствительно какія-то порыванья безплотнаго духа:

И въ сердцѣ, какъ плѣнная птица,
 Томится безкрылая пѣсня...

Или даже еще ярче и воздушнѣй выражался поэтъ о своихъ поэтическихъ концепціяхъ:

Налету весеннихъ порывовъ подвластный,
 Дохнулъ я струею и чистой, и страстной,
 У плѣннаго ангела съ вѣющихъ крыль.

Фетъ въ своей поэзіи почти не знаетъ *дѣйствій*: онъ весь живетъ въ восторженныхъ порывахъ духа, въ сосредоточенныхъ созерцаніяхъ. Всѣ наслажденія неожиданно вспыхивающихъ мыслей, всѣ радости намековъ, отъ которыхъ напряженно мыслящему духу внезапно открываются необозримыя дали желанной истины, все счастье открытія, проникновенія—это высшее счастье мыслителя—находимъ мы воплощенными въ изумительныхъ лирическихъ миниатюрахъ Фета. Такіе стихи, какъ напримѣръ: «Я—лучъ твой, летящій далѣко», «Напрасно мыслью жадной ты думы вѣчной догоняешь тѣнь», «Былое стремленье—далѣко, какъ отблескъ вечерній», «Крылья растутъ у какихъ-то воздушныхъ стремленій», «Съ лу-

чемъ, просящимся во тьму», «Какъ будто изъ дѣйствительности чудной уносишься въ волшебную безбрежность», «Выше, выше плыву серебристымъ путемъ я, какъ шаткая тѣнь за крыломъ», «Еще темнѣе мракъ жизни вседневной, какъ послѣ яркой осенней зарницы» — каждый такой стихъ, какъ какой-то вздохъ души, напоминаетъ намъ цѣлый рой знакомыхъ впечатлѣній, мыслей, радостей и печалей. Они намъ по первому взгляду кажутся какъ будто нашими собственными давнишними воспоминаніями и лишь позднѣе приходитъ намъ въ голову, что это высокія художественныя произведенія. Таково свойство и даръ поэтовъ:

Только у *нихъ* мимолетныя грезы
Старыми въ душу глядятся друзьями.

Эта эфирность, чистота и духовность поэзіи Фета рѣзко выделяетъ его изъ несмѣтнаго множества лириковъ, не исключая даже величайшихъ изъ нихъ. По складу своего ума и дарованія, по *темпераменту мысли*, онъ стоялъ гораздо ближе къ философамъ, чѣмъ къ поэтамъ; но совершенно погрузиться въ бездны познанія не пускало его крылатое поэтическое вдохновеніе. Едва-ли возможно лучше выразить эту своеобразную духовную двойственность, чѣмъ то сдѣлано Фетомъ въ стихотвореніи «Ласточки». Правда, мысль этого стихотворенія собственно гораздо шире и глубже, чѣмъ только что высказанная; сравненіемъ съ ныряющей ласточкой поэтъ очевидно хотѣлъ намекнуть на коренную жажду сверхчувственного, потусторонняго познанія, присущую духу человѣческому; но избранный имъ образъ вполне уместенъ и для характеристики философскаго элемента въ его поэзіи.

Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши все кругомъ,
Слѣдить за ласточкой стрѣльчатой
Надъ вечерѣющимъ прудомъ.
Вотъ понеслась и зачертила,—
И страшно, чтобы гладъ стекла
Стихіей чуждой не схватила
Молніевиднаго крыла,—
И снова то же дерзновенье
И таже темная струя...
— Не таково-ли вдохновенье
И человѣческаго *я*?
Не такъ-ли я, сосудъ скудельный,
Держаю на запретный путь,
Стихи чуждой, запредѣльной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

Таковы особенная трудность и особенная прелесть поэзіи Фета для мыслящаго читателя.

IV.

Героическіе элементы почти безусловно чужды поэзіи Фета, бывшаго художникомъ прежде всего и послѣ всего. Героическіе образы, вообще представленія объ идеальномъ характерѣ поэта, опредѣляются взглядами его на назначеніе поэта въ мірѣ, на значеніе искусства въ человѣчествѣ. Это значеніе въ глазахъ Фета было чисто эстетическаго свойства; въ искусствѣ онъ видѣлъ исцѣленіе хотя на мигъ отъ муки бытія.

Плѣнительные сны лелѣя на яву,
Своей божественною властью
Я къ наслажденію высокому зову
И къ человѣческому счастью.
Къ чему противиться природѣ и судьбѣ?
На землю сносятъ эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы къ борьбѣ,
А исцѣленіе отъ муки,

говорила поэту его муза, въ своей художественной замкнутости понимавшая выходъ изъ ея заколдованнаго круга не иначе, какъ измѣной своему служенію. Соблазнъ конечно являлся и нашему поэту, но не соблазнительнымъ, а жалкимъ. Трудно болѣе грандіозно и просто воплотить все величіе несоблазнаимаго духа, чѣмъ это сдѣлано Фетомъ.

Когда Божественный бѣжалъ людскихъ рѣчей
И празднословной ихъ гордыни,
И голодъ забывалъ и жажду многихъ дней,
Внимая голосу пустыни,—
Его, взалкавшаго, на темя сѣрыхъ скалъ
Князь міра вынесъ величавый.
„Вотъ здѣсь, у ногъ твоихъ, всѣ царства“,—онъ сказалъ,
„Съ ихъ обаяніемъ и славой.
„Признай лишь явное. Пади къ моимъ ногамъ,
„Сдержи на мигъ порывъ духовный—
„И эту всю красу, всю власть тебѣ отдамъ
„И покорюсь въ борьбѣ неровной“.
Но Онъ отвѣтствовалъ: „Писанію внимли:
„Предъ Богомъ Господомъ лишь преклоняя колѣни“.
И сатана исчезъ,—и ангелы пришли
Въ пустынь ждаты Его велѣній.

Этотъ жалкій для поэта соблазнъ однако-же для огромнаго большинства является неотразимо привлекательнымъ и могущественнымъ; *слава* въ той или иной формѣ для всѣхъ почти художниковъ высшая цѣль ихъ стремленій и нерѣдко ради нея готовы они продать свое дарованіе, гоняясь за успѣхомъ и одобреніями толпы. Этой слабости причастны порою даже высшіе представители искусства; болѣе того, великимъ исключеніемъ въ мірѣ художниковъ являются тѣ, кто ей не причастенъ. Однимъ изъ типичнѣйшихъ представителей этой исключительной категоріи художниковъ является Фетъ. Какъ всякій художникъ, онъ горячо желалъ встрѣтить въ мірѣ сочувственный и широкій откликъ на свои произведенія:

...пѣсень рой, вослѣдъ за первой пѣсней,
Мой тайный пылъ на волю понесли.
И, трепетнымъ отъ счастья и муки,
Хотѣлось птичкамъ Божиимъ моимъ,
Чтобъ гдѣ нибудь ихъ налетѣли звуки
На чуткій слухъ, внимать готовый имъ.
Полвѣка ждалъ друзей я этихъ пѣсень,
Гадалъ о тѣхъ, кто имъ живой пріютъ!..

Но немногимъ поэтамъ данъ былъ въ этомъ отношеніи такой тяжелый удѣлъ, какъ Фету: его произведенія, вмѣсто того, чтобы возбудить всеобщій восторгъ и поклоненіе, сдѣлались предметомъ самаго ожесточеннаго глумленія, какое только можно себѣ представить. И однако-же до самаго конца дней своихъ не поколебался передъ всѣми насмѣшками и порицаніями этотъ глубоко чувствовавшій обиды отъ современниковъ поэтъ.

Давно познавъ, какъ ранять больно
Иныя терніи вѣнцовъ,

онъ однако же смѣло поставилъ во главѣ четвертаго выпуска «Вечернихъ огней» то изумительное предисловіе, которое не уступаетъ красотой и силой даже лучшимъ его стихотвореніямъ:

«Человѣкъ, не занавѣсившій вечеромъ своихъ освѣщенныхъ оконъ, даетъ доступъ всѣмъ равнодушнымъ, а быть можетъ и враждебнымъ взорамъ съ улицы; но было-бы несправедливо заключать, что онъ освѣщаетъ комнаты не для друзей, а въ ожиданіи взглядовъ толпы. Послѣ трогательнаго и высокознаменательнаго для насъ сочувствія друзей къ пятидесятилѣтію нашей музы жаловаться на ихъ равнодушіе намъ очевидно невозможно; что же касается до массы читателей, устанавливающей такъ называемую популярность, то эта

масса совершенно права, раздѣляя съ нами взаимное равнодушіе: намъ другъ у друга искать нечего. Раскрывая небольшое окошечко четвертаго выпуска въ крайне ограниченномъ числѣ экземпляровъ, мы только желаемъ сказать друзьямъ, что всегда рады ихъ встрѣтить и что за нашимъ окномъ *Вечерніе Огни* еще не погасли окончательно».

Если, однако, смотрѣть на художника только какъ на художника, на артиста, то героическая роль его, даже при ея высшей идеализаціи, дастъ намъ образъ *жреца*, но не пророка, не учителя, не трибуна. Главная добродѣтель, отличающая этотъ стоическій образъ, — непоколебимая вѣрность; главный подвигъ, данный на долю жреца, — священнодѣйствіе, невозмутимое никакими внѣшними тревоженіями; пользуясь сравненіемъ Шопенгауера, можно сказать, что это — солнечный лучъ, перерѣзающій ураганъ въ любомъ направлении и котораго не можетъ ни отклонить, ни разсѣять, ни поколебать никакой ураганъ. И дѣйствительно, самъ Фетъ любилъ представлять себя жрецомъ, одиноко и благоговѣнно священнодѣйствующимъ подъ шумъ близкаго ярмарочнаго разгула.

...я, попрежнему, смиренный,
Забутый, кинутый въ тѣни,
Стою колѣнопреклоненный
И, красотою умиленный,
Зажегъ вечерніе огни.

Но это не было безнадежное или бездѣйственное одиночество; наоборотъ, въ своемъ кругу, среди тѣхъ, кто былъ «живымъ пріютомъ» его пѣсенъ, Фетъ былъ героическимъ примѣромъ мужественной и вѣрующей стойкости. Онъ

...былъ для насъ всегда вонъ той скалою,
Валетѣвшей къ небесамъ,
Подъ бурями, подъ ливнемъ и грозой
Невозмутимый самъ.

Онъ самъ это ясно сознавалъ и всю мощь своего замкнутого поэтического призванія характерно и широко воплотилъ въ пѣснь «Оброчникъ», такъ великолѣпно открывавшей четвертый выпускъ «Вечернихъ огней», которому суждено было остаться послѣднимъ:

Хоругвь священную подъявъ своей десной,
Иду, — и тронулась за мной толпа живая,
И потянулись всѣ по просьбѣ лѣсной,
И я блаженъ и гордъ, святыню воспѣвая.

Пою—и помысламъ невѣдомъ дѣтскій страхъ;
 Пускай на пѣнье мнѣ отвѣтятъ воемъ звѣри:
 Съ оватыней надъ челомъ и пѣсней на устахъ,
 Съ трудомъ, но я дойду до вожделѣнной двери!

V.

Странно было-бы требовать отъ поэта, хотя бы воспитавшаго свое дарованіе на самыхъ утонченныхъ философскихъ ученіяхъ, связнаго и послѣдовательнаго изложенія системы его взглядовъ, отвлеченной формулировки основъ его міровоззрѣнія. Такія требованія мы можемъ предъявлять къ мыслителю и онъ долженъ на нихъ отвѣтить; задачи и средства поэта совершенно другія. Міровоззрѣніе человѣка, т. е. его оптимизмъ или пессимизмъ, его взгляды на сущность жизни, смерти, любви, его пониманіе природы, назначенія человѣка въ мірѣ и задачъ искусства въ человѣчествѣ, его рѣшеніе вопроса о добрѣ и злѣ, — всѣ эти воззрѣнія не представляются отвлеченными и въ психическомъ отношеніи безразличными формулами, вродѣ математическихъ теоремъ. Онѣ вырабатываются не въ однихъ философахъ, а въ каждомъ изъ насъ, вырабатываются на всемъ нашемъ жизненномъ опытѣ, на утратахъ, на страданіяхъ, радостяхъ и работѣ, притомъ зачастую вырабатываются почти безсознательно, не въ видѣ принциповъ, а въ видѣ психически ассоціированныхъ выводовъ, составляя такъ называемый характеръ человѣка; съ другой стороны, однажды сложившісь или уяснившісь, эти ассоціаціи или идеи становятся опредѣляющимъ всю дѣятельность каждаго человѣка нравственнымъ факторомъ, влияя на его рѣшенія, поступки, житейскія связи, симпатіи и антипатіи. Однажды выработанныя такимъ образомъ воззрѣнія и идеи становятся достояніемъ философіи; а ихъ такъ сказать *жизненные окраины*, ихъ возникновеніе изъ опыта и ихъ власть надъ душою составляютъ содержаніе и матеріалъ поэзіи. Сказать, что все тѣсно—есть истина; но когда она сознается глубоко страдающимъ въ минуту утраты умирающаго друга человѣкомъ—эта истина становится лирической темой. Равнымъ образомъ она можетъ послужить достаточнымъ внушеніемъ эпикурейской поэзіи Парни и хотя бы мрачнаго «Довольно» Тургенева. Но съ другой стороны житейскія впечатлѣнія становятся предметами поэзіи лишь въ качествѣ окраинъ міровоззрѣнія, а не сами по себѣ. Просвѣтляющая радость, просвѣтляющее страданіе, борьба страсти и долга, сердце человѣческое среди природы, разумныя рѣшенія и слѣпыя случайности — вотъ

основныя темы всѣхъ поэтовъ міра. Радость сама по себѣ, страданіе само по себѣ являются предметомъ не поэта, но психолога или фізіолога.

Страдать! Страдаютъ всѣ,—страдаетъ темный звѣрь
 Безъ упованья, безъ сознанья;
 Но передъ нимъ туда навѣкъ закрыта дверь,
 Гдѣ радость теплится страданья.

Потому философское значеніе поэтовъ и сводится къ тому, что они «хватаютъ на лету и закрѣпляютъ вдругъ» именно эти жизненные окраины своего міровоззрѣнія, подсказывая тѣмъ даже нефилософскому, но богатому опытомъ уму или чуткому сердцу философскія размышленія и наоборотъ философа съ высоты его парящихъ вдохновеній вдругъ волшебствомъ какимъ-то вводя въ «запутанность и сложность» мельчайшихъ жизненныхъ отношеній, провѣряя восторгами или стонами страдающаго духа его безстрастную работу мысли. Поэзія, если можно такъ выразиться, прикладная философія и поэты въ извѣстномъ смыслѣ столь же самобытны и зависимы отъ философіи, какъ инженеры и техники отъ теоретической физики.

Средство и въ то-же время цѣль поэтовъ, при увѣковѣченіи въ образахъ и словѣ творческихъ комбинацій жизненной стороны философскихъ умозрѣній,—красота. Красота сближаетъ человѣка съ міромъ, роднитъ душу съ тѣломъ, какъ безтѣлесныя идеи разлучаютъ ихъ, претворяя для мыслителя тѣла и міръ въ понятія и чистое бытіе. Тѣла и явленія для мыслителя—оболочка, покрывало Майи, текущая ложь бытія, отъ которой они стремятся разоблачить сущность вещей; поэтъ-же стремится угадать эту сущность сквозь покрывало, намекнуть на идеи красотою оболочки, найти въ вѣчномъ потокѣ преходящихъ явленій отраженія вѣчно сущаго бытія. Если познающій духъ рвется изъ міра, то красота возвращаетъ его. Между тѣмъ красота—вездѣ и во всемъ. Правда,

Только пчела узнаетъ въ цвѣткѣ затаенную сладость,
 Только художникъ на всемъ чуетъ прекраснаго слѣдъ,

но во всякомъ случаѣ онъ чувствуетъ его и, гдѣ находитъ, миритъ человѣка съ міромъ, душу съ тѣломъ. Страданія и радости—это подымающіяся и падающія волны житейскаго опыта, изъ дѣдръ котораго возникаетъ прекрасная идея. Страданіе—боль, но эта боль—подножіе тѣхъ просвѣтленій, которыми одухотворено мірозданіе. Таково по

существо дѣла основное отношеніе къ міру каждаго художника — пантеистическое и оптимистическое. Но въ немъ самомъ коренится глубокий разладъ, разрѣшеніе котораго всегда составляетъ основную мысль каждаго крупнаго и мелкаго художника.

Никто не можетъ быть только художникомъ, только артистомъ; наоборотъ, человѣкъ лишь въ нѣкоторыя минуты своей жизни способенъ къ настроенію, — такъ называемому вдохновенію, — при которомъ одномъ возможно служеніе своему творческому призванію. За вычетомъ этихъ исключительныхъ минутъ,

Когда съ осанкою свободной
Поэтъ на будущность глядитъ
И міръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ,

поэтъ остается человѣкомъ, заблуждающимся, страдающимъ, трудящимся ради куска хлѣба, поглощеннымъ мелочами всендневной жизни. Тому, кто страдаетъ, не до красоты своего страданія; тому, кто раздраженъ и возмущенъ, не до примиренія съ міромъ; тому, кто совершаетъ свой подневный, ремесленный трудъ, не до поэтическихъ прозрѣній въ сущность вещей. Нерѣдко даже старыя раны своею незаживающей болью разстраиваютъ вдохновеніе, затемняютъ сужденіе поэта, приходящаго въ міръ, чтобы оправдать его передъ людьми. Тотъ самый поэтъ, который

...понялъ тѣ слезы и понялъ тѣ муки,
Гдѣ слово нѣмѣетъ, гдѣ царствуютъ звуки,
Гдѣ слышишь не пѣсню, а душу пѣвца,
Гдѣ духъ покидаетъ ненужное тѣло,
Гдѣ внемлешь, что радость не знаетъ предѣла,
Гдѣ вѣришь, что счастьемъ не будетъ конца,

который обращался къ мечтательной тѣни:

Когда-бы ты знала, какимъ сиротливымъ,
Томительно-сладкимъ, безумно-счастливымъ
Я юречъ въ душѣ опьяненъ,—
Безмолвно прошла-бъ ты воздушной стопою,
Чтобъ даже своей благовонной стезею
Больной не смутила мой сонъ!—

этотъ самый поэтъ въ минуту охватившаго его глубокаго страданія, забывая все, кромѣ гнетущей боли неизлѣчимыхъ воспоминаній, страстно восклицалъ:

О, какъ ничтожно все! Отъ жертвы жизни цѣлой,
Отъ этихъ пылкихъ жертвъ и подвиговъ святыхъ—

Лишь тайная тоска въ душѣ осиротѣлой
Да тѣни блѣдныя у лепестковъ сухихъ!

или еще ярче въ другомъ мѣстѣ:

Бѣжать?—Куда? Гдѣ правда? Гдѣ ошибка?
Опора гдѣ, чтобъ руки къ ней простерть?
Что ни расцвѣтъ живой, что ни улыбка—
Уже подъ ними торжествуетъ смерть.

Это мучительное настроеніе сливается даже у него въ какой-то волшебный аккордъ упоительно прекрасной скорби, въ преувеличенно-гнѣвные восклицанія, которыя не имѣютъ себѣ ничего подобнаго во всемірной литературѣ:

Не жизни жаль съ томительнымъ дыханьемъ:
*Что жизнь, и смерть!.. А жаль того огня,
Что просіялъ надъ цѣлымъ мірозданьемъ—
И съ ночь идетъ!.. И плачетъ, уходя!*

Невольное противорѣчіе человѣка съ художникомъ доходитъ у Фета иногда даже до прямого негодованія на близкихъ ему, какъ человѣку, читателей, которые за красотой поэтического выраженія не видятъ живой томительной боли, его внушившей. Любуясь заревомъ дальняго пожара, восклицаетъ онъ, неужели ты не подумала, что тамъ быть можетъ люди гибнуть въ эту минуту? Неужели мои стихи внушаютъ тебѣ одно наслажденіе и не подсказываютъ той любви и жалости, о которыхъ я втайнѣ мечтаю?

Когда читала ты мучительныя строки,
Гдѣ сердца звучный пылъ сіянье льетъ кругомъ
И страсти роковой вздымаются потоки,—
Не вспомнила-ль о чемъ?
Я вѣрить не хочу! Когда въ степи, какъ диво,
Въ полночной темнотѣ безвременно горя,
Вдали передъ тобой, прозрачно и красиво,
Вставала вдругъ заря
И въ эту красоту невольно взоръ тянуло,
Въ тотъ величавый блескъ затемный весь предѣлъ,—
Ужель ничто тебѣ въ то время не шепнуло:
Тамъ—человѣкъ сгорѣлъ?

Этотъ роковой разладъ поэта съ человѣкомъ, породившій столько печальныхъ явленій въ нашей литературѣ, погубившій столько прекрасныхъ дарованій и вызвавшій столько фальшивыхъ въ художественномъ отношеніи піесъ, былъ въ полной его глубинѣ и силѣ пережитъ Фетомъ и разрѣшенъ имъ вполне свободно и прямо. Онъ

счумѣлъ воздать кесарево кесареви, а Божіе—Богу. Онъ счумѣлъ страдать и оставаться поэтомъ. Трепетная полнота бытія, восторгъ и вдохновеніе—вотъ то, чѣмъ осмыслено страданіе, вотъ гдѣ примирены артистъ и человѣкъ. О чемъ ни спроси меня смерть, я, пока живъ, на все могу отвѣтить ей тѣмъ, что буду жить:

А я дышу—живу—и понялъ, что въ незнаньи
Одно прискорбное, а страшнаго въ немъ нѣтъ.

Въ самомъ кипѣннѣйшей живой жизни, въ полнотѣ ея аккордовъ, въ гармоническомъ великолѣпнѣй красокъ ея, въ кипучей и быстрой смѣнѣ ея впечатлѣннѣй разрѣшаются въ глазахъ Фета ея мгновенныя и преходящія противорѣчія. И сама природа отвѣчаетъ ему устами самаго жизнерадостнаго и плѣнительнаго своего созданія—воплощеннаго мгновенія—бабочки:

*Ты правъ. Однимъ воздушнымъ очертаньемъ
Я такъ мила.
Весъ бархатъ мой съ его живымъ миганьемъ—
Лишь два крыла.
Не страшивай, откуда появилась,
Куда стѣшу:
Здѣсь на цвѣткѣ я легкой опустилась—
И вотъ—дышу...
Надолго-ли, безъ цѣли, безъ усилія
Дышать хочу?—
Вотъ-вотъ сейчасъ—сверкнувъ, раскину крылья—
И улечу!*

Эту вотъ особенность—изумительное равновѣсіе человѣка съ художникомъ въ силу внутренней, волевой энергіи, въ силу эстетичности природы Фета—и необходимо прежде всего отмѣтить у «поэта философовъ».

VI.

Но мало быть бодрымъ и яснымъ душою, мало обладать способностью постоянной душевной готовности жить и умереть, страдать и радоваться, любить и любоваться; въ жизни приходится дѣйствовать, приходится принимать тѣ или другія рѣшенія въ зависимости отъ своихъ нравственныхъ воззрѣній, отъ пониманія добра и зла. И въ этой области нравственныхъ вопросовъ cadaго художника ожидаетъ новый разладъ, новая загадка, ставимая жизнью. Художникъ, чуя на всемъ слѣды прекраснаго, красотою міра покупая примиреніе съ нимъ у тревожнаго человѣческаго духа, не

можетъ являться нравственнымъ судьей явленій, осуждать и хвалить во имя этическихъ требованій. Онъ — искатель красоты въ мірѣ, т. е. въ его добрѣ и злѣ, въ его свѣтлыхъ и мрачныхъ областяхъ, совершенно независимо отъ ихъ нравственнаго содержанія. Поэтъ воспѣваетъ красоту тамъ, гдѣ ее находитъ, хотя-бы то была красота зла или порока. Демонъ такой-же предметъ поэзіи, какъ свѣтлый ангелъ; драконы, змѣи внушали поэтамъ произведенія безсмертной красоты и силы. Безспорно, красоту поэтъ находитъ только какъ красоту и не оправдываетъ ею зла или порока; далеко нѣтъ; но зло безусловное, *чистое зло* есть невозможность, есть ничто, абсолютный холодъ, абсолютное небытіе; то зло, которое мы въ мірѣ видимъ и находимъ, не есть безусловное зло и міръ имъ не опороченъ безусловно; оно входитъ въ міръ какъ одинъ изъ его элементовъ и въ полномъ своемъ ужасѣ, чистымъ зломъ, никогда не является нашему взору. Потому поэтъ, находя красоту зла, не оправдываетъ зла, но только тотъ міръ, въ которомъ зло возможно, указывая красотою зла на то, какъ оно условно и случайно въ мірѣ, какъ оно является лишь однимъ изъ элементовъ явленій, никогда не будучи ихъ сущностью. Но это поэтическое примиреніе со зломъ опять-таки допустимо и возможно только для художника. Человѣкъ не можетъ съ нимъ мириться, болѣе того: не можетъ съ нимъ не бороться. Онъ долженъ обладать яснымъ и твердымъ критеріемъ добра и зла, долженъ строго дѣлать все его окружающее между этими двумя нравственными категориями. Созерцать міръ можно съ полнымъ безразличіемъ; но дѣйствовать безразлично—это чистый *non sens*, понятіе, себѣ самому противорѣчащее. И вотъ этотъ нравственный конфликтъ опять-таки встрѣтилъ широкое и полное разрѣшеніе въ поэзіи Фета. Намекая на преданіе о грѣхопадѣніи человѣка, онъ поэтически изобличаетъ древняго искуателя въ стихотвореніи «Добро и зло».

Два міра властвуютъ отъ вѣка,
 Два равноправныхъ бытія:
 Одинъ—объемлетъ человѣка;
 Другой—душа и мысль моя.
 И какъ въ росинкѣ чуть замѣтной
 Весь солнца ликъ ты узнаешь,
 Такъ слитно въ глубинѣ завѣтной
 Все мірозданье ты найдешь.
 Не лжива юная отвага:
 Сognись надъ роковымъ трудомъ—
 И міръ свои раскроетъ блага;

Но быть не мысли божествомъ
 И даже въ часъ отдохновенья,
 Подъемя потное чело,
 Не бойся горькаго сравненья
 И различай добро и зло.
 Но если на крылахъ гордыни
 Познать дерзашъ ты, какъ богъ,—
 Не заноси же въ міръ святыни
 Своихъ невольничьихъ тревогъ:
 Пари, всезрящій и всеильный,—
 И съ незапятнанныхъ высотъ
 Добро и зло какъ прахъ могильный
 Въ толпы людскія отпадетъ.

«Два равноправныхъ бытія» составляютъ мірозданіе, начинается поэтъ, макрокосмъ и микрокосмъ, міръ и я человѣка. Они равноправны и каждое изъ нихъ въ отдѣльности включаетъ въ себя самодовлѣющую полноту бытія; но зато каждому изъ нихъ отведена своя сфера, соприкасающаяся, но не совпадающая со сферой другаго. Заблужденіе человѣчества кроется въ томъ, что въ предѣлѣ чистаго, трансцендентнаго умозрѣнія оно стремится найти основныя начала этики, что оно не анализируетъ словъ древняго змія и думаетъ, что одно быть Богомъ и познать добро и зло. Но змій солгалъ: божественное познаніе не включаетъ въ себя добра и зла; добро и зло знаетъ только наша земная воля, та воля, которая была изгнана въ міръ изъ блаженства умозрѣнія, дабы, въ потѣ лица своего сѣдая хлѣбъ свой, человѣкъ созналъ, что не въ познаніи добра и зла лежитъ сущность божественнаго разума. Божественный духъ, человѣческое я, равноправное съ божественнымъ твореніемъ, т. е. мірозданіемъ, исключаетъ всякую мысль о добрѣ и злѣ, отпадающую какъ могильный прахъ въ людскія толпы съ незапятнанныхъ высотъ чистаго умозрѣнія или вдохновенія; всезрящій и всеильный, окрыленный самодовлѣющимъ восторгомъ, мыслящій духъ свободно паритъ въ своихъ всеобъемлющихъ созерцаніяхъ, не зная ни добра, ни зла. Иное дѣло наша земная воля, обреченная на трудъ и борьбу. Ей необходимо знаніе добра и зла, пока она свершаетъ свой поденный трудъ. «Не лжива юная отвага»: не лжива та кипящая молодость, которая стремится къ познанію добра и зла, если только она не поддастся напештыванью змія и не помыслила стать божествомъ въ своемъ достигнутомъ познаніи. Трудись, зарабатывай въ потѣ лица своего свой хлѣбъ — и міръ дастъ тебѣ миръ и счастье, раскроетъ свои блага. Но зато доволь-

ствуйся, труженикъ, этой побѣдой, «быть не мысли божествомъ», даже когда, въ минуты отдохновенія, ты поднимаешь свое «потное» чело къ небу, къ вѣчности, вдохновенію, истинѣ и красотѣ. И тутъ не долженъ ты бояться «горькаго сравненія», подсказаннаго тебѣ твоими «невольничьими тревогами», и тутъ долженъ ты различать добро и зло, какъ сынъ земли, понимая даже небесное лишь въ предѣлахъ этихъ моральныхъ категорій. Едва-ли нужно дѣлать окончательный выводъ, ясно вытекающій изъ этого грандіознаго по глубинѣ замысла и совершенству выполненія стихотворенія: добро и зло—для человѣка, красота—для художника. Пусть красота порока и зла, чуждаго художникомъ, не затемнятъ въ человѣкѣ отвращенія отъ зла и порока и пускай узкія требованія «невольничьей» морали не стѣсняютъ вольныхъ воззрѣній творческаго духа. Оба міра равноправны; потому въ обоихъ царствахъ съ различными законами должно умѣть оставаться свободнымъ.

VII.

Изъ изложеннаго, повидимому, ясны основныя черты поэтического міросозерцанія Фета: его отношеніе къ людямъ, отношеніе къ міру и его нравственныя воззрѣнія. Художникъ, жрецъ прекраснаго, неколебимо вѣрный своему призванію, не соблазняющійся никакою славой, хотя пламенно ея желающій, онъ съ удивительной уравновѣшенностью умѣетъ сознать грани житейскихъ заботъ и поэтическихъ настроеній. Въ немъ человѣкъ никогда не порабощаетъ художника и наоборотъ художникъ не убиваетъ чувствующаго, страдающаго и жаждущаго любви человѣка. Всѣ влеченія души его свободны и въ то же время гармоничны. Обрисовавъ однако-же микрокосмъ этой поэзіи, необходимо выяснитъ философскіе элементы ея макрокосма, указать на умозрительную сущность особенностей художественнаго творчества Фета, очертить такъ сказать внѣшній кругъ ея содержанія. Что находитъ поэтъ въ этомъ замкнутомъ, заколдованномъ кругу? Что видитъ въ мірѣ его восторженное вдохновеніе? — Какъ и слѣдовало ждать — красоту. Притомъ, какъ всякій художникъ, поскольку онъ художникъ, Фетъ—пантеистъ. Онъ не углублялся въ критическія утонченности философіи Канта, но взялъ ее въ томъ видѣ, какъ она преломилась въ художественной призмѣ философіи Шопенгауера. Великій вопросъ о сущности соприкосновенія духа и міра, или, выражаясь терминами Шопенгауера, *principium individuationis* воли къ жизни, Фетъ

не разрѣшалъ теоретически, такъ какъ онъ на практикѣ рѣшенъ съ момента возникновенія на землѣ органической жизни; для поэта достаточно того, что вопросъ поставленъ и объектъ разрѣшенія его на лицо; какъ-бы ни былъ рѣшенъ этотъ вопросъ, отъ того единство духа и міра, которое мы видимъ теперь, не нарушится, не станетъ тѣнѣе; а смыкающее ихъ воедино первоначало, котораго не установила философія и которое по своему дала человѣчеству религія,—это первоначало и поэзія можетъ предугадывать зримыми образами.

И все, что мчится по безднамъ эира,
И каждый лучъ, плотской и безплотный,
Твой только образъ, о *солнце міра*,
И только сонъ,—только сонъ мимолетный!..

Въ блистающемъ первообразѣ «солнца міра» для поэта сливались духъ и тѣло, «плотскіе и безплотные лучи», роднились міръ и вдохновеніе. Обращаясь къ звѣздамъ, свѣтъ которыхъ доходить къ намъ лишь черезъ тысячелѣтія сквозь неизмѣримость міроваго пространства и которыхъ лучи все еще сіяютъ намъ, хотя самыя звѣзды, быть можетъ, угасли уже тысячи лѣтъ тому назадъ, онъ даже восклицаетъ, по новому выражая ту же мысль въ стихотвореніи «Угасшимъ звѣздамъ»:

Долго-ль впивать мнѣ мерцаніе ваше,
Синяго неба пытливыя очі?
Долго-ли чуютъ, что выше и краше
Васъ ничего нѣтъ во храминѣ ночи?
Можетъ быть нѣтъ васъ подъ тѣми огнями—
Давняя васъ погасила эпоха...
Такъ и по смерти летѣтъ къ вамъ стихами,
Къ призракамъ звѣздъ, буду призракомъ вадиха!

Такимъ образомъ самый духъ человѣческій въ его высшихъ и отвлеченнѣйшихъ проявленіяхъ вводитъ онъ, какъ неотъемлемое звено, въ неразрывную цѣпь мірозданія

И равны всѣ звенья предъ Вѣчнымъ
Въ цѣпи непрерывной творенья
И жизненнымъ трепетомъ общимъ
Исполнены чудныя звенья.

Это нѣсколько похоже на матеріализмъ; но сходство здѣсь только кажущееся. Прежде всего надо замѣтить, что и вообще пантеизмъ весьма близко граничитъ съ матеріализмомъ и дѣлится отъ него

лишь очень тонкой, для поверхностныхъ умовъ нерѣдко даже вовсе неуловимой чертой. Еще ближе возможность отождествить эти міровоззрѣнія въ поэзіи, гдѣ образы и намеки художника очень далеки отъ строгости и точности опредѣленій мыслителя, тѣмъ болѣе, что искусство имѣть дѣло съ формами, т. е. свойствами матеріи, стремясь идеи выражать въ ихъ конкретныхъ отраженіяхъ, отыскивая мысль въ образахъ, душу въ тѣлахъ. По существу же дѣла нѣтъ поэта, болѣе далекаго отъ матеріализма, чѣмъ Фетъ; онъ мистикъ даже въ большей степени, чѣмъ пантеистъ. Во всемъ безконечномъ разнообразіи міровыхъ явленій онъ видѣлъ и находилъ единое сверхчувственное начало, воплощенное въ мірѣ, какъ цѣломъ; можно даже сказать, что безсмертіе и вѣчность міра въ его цѣломъ, недолговѣчность и призрачность отдѣльныхъ преходящихъ явленій, причастныхъ однако-же міровому безсмертію, какъ неотъемлемыхъ звеньевъ «въ цѣпи непрерывной творенья» — основная идея Фета. Но это безсмертіе и эта вѣчность свойственны въ своей безусловной полнотѣ лишь «солнцу міра» и человѣческому я, человѣческому творческому духу. Это изумительное равенство духа и міра, даже превосходство духа надъ міромъ, его трансцендентность, представлялись поэту чудомъ изъ чудесъ, чудомъ по преимуществу, вызывавшимъ въ немъ глубокое, восторженное изумленіе.

Не тѣмъ, Господь, могучъ, непостижимъ
Ты предъ моимъ мятущимся сознаньемъ,
Что въ звѣздный день твой свѣтлый Серафимъ
Громадный шаръ зажегъ надъ мірозданьемъ
И мертвецу съ пылающимъ лицомъ
Онъ повелѣлъ блюсти твои законы,
Все пробуждать живительнымъ лучемъ,
Храня свой пылъ столѣтій миллионы;
Нѣтъ, ты могучъ и мнѣ непостижимъ
Тѣмъ, что я самъ, безсильный и мгновенный,
Ношу въ груди, какъ оный Серафимъ,
Огонь сильнѣй и ярче всей вселенной.
Межъ тѣмъ какъ я — добыча суеты,
Игралище ея непостоянства,
Во мнѣ — онъ вѣченъ, вездѣсущъ, какъ Ты,
Ни времени не знаетъ, ни пространства.

Потому въ безсмертномъ мірѣ *наиболѣе безсмертно* (если можно такъ выразиться) человѣческое я съ его вдохновеніями и прозрѣніями въ сущность вещей. Въ глазахъ Фета художникъ какъ Мидасъ (не даромъ получившій свою способность отъ бога поэзіи — Апол-

лона) однимъ своимъ прикосновеніемъ, однимъ своимъ упомина-
ніемъ превращаетъ въ чистое золото поэзіи каждую пылинку во
внѣшнемъ мірѣ:

Этотъ листокъ, что изсохъ и свалился—
Золотомъ вѣчнымъ горить въ пѣснопѣньи.

Болѣе того, въ параллель геніальному обѣщанію Каталломъ без-
смертія какому-то Равиду за то, что тотъ своею назойливою глу-
постью заставилъ поэта въ сердцахъ поглумиться надъ нимъ, Фетъ
пишетъ изумительно прекрасное стихотвореніе:

Если радуешь утро тебя,
Если въ пышную вѣришь примѣту,—
Хоть на время, на мигъ полюбя,
Подари эту розу поэту:
Хоть полюбишь кого, хоть снесешь
Не одну ты житейскую грозу,
Но въ стихѣ умиленномъ найдешь
Эту вѣчно душистую розу.

Въ безподобномъ стихотвореніи «Теперь» онъ даже чуть не взявъ
заставляетъ каждого читателя почувствовать безсмертное вѣяніе
поэтического порыва.

VIII.

Мистически объединяя въ «солнцѣ міра» духъ и матерію, при-
знавая центральное положеніе и централизирующее значеніе чело-
вѣческаго я въ природѣ, Фетъ однако-же далеко и рѣзко раско-
дился съ мыслителями въ отношеніи къ природѣ. Правда, онъ го-
воритъ въ одномъ изъ геніальныхъ своихъ стихотвореній:

Пока душа кипитъ въ горнилѣ тѣла,
Она летитъ, куда несетъ крыло.
Не говори о счастья, о свободѣ
Тамъ, гдѣ царитъ желѣзная судьба:
Сюда! Сюда! Не рабство здѣсь природѣ,
Она сама здѣсь вѣрная раба.

Но въ то-же время, умѣя такъ тонко и глубоко чувствовать при-
сущее духу человѣческому стремленіе въ область трансцендентнаго
(ср. напримѣръ приводимое выше стихотвореніе «Ласточки»),
Фетъ былъ художникомъ съ совершенно исключительно развитымъ
чувствомъ красоты. Вся цѣльность и восторженность его стреми-
тельнаго ума наиболѣе наглядно сказывалась именно въ культѣ

красоты. Художникъ тончайшаго закала, онъ дѣйствительно умѣлъ всѣ явленія міра воспринимать съ чисто эстетической точки зрѣнія. Понимая, что природа — раба въ области духа, онъ зато спокойно созерцалъ природу въ ея области помимо всякихъ требованій во имя принциповъ, вѣ ея лежащихъ. Онъ бралъ природу такъ, какъ она есть,

Не разъ подъ оболочкой зримой
Онъ самое ее уарѣлъ,

и зато она довѣрчиво и прямо раскрывала своему «любимому» поэту самыя завѣтныя красоты, очарованія и тайны. Большой близости къ природѣ, чѣмъ та, которая проникаетъ произведенія Фета, невозможно себѣ представить: никакихъ олицетвореній въ описаніяхъ, никакихъ фальшивыхъ одухотвореній міра, никакихъ украшеній дѣйствительности; одно простодушное стремленіе воспроизвести природу безъ всякаго попопзновенія что-нибудь въ ней улучшить, исправить, подчеркнуть. Правда, въ описаніяхъ Фета часто встрѣчаются миеолгическіе образы, даже аллегорическія уподобленія; Аврора, Фебъ, Ночь, Амфитрита упоминаются имъ почти такъ же часто и упорно, какъ любимъ псевдоклассическимъ поэтомъ; но эти образы и аллегоріи лишь напоминаютъ о присутствіи челоѣка въ природѣ, а не о той розни ихъ, которую такъ болѣзненно чутко ощущалъ напр. Тютчевъ. Въ аккордѣ мірозданія челоѣкъ—необходимый звукъ; но если-бы этотъ звукъ не звучалъ самъ по себѣ, какъ самобытный интервалъ, то не было-бы и аккорда: былъ-бы стонъ или радостный вопль въ униссонъ, а не безконечно подвижная гармонія бытія. Иное дѣло, когда челоѣкъ подчиняетъ — какъ у Тютчева — своимъ настроеніямъ, своимъ радостямъ и печалямъ «равнодушную природу»; но иное дѣло, когда художникъ уловляетъ настроеніе природы и гармонирующимъ звукомъ вводитъ свой голосъ въ ея стихійный аккордъ. Въ своихъ описаніяхъ природы Фетъ прямо вступаетъ въ ея царство, какъ вспархивающая птичка, какъ расцвѣтающій цвѣтокъ, которые ничего и никого не спугнутъ, которые ничего не разстроятъ и не нарушатъ. Художественное чувство Фета не чужое природѣ, какъ чуждъ ей самодержавно творческій разумъ челоѣка. Это умѣнье отрѣшиться отъ всего царственно-духовнаго въ созерцаніи природы, это художественное умѣнье быть сыномъ ея, а не деспотомъ, такъ непосредственно и глубоко у Фета, что въ своихъ описаніяхъ природы онъ умѣлъ быть безукоризненно вѣрнымъ ея мельчайшимъ

частностями и оттѣнкамъ, не смотря на все несовершенство своей поэтической техники. Своимъ вычурнымъ, запутаннымъ и стремительнымъ словомъ онъ изображалъ ея явленія такъ же вѣрно, близко и точно, какъ немногимъ живописцамъ удается правдивой и обдуманной кистью. Какъ легендарные пустынножити, понимавшіе птицъ и съ трудомъ понятные людямъ, отъ которыхъ они отвыкали въ своемъ уединеніи, Фетъ иной разъ прямо нарушаетъ законы стиля, грамматики и даже логики, но всегда неукоснительно вѣренъ природѣ. Повидимому, послѣднее не нуждается въ подтвержденіи выдержками, потому что любая выдержка можетъ послужить достаточнымъ подтвержденіемъ сказанному, такъ что мы прямо отсылаемъ читателей къ слѣдующимъ въ настоящемъ сборникѣ за вступительною статьею стихотвореніямъ.

Эта уравновѣшенность, въ силу которой художнику были доступны

И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье,

въ силу которой ничто не ускользало отъ его зоркости и чуткости, и дала ему способность и духъ человѣческій наблюдать въ его сокровеннѣйшихъ проявленіяхъ, уловляя тончайшіе оттѣнки чувствъ и настроеній, слышать, «какъ сердце цвѣтеть», по его собственному выраженію. Какъ горныя озера на днѣ глубокихъ ущелій и въ ясный полдень отражаютъ звѣзды, такъ гармоничное творчество поэта въявь уловляло полусознательныя чувства и ощущенія, которыя заглушены въ менѣе уравновѣшенныхъ сердцахъ житейскими тревогами и внутреннимъ разладомъ. Самыя мимолетныя грезы, исчезающія при малѣйшемъ дыханьи «посторонней суеты», довѣрчиво кружились въ могучемъ вѣяньи поэтического вдохновенія Фета; самые неуловимые переходы ощущеній и настроеній зримо являлись его богатому воображенію, мгновенно воплощаясь въ образы удивительной вѣрности и яркости. Самыя сокровенныя тонкости нѣжнѣйшихъ чувствъ онъ уловлялъ въ душѣ своей, какъ оттѣнки заката на небѣ, какъ движеніе морской волны по отмели. Это поэтическое самонаблюденіе въ немъ не было тѣмъ несноснымъ ухаживаньемъ и подглядываньемъ за собственной особой, которое такъ нарушаетъ цѣльность произведеній многихъ даже весьма значительныхъ по размѣрамъ и силамъ дарованія поэтовъ; нѣтъ, это именно былъ результатъ той уравновѣшенности и сво-

боды душевной, въ силу которой каждая струна его сердца могла звучать отдѣльно отъ другихъ. Такъ называемая «сложность» натуры нерѣдко является лишь грубостью или неразвитостью души, не владѣющей своими чувствами и ощущеніями, ступающей всею ступней ноги съ неподвижными пятью пальцами, тогда какъ подвижные пальцы рукъ каждый въ отдѣльности способны къ мельчайшимъ и осторожнѣйшимъ самостоятельнымъ движеніямъ. Благодаря этой безпримѣрной свободѣ и уравниновѣнности духа Фетъ и далъ тѣ изумительныя произведенія, единственные во всемірной литературѣ по филигранной психологической тонкости, которыя самъ называлъ «мелодіями» и характеръ которыхъ представляется характернѣйшею внѣшней особенностью его дарованія, такъ что именно къ ихъ числу принадлежитъ наиболѣе прославленное, дѣйствительно прелестное, его стихотвореніе «Шопотъ, робкое дыханье».

Живое чувство красоты было такъ сильно у Фета и такъ полно захватывало его душу, что, довѣряясь минутнымъ преувеличеніямъ своего восторга, онъ нерѣдко бывалъ готовъ позабыть великое значеніе человѣческаго духа, его *равноправность* міру, бывалъ готовъ унижать свое вдохновеніе передъ пышною полнотою земнаго бытія.

Кому вѣнецъ—богинѣ—ль красоты
Иль въ зеркалѣ ея изображенъ?
Поэтъ смущенъ, когда дивишься ты
Богатому его воображенъ:
Не я, мой другъ, а божій міръ богатъ,
Въ пылинкѣ онъ летѣтъ жизнь и множитъ
И что одинъ твой выражаетъ взглядъ,
Того поэтъ пересказать не можетъ,

говорилъ онъ нѣсколько разъ и разными словами.

Только пѣснѣ нужна красота,
Красотѣ же и пѣсенѣ не надо—

вотъ что было нерѣдко его искреннимъ убѣжденіемъ.

Людскія такъ грубы слова—
Ихъ даже напечатывать стыдно!
На цвѣтъ, проглянувшій едва,
Смотрѣть при тебѣ мнѣ завидно.
Вотъ роза раскрыла уста:
Въ нихъ дышетъ моленье нѣмое,
Чтобъ ты пребывала чиста,
Какъ сердце ея молодое.
Вотъ, нѣжа дыханье и взоръ,

Отъ счастья роза увяла—
И свой благовонный уборъ
Къ твоимъ же ногамъ разоряла!

Но проходила минута артистическаго восхищенія, поэтъ углуб-
лялся въ себя, и вдохновеніе торжественно вступало въ свои права:

...я иду по шаткой пѣнѣ моря
Отважною, нетонущей ногой.
Я пронесу твой свѣтъ чрезъ жизнь земную!
Онъ мой! И съ нимъ двойное бытіе
Вручила ты,—и я, я торжествую,
—Хотя на мигъ—безсмертіе твое!

IX.

Итакъ, жизнерадостный гимнъ неколебимо замкнутого въ своемъ призваніи художника-пантеиста изящному восторгу и просвѣтлѣнію духа среди прекраснаго міра—вотъ что такое по своему философскому содержанію поэзія Фета. Въ этой характеристикѣ не хватаетъ теперь лишь одной, заключительной черты—именно, отношенія поэта къ загадкѣ небытія. Энергія жизненности такъ напряженно сильна у Фета, какъ едвали у какого-нибудь другого поэта въ мірѣ. Безтрепетное спокойствіе предъ лицомъ смерти, не достигающее, правда, до своей высшей степени—до юмористическаго благодушія, съ которымъ народныя пѣсни называютъ ее «злойдѣй скорая смерѣ тушка», потому что юморъ вообще не свойственъ суровой поэзіи Фета,—но допускающее возможность встрѣтить смерть съ улыбкой красной нитью проходитъ черезъ все его творчество. Далекій отъ культа смерти, онъ однако-же съ открытыми глазами, ясно и мирно встрѣчаетъ ея появленіе:

...кто не молить и не просить,
Кому страданье не дано,
Кто жизни злобно не поносить,
А молча, созная, носить
Твое могучее зерно,
Кто дышетъ съ равнымъ напряженьемъ,—
Того, безмолвна, посѣти,
Повѣя полнымъ примиреньемъ,
Ему предстань за сновидѣньемъ
И тихо вѣжды опусти,

говорилъ поэтъ еще въ первой половинѣ своей поэтической дѣятельности. Весеннія грезы, весеннія ощущенія навѣвали ему на душу какія-то свѣтлыя и фантастическія предчувствія смерти.

Еще весна,— какъ будто неземной
 Какой-то духъ ночнымъ владѣть садомъ.
 Иду я молча,—медленно и рядомъ
 Мой темный профиль движется со мной.
 Еще аллея не сумраченъ пріютъ:
 Между вѣтвей небесный сводъ синѣть...
 А я иду—душистый холодъ вѣть
 Въ лицо—иду—и соловьи поютъ...
 Несбыточное грезится опять,
 Несбыточное въ нашемъ бѣдномъ мірѣ,
 И грудь вздыхаетъ радостнѣй и шире,
 И вновь кого-то хочется обнять.
 Придетъ пора—и скоро, можетъ-быть,—
 Опять земля взалкаетъ обновиться,
 Но это сердце перестанетъ биться
 И ничего не будетъ ужъ любить.

Мысль о ясной смерти, увѣнчивающей ясную артистическую жизнь, не измѣняла ему отъ молодости до поздней старости. Мечтая о будущемъ и рисуя себя въ этихъ мечтахъ идиллическія картины сельской жизни, поэтъ говорилъ:

Тамъ, наконецъ, я все, чего душа алкала,
 Ждала, надѣялась, на склонѣ лѣтъ найду
 И съ лона тихаго земнаго идеала
 На лоно вѣчности съ улыбкой перейду.

Въ своемъ изумительномъ стихотвореніи «Никогда» онъ съ неслыханной поэтической смѣлостью взялъ на себя *эстетическое оправданіе смерти*. Поэтъ сошелся здѣсь съ народной сказкой, по которой люди сами стали призывать обратно пойманную и запрягнутую солдатомъ смерть. Умереть, исчезнуть—это даже эстетически необходимое свойство явленія, индивидуума. Какой смыслъ въ моей жизни, если нѣтъ челоуѣчества?

Куда идти, гдѣ некого обнять?

Это поразительное стихотвореніе по философской глубинѣ замысла и неотразимо убѣдительному реализму выполненія принадлежитъ къ числу величайшихъ лирическихъ произведеній вообще. Достоинно восполняющимъ его освѣщеніемъ того-же вопроса съ другой стороны является пьеса «Смерти».

Я въ жизни обмиралъ и чувство это знаю,
 Гдѣ мукамъ всѣмъ конецъ и сладокъ томный хмѣль:
 Вотъ почему я васъ безъ страха ожидаю,
 Ночь безразсвѣтная и вѣчная постель.

Пусть головы моей рука твоя коснется
И ты сотрешь меня со списка бытія;
Но предъ моимъ судомъ, покуда сердце бьется,
Мы силы равныя, и торжествую—я.
Еще ты каждый мигъ моей покорна волѣ,
Ты—тѣнь у ногъ моихъ, безличный призракъ ты,
Покуда я дышу,—ты—мысль моя,—не болѣ,—
Игрушка шаткая тоскующей мечты.

Это торжество надъ смертью потрясаетъ насъ именно своей неподдѣльной искренностью. Индивидуальное существованіе, до изнеможенія неудержимо проявляющаяся «воля къ жизни»,

Какъ лучъ, просящійся во тьму,
совмѣщаетъ въ себѣ у поэта обѣ стороны, и жажду жить, и умѣнье умереть. «Тебя не знаю я», говоритъ онъ *«ничтожеству»* (неточное слово, которое должно-бы было соответствовать по мысли поэта французскому *le néant*),

Тебя не знаю я: болѣзненные крики
На рубежѣ твоёмъ рождала грудь моя
И были для меня мучительны и дики
Условия первыя земнаго бытія.

.....
Хочу тебя забыть надъ тяжкою работой,
Но мигъ—и ты въ глазахъ съ бездонностью своей.
Что-жъ ты? Зачѣмъ? Молчать и чувства и познать...
Чей глазъ хоть заглянулъ на роковое дно?
Ты—это вѣдь я самъ: ты только отрицанье
Всего, что чувствовать, что мнѣ узнать дано.
Что-жъ я узналъ?—Пора узнать, что въ мірозданьи,
Куда ни обратись, вопросъ, а не отвѣтъ;
А я дышу—живу—и понялъ, что въ незнани
Одно прискорбное, но страшнаю въ немъ нить.
А между тьмъ, когда-бъ, въ смятеніи великомъ
Срываясь, силой я хотъ дѣтской обладалъ,
Я встрѣтилъ-бы твой край тьмъ самымъ рѣзкимъ крикомъ,
Съ какимъ я никогда твой берегъ покидалъ!

Философскій духъ стоически встрѣчаетъ смерть; онъ и есть тотъ верховный судья, предъ которымъ смерть лишь «игрушка шаткая тоскующей мечты»; но этотъ разумный духъ живетъ въ преходящемъ тѣлѣ, и его земная оболочка встрѣчаетъ смерть какимъ-то невольнымъ скорбнымъ ужасомъ. Поэту понятенъ и доступенъ этотъ ужасъ, это «смятеніе великое», но онъ допускаетъ его лишь какъ мгновенный переходъ: смерть—мечта, пока я живъ; смерть—«безсмертный храмъ Бога», начальная граница моего участія во всемірномъ безсмертіи съ того момента, какъ я умеръ.

Б. Никольскій.

* * *

Измученъ жизнью, коварствомъ надежды,
Когда имъ въ битвѣ душой уступаю,
И днемъ, и ночью смежаю я вѣжды,
И какъ-то странно порой прозрѣваю.

Еще темнѣе мракъ жизни вседневной,
Какъ послѣ яркой осенней зарницы,
И только въ небѣ, какъ зовъ задушевный,
Сверкають звѣздъ золотыя рѣсницы.

И такъ прозрачна огней безконечность,
И такъ доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я изъ времени въ вѣчность
И пламя твое узнаю, солнце міра!

И неподвижно на огненныхъ розахъ
Живой алтарь мірозданья курится;
Въ его дыму, какъ въ творческихъ грезахъ,
Вся сила дрожить и вся вѣчность снится.

И все, что мчится по безднамъ эфира,
И каждый лучъ, плотской и безплотный,—
Твой только отблескъ, о солнце міра,
И только сонъ, только сонъ мимолетный!..

И этихъ грезъ въ міровомъ дуновеньи,
Какъ дымъ, несусь я и таю невольно,—
И въ этомъ прозрѣньи, и въ этомъ забвеньи
Легко мнѣ жить и дышать мнѣ не больно.

СМЕРТЬ.

«Я жить хочу!»—кричитъ онъ, дерзновенный,—
«Пускай обманъ! о, дайте мнѣ обманъ!»

И въ мысляхъ нѣтъ, что это—ледъ мгновенный,
А тамъ, подъ нимъ,—бездонный океанъ.

Бѣжать?—Куда? Гдѣ правда, гдѣ ошибка?
Опора гдѣ, чтобъ руки къ ней простерть?
Что ни расцвѣтъ живой, что ни улыбка—
Уже подъ ними торжествуетъ смерть!

Слѣпцы напрасно ищутъ, гдѣ дорога,
Довѣрясь чувствъ слѣпымъ поводырямъ;
Но если жизнь—базаръ крикливый Бога,
То только смерть—его безсмертный храмъ.

* *
*

Духъ всюду сущій и единый.

Державинъ.

Я потрясенъ, когда кругомъ
Гудятъ лѣса, грохочетъ громъ,
И въ блескъ огней гляжу я снизу,
Когда, испугомъ обуянъ,
На скалы мечетъ океанъ
Твою серебряную ризу;
Но, просвѣтленный и вѣмой,
Овѣянъ властью неземной,
Стою не въ этотъ мигъ тяжелый,—
А въ часъ, когда, какъ-бы во снѣ,
Твой свѣтлый ангелъ шепчетъ мнѣ
Неизреченные глаголы.
Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
Въ томленьяхъ крайняго усилъя,
И вѣрю сердцемъ, что растутъ

И тотчасъ въ небо унесутъ
Меня раскинутыя крылья.

ПОЭТАМЪ.

Сердце трепещетъ отрадно и больно,
Подняты очи и руки воздѣты;
Здѣсь на колѣняхъ я снова невольно,
Какъ и бывало, предъ вами, поэты.

Въ вашихъ чертогахъ мой духъ окрылился,
Правду провидитъ онъ съ высей творенья;
Этотъ листокъ, что изсохъ и свалился,—
Золотомъ вѣчнымъ горитъ въ пѣснопѣни.

Только у васъ мимолетныя грезы
Старыми въ душу глядятся друзьями,
Только у васъ благовонныя розы
Вѣчно восторга блистаютъ слезами.

Съ торжищъ житейскихъ, безцвѣтныхъ и душевныхъ,
Видѣть такъ радостно тонкія краски;
Въ радугахъ вашихъ, прозрачно воздушныхъ,
Неба родного мнѣ чудятся ласки.

ТЕПЕРЬ.

Мой прахъ уснетъ, забытый и холодный,
А для тебя настанетъ жизни май;
О, хоть на мигъ душою благородной
Тогда стихамъ, звучавшимъ мнѣ, внимай!

И вдумчивымъ и чуткимъ сердцемъ дѣвы
Безумныхъ сновъ волненія ты поймешь,
И отъ чего въ дрожащія напѣвы
Я уходилъ—и ты за мной уйдешь.

Привѣтами, встающими изъ гроба,
Сердечныхъ тайнъ безсмертье ты проверь:
Внѣвременной повѣемъ жизнью оба,
И ты, и я, мы встрѣтимся—теперь.

*
*
*

Далекій другъ, пойми мои рыданья!
Ты мнѣ прости болѣзненный мой крикъ—
Съ тобой цвѣтутъ въ душѣ воспоминанья
И дорожить тобой я не отвыкъ.

Кто скажетъ намъ, что жить мы не умѣли,
Бездушные и праздные умы,
Что въ насъ добро и нѣжность не горѣли
И красотѣ не жертвовали мы?—

Гдѣ-жъ это все? Еще душа пылаетъ,
По прежнему готова міръ объять...
Напрасный жаръ!—никто не отвѣчаетъ;
Воскреснутъ звуки—и замрутъ опять.

Лишь ты одна! Высокое волненье
Издалека мнѣ голосъ твой принеси—
Въ ланитахъ кровь и въ сердцѣ вдохновенье...
Прочь этотъ сонъ,—въ немъ слишкомъ много слезъ!

Не жизни жаль съ томительнымъ дыханьемъ—
Что жизнь и смерти! А жаль того огня,
Что просіялъ надъ цѣлымъ мірозданьемъ,
И въ ночь идетъ,—и плачетъ, уходя!..

*
*
*

Еще люблю, еще томлюсь
Передъ всемірной красотой
И ни за что не отрекусь
Отъ ласкъ ниспосланныхъ тобою.

Покуда на груди земной,
Хотя съ трудомъ, дышать я буду—
Весь трепеть жизни молодой
Мнѣ будетъ внятень отовсюду.

Покорны солнечнымъ лучамъ,
Такъ сходятъ корни въ глубь могилы
И тамъ у смерти ищутъ силы
Бѣжать на встрѣчу вешнимъ днямъ.

*
*
*

Какая грусть! Конецъ аллеи
Опять съ утра исчезъ въ пыли,
Опять серебряныя змѣи
Черезъ сугробы поползли.
На небѣ—ни клочка лазури,
Въ степи—все гладко, все бѣло;
Одинъ лишь воронъ противъ бури
Крылами машетъ тяжело.
И на душѣ не разсвѣтаетъ—
Въ ней тотъ-же холодъ, что кругомъ;
Лѣниво дума засыпаетъ
Надъ умирающимъ трудомъ...
А все надежда въ сердцѣ тлѣетъ,
Что, можетъ быть, хоть невзначай,
Опять душа помолодѣетъ,
Опять родной увидитъ край—
Гдѣ бури пролетаютъ мимо,
Гдѣ дума страстная чиста,
И, посвященнымъ только зримо,
Цвѣтетъ весна и красота.

НИКОГДА.

Проснулся я... Да, крыша гроба!—Руки
Съ усиьемъ простираю и зову
На помощь. Да, я помню эти муки
Предсмертныя,—да, это на яву!—
И безъ усилий, словно паутину,
Сотлѣвшую раздвинулъ домовину.
И всталъ. Какъ ярокъ этотъ зимній свѣтъ
Во входѣ склепа! Можно-ль сомнѣваться?
Я вижу свѣтъ. На склепѣ двери нѣтъ.
Пора домой. Вотъ дома изумятся!
Мнѣ паркъ знакомъ, нельзя съ дороги сбиться...
А какъ онъ весь успѣлъ перемѣниться!
Бѣгу. Сугробы. Мертвый лѣсъ торчитъ

Недвижными вѣтвями въ глубь эфира,
 Но ни слѣдовъ, ни звуковъ. Все молчить,
 Какъ въ царствѣ смерти сказочнаго міра.
 А вотъ и домъ... Въ какомъ онъ разрушеніи!
 И руки опустились въ изумленьи.
 Селенье спитъ подъ снѣжной пеленой,
 Тропинки нѣтъ во всей степи раздольной.
 Да, такъ и есть! Надъ дальнею горой
 Узналъ я церковь съ ветхой колокольной.
 Какъ мерзлый путникъ въ снѣговой пыли,
 Она торчитъ въ безоблачной дали.
 Ни зимнихъ птицъ, ни мошекъ на снѣгу.
 Все понялъ я! Земля давно остыла
 И вымерла. Кому же берегу
 Въ груди дыханье? Для кого могила
 Меня вернула? И мое сознанье
 Съ чѣмъ связано? И въ чемъ его призванье?
 Куда идти, гдѣ некого обнять?
 Тамъ, гдѣ въ пространствѣ затерялось время?
 Вернись же, смерть, поторопись принять
 Последней жизни роковое бремя!
 А ты, застывшій трупъ земли, лети,
 Неся мой трупъ по вѣчному пути!

* *
* *

Я долго стоялъ неподвижно,
 Въ далекія звѣзды глядясь,—
 Межъ тѣми звѣздами и мною
 Какая-то связь родилась.

Я думалъ... не помню, что думалъ,—
 Я слушалъ таинственный хоръ;
 И звѣзды тихонько дрожали,
 И звѣзды люблю я съ тѣхъ поръ...

СРЕДИ ЗВѢЗДЪ.

Пусть мчитесь вы, какъ я покорны мигу,
 Рабы, какъ я, мнѣ прирожденныхъ числу,

Но, лишь взгляну на огненную книгу,—
Не численный я въ ней читаю смыслъ.

Въ вѣнцахъ, лучахъ, алмазахъ, какъ калифы,
Излишнія средь жалкихъ нуждъ земныхъ,
Незыблемой мечты іероглифы,
Вы говорите: «Вѣчность—мы; ты—мигъ».

«Намъ нѣтъ числа. Напрасно мыслью жадной
«Ты думы вѣчной догоняешь тѣнь;
«Мы здѣсь горимъ, чтобъ въ сумракъ непроглядный
«Къ тебѣ просился беззакатный день».

«Вотъ почему, когда дышать такъ трудно,
«Тебѣ отрадно такъ поднять чело
«Съ лица земли, гдѣ все темно и скудно,
«Къ намъ, въ нашу глубь, гдѣ пышно и свѣтло».

* *
*

Спи,—еще зарею
Холодно и рано;
Звѣзды за горою
Блещутъ средь тумана.
Пѣтухи недавно
Въ третій разъ пропѣли,
Съ колокольни плавно
Звуки пролетѣли.
Дышать лишь верхушкѣ и
Нѣгою отрадной,
А углы подушки
Влагою прохладной.

* *
*

Буря на небѣ вечернемъ,
Моря сердитаго шумъ;

Буря на морѣ и думы—
 Много мучительныхъ думъ.
 Буря на морѣ и думы—
 Хоръ возрастающихъ думъ;
 Черная туча за тучей,
 Моря сердитаго шумъ.

* *
 *

Какъ мошки зарю,
 Крылатые звуки толпятся;
 Съ любимой мечтою
 Не хочется сердцу разстаться.
 Но цвѣтъ вдохновенья
 Печаленъ средь будничныхъ терній;
 Былое стремленье
 Далеко, какъ отблескъ вечерній.
 Но память былого
 Все крадется въ сердце тревожно...
 О, еслибъ безъ слова
 Сказаться душой было можно!

* *
 *

Какая ночь! На всемъ какая нѣга!
 Благодарю, родной, полночный край!
 Изъ царства льдовъ, изъ царства вьюгъ и снѣга
 Какъ свѣжъ и чистъ твой вылетаетъ май!
 Какая ночь! Всѣ звѣзды до единой
 Тепло и кротко въ душу смотреть вновь,
 И въ воздухѣ за пѣсней соловьиной
 Разносится тревога и любовь.
 Березы ждутъ. Ихъ листъ полупрозрачный
 Застѣнчиво манитъ и тѣшитъ взоръ...
 Онѣ дрожать. Такъ дѣвъ новобрачной
 И радостенъ и чуждъ ея уборъ.

Нѣтъ, никогда нѣжнѣй и безтѣлеснѣй
 Твой ликъ, о ночь, не могъ меня томить!
 Опять къ тебѣ иду съ невольной пѣсней,
 Невольной и послѣдней можетъ быть.

* * *

Какъ нѣжишь ты, серебряная ночь,
 Въ душѣ разсвѣтъ нѣмой и тайной силы!
 О, окрыли, и дай мнѣ превозмочь
 Весь этотъ тлѣнъ, бездушный и унылый!

Какая ночь! Алмазная роса
 Живымъ огнемъ съ огнями неба въ спорѣ;
 Какъ океанъ, разверзлись небеса,
 И спитъ земля, и теплится, какъ море.

Мой духъ, о ночи! какъ падшій Серафимъ,
 Признать родство съ нетлѣнной жизнью звѣздной,
 И, окрыленъ дыханіемъ твоимъ,
 Готовъ летѣть надъ этой тайной бездной.

* * *

Мѣсяцъ зеркальный плыветъ по лазурной пустынѣ,
 Травы степныя унизаны влагой вечерней,
 Рѣчи отрывистѣй, сердце опять суевѣрнѣй,
 Длинные тѣни вдали потонули въ ложбинѣ.

Въ этой ночи, какъ въ желаніяхъ, все безпредѣльно,
 Крылья растутъ у какихъ-то воздушныхъ стремленій,
 Взялъ-бы тебя и помчался-бы также безцѣльно,
 Свѣтъ унося, покидая невѣрныя тѣни.

Можно-ли, другъ мой, томиться въ тяжелой кручинѣ?
 Какъ не забыть, хоть на время, извительныхъ терній?
 Травы степныя сверкаютъ росой вечерней,
 Мѣсяцъ зеркальный бѣжитъ по лазурной пустынѣ.

* *
* *

О, какъ волнуюся я мыслию больною,
 Что въ мигъ, когда закатъ такъ дѣвственно хорошъ,
 Здѣсь на балконѣ ты, лицомъ передъ зарею,
 Восторга моего, быть можетъ, не поймешь!
 Внизу—померкшій садъ уснулъ. Лишь тополь дальній
 Все грезить въ вышинѣ и ставить листь ребромъ,
 И зыблеть, уловя денницы блескъ прощальный,
 И чистымъ золотомъ, и мелкимъ серебромъ.
 И вѣрить хочется, что все, что такъ прекрасно,
 Такъ тихо властвуетъ въ прозрачный этотъ мигъ,
 Но небу и душѣ проходить не напрасно,
 Какъ оправданіе стремленій роковыхъ.

* *
* *

Въ лѣса безлюдной стороны
 И чуждой шумному веселью
 Меня порой уносятъ сны
 Въ твою привѣтливую келью.
 Въ благоуханьи простоты,
 Цвѣтокъ—дита дубравной сѣни,
 Опять встрѣчать выходишь ты
 Меня на шаткія ступени.
 Вечерній воздухъ влажно чистъ;
 Вся покраснѣвъ, ты жмешь мнѣ руки,
 И, сонныхъ липъ тревожа листь,
 Порхаютъ гаснушіе звуки.

КЪ ОФЕЛІИ.

Какъ ангелъ неба безмятежный,
 Въ сіяньи тихаго огня,
 Ты помолишь душою нѣжной
 И за себя, и за меня!

Ты отъ меня любви словами
Сомнѣнья духа отжени,
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осѣни.

* * *

Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ,
Всѣхъ въ немъ цвѣтовъ благовонія слышны;
Кудри твои такъ обильны и пышны,—
Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!

Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ,
Яснаго взора губительна сила;
Нѣтъ, я не вѣрю, чтобъ ты не любила,—
Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!

Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ;
Счастью сердце легко отдается,
Мнѣ близъ тебя хорошо, и поется...
Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!

* * *

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый
Дремлющихъ кленовъ шатерь;
Только въ мірѣ и есть, что лучистый
Дѣтски-задумчивый взоръ;
Только въ мірѣ и есть, что душистый
Милой головки уборъ;
Только въ мірѣ и есть—этотъ чистый
Въ лѣво бѣгущій проборъ.

* * *

Сіяла ночь; луной былъ полонъ садъ; лежали
Лучи у нашихъ ногъ въ гостиной безъ огней;
Рояль былъ весь раскрытъ, и струны въ немъ дрожали,
Какъ и сердца у насъ, за пѣснюю твоей.

Ты пѣла до зари, въ слезахъ изнемогая,
Что ты одна—любовь, что нѣтъ любви иной,
И такъ хотѣлось жить, чтобъ звука не теряя,
Тебя любить, обнять и плакать надъ тобой.

И много лѣтъ прошло томительныхъ и скучныхъ,
И вотъ въ тиши ночной твой голосъ слышу вновь,
И вѣтъ какъ тогда, во вздохахъ этихъ звучныхъ,
Что ты одна—вся жизнь, что ты одна—любовь.

Что нѣтъ обидъ судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нѣтъ конца и цѣли нѣтъ иной,
Какъ только вѣровать въ рыдающіе звуки,
Тебя любить, обнять и плакать надъ тобой.

ALTER EGO.

Какъ лилея глядится въ нагорный ручей,
Ты стояла надъ первою пѣсней моею;
И была-ли при этомъ побѣда, и чья?—
У ручья-ль отъ цвѣтка, у цвѣтка-ль отъ ручья?..

Ты душою младенческой все поняла,
Что мнѣ высказать тайная сила дала,
И хотъ жизнь безъ тебя суждено мнѣ влечить,
Но мы вмѣстѣ съ тобой—насъ нельзя разлучить!

Та трава, что вдали на могилѣ твоей,
Здѣсь, на сердцѣ,—чѣмъ старѣ оно, тѣмъ свѣжѣй;
И я знаю, взглянувши на звѣзды порой,
Что взирали на нихъ мы какъ боги съ тобой!

У любви есть слова,—тѣ слова не умрутъ;
Насъ съ тобой ожидаетъ особенный судъ:
Онъ съумѣетъ насъ сразу въ толпѣ различить,
И мы вмѣстѣ придемъ,—насъ нельзя разлучить!

Я. П. Полонскій

I.

Загадочная поэзія Полонскаго до сихъ поръ не нашла себѣ толковаго истолкованія въ нашей критикѣ. Наиболѣе удовлетворительныя въ этомъ отношеніи попытки принадлежать И. С. Тургеневу и Н. Н. Страхову и относятся еще къ 1870 году. Но и эти попытки, «поставивъ задачу»—намѣтивъ общіе контуры предмета, указавъ направление пути дальнѣйшимъ изслѣдователямъ, сами не дали исчерпывающаго рѣшенія, не сказали «смыкающаго» слова. И вторая изъ нихъ (Н. Н. Страхова), наиболѣе подробная, устранивъ всѣ входящія элементы проблемы, разрѣшивъ всѣ предварительныя недоумѣнія, довела дѣло вплоть до кореннаго вопроса: «*что такое муза поэта?*»—и, задавъ его въ этой именно формѣ, здѣсь остановилась. Критикъ самъ признался, что имѣетъ дѣло съ «самымъ труднымъ изъ нашихъ поэтовъ».

Надо надѣяться, что недавнее появленіе отдѣльнаго полнаго изданія стихотвореній Полонскаго вызоветъ особенное, усиленное вниманіе къ этому, едва-ли не равно богатому достоинствами и недостатками, своеобразному и прихотливому творчеству,—и у нашего поэтического сфинкса найдется, наконецъ, свой Эдипъ. А пока, нисколько не претендуя на роль этого послѣдняго, не имѣя въ виду даже пускаться въ отвѣтственные розыски и заключенія, ограничимся простымъ подборомъ матеріала для таковыхъ, снабдивъ его нѣсколькими пояснительными замѣчаніями.

Трудность оцѣнки поэзіи Полонскаго заключается, быть можетъ, помимо чрезвычайной разносторонности и отзывчивости его музы, въ своеобразной неопредѣленности настроеній, какъ-бы окутывающей туманомъ и тайною весь его поэтический обликъ. Эта поэзія отнюдь не освѣщена внутреннимъ огнемъ теоретической мысли. Не сравнивая уже Полонскаго въ этомъ отношеніи съ «поэтами-фяло-

софами»—Тютчевымъ, Фетомъ, Баратынскимъ, достаточно сопоставить его хотя-бы съ ближайшими сверстниками—Майковымъ, Огаревымъ или Алексѣемъ Толстымъ. Хотя не мыслители въ спеціальномъ значеніи слова, эти поэты вводятъ насъ въ кругъ творчества настолько яснаго, цѣльнаго и законченнаго, что намъ немедленно становятся понятны и границы и руководящія нити и главенствующій центръ этого творчества. «Поэзія классицизма»—вотъ творчество Майкова; «поэзія матеріализма»—вотъ творчество Огарева; «поэзія христіанской идеи»—вотъ творчество Алексѣя Толстого. Таковы рѣшающіе моменты этихъ поэтическихъ индивидуальностей; во всемъ остальномъ онѣ могутъ разбрасываться и уходить далеко отъ центральной точки, но ея вліяніе, какъ сила магнитнаго полюса для стрѣлки компаса, будетъ чувствоваться всюду. Таковъ-же въ общихъ чертахъ характеръ творчества и Лермонтова, Апухтина, гр. Голенищева-Кутузова. Своей неопредѣленностью, своей стихійной силою художественнаго воспроизведенія, при отсутствіи полнаго сознанія, Полонскій напоминаетъ среди нашихъ поэтовъ никого иного, какъ царя ихъ—Пушкина. Только у Пушкина мы встрѣчаемъ ту-же бессознательную вѣрность рисунка, то-же какъ-бы невольное проникновеніе въ правду явленія, то-же «простодушіе», ту-же «искренность и наивность», которыя отмѣчали у Полонскаго всѣ аго критики. Подобно Пушкину, Полонскій любитъ и не боится обращаться къ самой обыденной, самой пошлой дѣйствительности, чтобы и тамъ найти искры поэзіи, чтобы раскрыть заключенную въ ней красоту. Какъ Пушкинъ умѣлъ «возводить въ перлъ созданія» и «жаръ котлетъ», и «бобровый воротникъ», и «звонкую мостовую» Одессы, — такъ и у Полонскаго сплетаются въ истинно-художественную картину, «претворяются въ чистое золото поэзіи», всѣ самыя мелкія и, казалось-бы, безнадежно-прозаическія подробности реальной жизни. Что, напримѣръ, можетъ быть анти-эстетичнѣе и возмутительно-уродливѣе петербургскихъ безконечныхъ, холодныхъ и сырыхъ лѣстницъ, уныло тонущихъ въ сумеркахъ осенняго дня? Нѣтъ, кажется, никакой возможности вдохновиться этимъ впечатлѣніемъ, отыскать здѣсь хоть единую черту, отвѣчающую высокимъ и свѣтлымъ требованіямъ искусства. И, однако, поэтъ ухитряется сплести именно самое чуткое и возвышенное настроеніе сердца съ этой угнетающей обстановкой (стихотвореніе «У двери»):

Однажды въ ночь осеннюю,
Пройдя пустынный дворъ,

Я на крутую лѣстницу
 Вскрабкался какъ воръ.
 Тамъ дверь одну завѣтную
 Въ потьмахъ нащупалъ я,
 И постучался.—Милая!
 Не бойся... это я...
А мила въ окно разбитое
Сползала на чердакъ,
И смрадъ столалъ на лѣстницѣ,
И шевелился мракъ...
 Вотъ-вотъ она откликнется,
 И блѣдная рука
 Меня обниметъ трепетно
 При свѣтѣ ночника.
 По прежнему, на грудь ко мнѣ
 Склонясь, она вздохнетъ,
 И страстный голосокъ ея
 Порвется и замретъ...

Стихотвореніе кончается въ совершенно иномъ настроеніи, но съ тѣмъ-же соотвѣтствіемъ обстановки и сюжета:

Мерещился мнѣ трупъ ея,
 Потухшіе глаза,
 И съ горькой укоризною
 Застывшая слеза.
Я плакала, я съ ума сходила,
Я милой видѣла тѣнь,
Холодную и блѣдную,
Какъ этотъ стрый день.
 Уже въ окно разбитое
 На сумрачный чердакъ
 Глядѣло небо тусклое,
 Разсѣвая мракъ.
И дождь урчалъ по жолобу,
И оттеръ былъ, какъ зѣбрь...

Аналогичныхъ примѣровъ у Полонскаго найдется много, начиная съ перваго-же стихотворенія, которымъ открывается новое изданіе его стиховъ («Дорога») и продолжая извѣстными романсами «За окномъ въ тѣни мелькаетъ...» и «Въ одной знакомой улицѣ...» Особенно-же характерно въ этомъ отношеніи «Второе письмо къ музѣ», а—изъ помѣщенныхъ въ этомъ сборникѣ—стихотворенія «Колокольчикъ» и «Финскій берегъ».

Но это выслѣживаніе красоты, это рискованное балансированіе на границѣ прозы и поэзіи, не всегда кончается благополучно для

Полонскаго—безусловный тактъ Пушкина не перешелъ къ нему. Вкусъ Полонскаго зависитъ, кажется, всецѣло отъ его вдохновенія: **бессознательность** творчества сказывается и здѣсь. Безукоризненно **изящный**, «художникъ-аристократъ», въ лучшихъ своихъ стихахъ, онъ способенъ иногда одной неловкой чертой, одной неудачной строчкой испортить впечатлѣніе цѣлой пьесы. (Такъ напримѣръ превосходное стихотвореніе «Послѣдній разговоръ» испорчено невозможнымъ стихомъ «До пріятнаго свиданія съ тобой...»; въ посланіи къ Тургеневу досадная строчка «*Повѣся носъ, потупя взоръ...*» портитъ вдохновенное лирическое мѣсто). Такія стихотворенія, какъ «Голодь», «Спирить», «Встрѣча или тщетныя надежды старичка» вызываютъ невольную досаду при каждомъ чтеніи.

Изъ послѣдней хижины
Выбейте костлявое
Чудище мозглявое,
Хриплое, увѣчное
И безчеловѣчное!—

что общаго имѣютъ съ поэзіей такіе стихи? Впрочемъ, объ этомъ печальномъ обстоятельстве не стоитъ распространяться, ибо недостатки поэта ни въ какомъ случаѣ не составляютъ его индивидуальности.

Гораздо интереснѣе тѣ особенности формы, тотъ *свой*, оригинальный «ладъ стиховъ», отмѣченный въ поэзи Полонскаго еще Тургеневымъ, который прорывается подчасъ даже въ самыхъ неудачныхъ его вещахъ, а въ удачныхъ составляетъ какъ-бы колоритъ картины, «тонъ дѣлающій музыку». Такими характерными строками кончается, напримѣръ, длинное и натянутое стихотвореніе «Міазмъ»:

Но съ тѣхъ поръ хозяйка въ сѣверной столицѣ
Что-то не живетъ;
Вѣчно—то въ деревнѣ, то на югѣ, въ Ниццѣ...
Домъ свой продаетъ...—
И пустой стоитъ онъ,—только дождь стучится
Въ запертой подъездѣ,
Да съ окошкѣхъ темныхъ по ночамъ слезится
Отраженіе зѣвѣдъ.

Прелестная «Качка въ бурю» украшена типичнѣйшими штрихами à la Полонскій:

Снится мнѣ: я свѣжъ и молодъ,
Я влюбленъ, мечты кипятъ...

*Отъ зары роскошный холодъ
Проникаетъ въ садъ.*

Кто не чувствуетъ своеобразнаго очарованія такихъ стиховъ, ихъ безспорной индивидуальности, тому этого, по справедливому замѣчанію Тургенева, «нельзя растолковать». «Это не по его части». Но для «посвященныхъ» эта черта составляетъ едва-ли не главную прелесть поэзіи Полонскаго *).

Вмѣстѣ съ характеристикой формы, Тургеневъ далъ въ своей статьѣ ясный намекъ и на особенности содержанія, на излюбленныя темы вдохновеній нашего поэта, совѣтуя «искать настоящаго Полонскаго» — «тамъ, гдѣ онъ рисуетъ образы, навѣянные ему *то ежедневною, почти будничною жизнью*, то своеобразною, часто до странности смѣлою *фантазій*». Мы видѣли уже, какъ справедлива первая половина этого указанія. Еще богаче второй изъ отдѣловъ намѣченныхъ Тургеневымъ. Фантастическій элементъ играетъ въ творествѣ Полонскаго, можно сказать, господствующую роль: его стихотворенія въ большинствѣ похожи на сказки или легенды. У всякаго поэта есть свой специфическій источникъ вдохновенія, свой стимулъ творчества. Какъ вѣяніе классицизма для Майкова, какъ абстрактная мысль для Тютчева, какъ восторгъ пантеистическаго созерцанія для Фета, — для Полонскаго такимъ стимуломъ служить проза жизни съ одной стороны, фантастическій міръ видѣній и сновъ съ другой. Уже первое стихотвореніе, обратившее на него нѣкогда вниманіе критики и публики, была знаменитая полу-сказка, полу-басня «Солнце и мѣсяцъ». Въ предлагаемомъ сборникѣ читатель найдетъ ея прелестный «пандантъ» — стихотвореніе «Влюбленный мѣсяцъ». Къ тому

*) Иногда стихъ Полонскаго пріобрѣтаетъ неожиданную яркость и силу, ~~еще~~ же чисто металлическую звучность (какъ въ «кавказскихъ» стихотвореніяхъ):

Что-жъ медлю я?.. Бичи! — ты, конюхъ мой проворный, —
Коня!! Ея арбу два буйвола съ трудомъ
Везутъ, — догонимъ... *Вонъ, играетъ вътеръ горный*
Катібы бархатной пунцовымъ рукавомъ...

Или:

Я не приду къ тебѣ.. Не жди меня! Недаромъ,
Едва потухло зарево вари,
Всю ночь зурна звучитъ за Аслабѣромъ,
Всю ночь за баями поютъ савандарі.

Эти полновѣсные, звонкіе до звукоподражанія, точно вылитые изъ бронзы стихи не уступаютъ лучшимъ образцамъ Державина, Пушкина, Лермонтова или Языкова.

же жанру относится и шедевръ Полонскаго, «гвоздь» его поэзиі— «Кузнечикъ-музыкантъ».

Собственно стихотвореній съ чисто фантастическимъ сюжетомъ у Полонскаго немного (таковы, напр., довольно популярныя «Сны», между которыми особенно удачно «Подсолнечное царство»). Гораздо чаще фантазія поэта не покидаетъ реальной почвы и сказочный элементъ прихотливо переплетается съ обыкновенною лирикой. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательно стихотвореніе «Холодѣющая ночь». Здѣсь цѣлый рядъ личныхъ настроеній, всѣ переходы впечатлѣній при постепенномъ возвращеніи поэта съ юга на сѣверъ заключены въ фантастическомъ образѣ «Холодѣющей Ночи»—лиризмъ автора какъ-бы дѣлится между нимъ и его аллегорической спутницей. Стихотворенія «Зимняя невѣста», «Качка въ бурю», «Зимній путь», «Сбѣжавшая больная», «Мельникъ»—всѣ представляютъ эту ассимиляцію мечты и дѣйствительности. Даже когда Полонскій становится, кажется, твердо на реальный фундаментъ, когда онъ описываетъ какое-либо самое подлинное, чуть-ли не ежедневное житейское «происшествіе»—и тамъ создаетъ онъ какую-то полу-легенду, какую-то «сказку дѣйствительности», какъ «Вдова», «Казачка», «Хуторки» или чудесный «Деревенскій сонъ». Наконецъ, прочитайте въ этомъ сборникѣ стихотворенія «Иная зима», «Они», «Лѣсъ», «Въ глуши», «Заплети свои темныя косы вѣнцомъ...»—по содержанію это самыя обыкновенныя лирическія пьесы, но въ какой призрачной обстановкѣ раскрываются ихъ настроенія, какимъ волшебнымъ огнемъ фантазіи озарены эти картины!

Здѣсь снова уместна ссылка на «Второе письмо къ музѣ». Это стихотвореніе представляетъ какъ-бы программу поэзиі Полонскаго:

Подо мной таились клады,
Надо мной стрижи звенѣли,
Выше—въ небѣ,—надъ Рязанью,
Къ югу лебеди летѣли.
А внизу виднѣлась будка
Съ алебардой, мостъ, да пара
Фонарей, да бабы въ кичкахъ
Шли ко всенощной съ базара.
Имъ на встрѣчу съ колокольни
Несся гулкій звонъ вечерній;
Тѣни шире разrostались,
Я крестился суевѣрнѣй...

Въ этой художественной миниатюрѣ сливаются оба «лейтмотива» творчества Полонскаго—поэзія будней и поэзія сказки.

II.

Зная основные мотивы нашего поэта, сильные стороны его таланта, легко угадать и слабыя—легко предвидѣть, что абстрактная философская мысль не можетъ быть близко свойственна этой фантастической лирикѣ. И дѣйствительно, такъ называемые «вѣчные вопросы» встрѣчаются обыкновенно Полонскимъ грустнымъ недоумѣніемъ или-же безотчетною вѣрой, точнѣе даже попыткой вѣрить.

Его творческія впечатлѣнія не даютъ ему никакого рѣшенія міровыхъ загадокъ и изъ всѣхъ его размышленій не складывается никакого опредѣленнаго міросозерцанія. Не даромъ-же такимъ «труднымъ» кажется Полонскій для его критиковъ. Самымъ лучшимъ изъ «философскихъ» его стихотвореній является, кажется, «Міровая ткань», которую читатель найдетъ въ этомъ сборникѣ.

Ткань природы міровая—
Риза—Божья, *можетъ быть*—

начинаетъ поэтъ. Все стихотвореніе, несмотря на достоинства формы, не даетъ ничего рѣзко типичнаго, индивидуальнаго въ своемъ содержаніи. Это не болѣе какъ «философскій трюизмъ»—и, помимо подписи, его нѣтъ особыхъ основаній приписывать перу Полонскаго. Если за каждымъ аналогичнымъ стихотвореніемъ Тютчева или Фета, вы чувствуете скрытымъ цѣлый строй мысли, опредѣленную философскую систему; если, до извѣстной степени, то же впечатлѣніе получается даже отъ произведеній Майкова, Огарева, Алексѣя Толстого, то всѣ примѣры отвлеченнаго мышленія у Полонскаго представляютъ лишь разрозненныя попытки случайнаго характера. Таковы въ этомъ сборникѣ три первыхъ пьесы: («Міровая ткань», «Священный благовѣстъ торжественно звучитъ...» и «То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну...»); таковы въ собраніи стихотвореній «Ночная дума», «Съ колыбели мы, какъ дѣти...», «Дѣтство нѣжное, пугливое...», «Н. И. Лорану» («Други! по слякоти дорожной...»), «На пути» («Хмурая застигла ночь...»), «Вечерній звонъ», «Послѣ разлива весенняго—лѣто...», «Сѣрые годы», «Пустыя ножны», «Выжатые лимоны» (последнее интересно по своему фантастическому колориту)—и многія другія, —вплоть до невошедшей въ новое изданіе, недавно напечатанной въ «Нивѣ», «Капли». Во всѣхъ этихъ вещахъ своеобразна и индивидуальна только

форма—стихъ и образы Полонскаго; содержаніе-же—если не сбивается на трюизмъ—не идетъ дальше элементарныхъ настроеній.

Впрочемъ, въ этомъ фактѣ нѣтъ еще, собственно говоря, ничего особенно печальнаго для нашего поэта: этотъ пробѣлъ таланта является, конечно, неизбежной оборотной стороной его достоинствъ.

Несамостоятельность отвлеченной мысли Полонскаго не укрывалась и отъ Тургенева, несмотря на дружескія симпатіи его къ поэту. Онъ прямо отмѣчаетъ, какъ «слабую сторону таланта» Полонскаго, «его нѣсколько наивное подчиненіе тому, что называется высшими философскими взглядами, послѣднимъ словомъ общечеловѣческаго прогресса и т. п. Искреннее уваженіе, даже удивленіе, которымъ онъ (Полонскій) проникается передъ лицомъ этихъ «вопросовъ», внушаетъ ему стихотворенія, то торжествующія, то печальныя, въ которыхъ благонамѣренность и чистота убѣжденія не всегда сопровождается глубиною мысли, силой и блескомъ выраженія». Дѣйствительно, вся публицистическая лирика Полонскаго, еще болѣе, чѣмъ его философскія попытки, подтверждаетъ заключеніе Тургенева. Правда, въ ней—среди многихъ слабыхъ—найдется не мало стихотвореній вполнѣ удачныхъ и даже оригинальныхъ, не только по формѣ, но и по трактовкѣ сюжета, (какъ «Шиньонъ», «Орелъ и змѣя», «Нищій», «Бѣда-проповѣдникъ», «Бѣглый», «Литературный врагъ», «На улицахъ Парижа», «Что мнѣ она—не жена не любовница...», «Бранять», «Враждою народовъ стезя...» и др.), но всѣ они опять-таки не складываются ни въ какой опредѣленный строй мысли—въ систему политическихъ убѣжденій, представляясь рядомъ единичныхъ публицистическихъ опытовъ, связанныхъ съ именемъ Полонскаго только внѣшними своими качествами. Кромѣ того, и въ отдѣльности взятое каждое изъ этихъ стихотвореній не скажетъ намъ въ концѣ-концовъ ничего такого, чего мы не знали-бы о данномъ предметѣ и до его прочтенія. Мысль стихотворенія можетъ быть вѣрна, постановка вопроса оригинальна, изложеніе остроумно, форма изящна, но ни разу гражданскіе стихи Полонскаго не откроютъ намъ новыхъ горизонтовъ, никогда не одушевятъ неожиданной энергіей. Конечно, «поэтъ-гражданинъ», уже по самымъ условіямъ своей задачи, такъ сказать ех professo, всегда находится въ извѣстномъ подчиненіи «зlobѣ дня», и для него труднѣе, чѣмъ для кого-либо, соблюденіе заветовъ Пушкина:

... дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

или Майкова:

„Не отставай отъ вѣка“—лозунгъ лживый,
Коранъ толпы.—Нѣтъ; выше вѣка будь!
Зигзагами онъ свой свершаетъ путь,
И вкривъ, и вкось стремя свои разливы...

Но все-же и въ границахъ этой «прикладной поэзіи» остается полная возможность ясно запечатлѣть свою индивидуальность—заявить свою оригинальную *profession de foi*, какъ Тютчевъ и Алексѣй Толстой, или хотя-бы лозунги своей партіи, какъ Некрасовъ.

До извѣстной степени можно, впрочемъ, принять характеристику «направленія» Полонскаго, сдѣланную Страховымъ, который причисляетъ нашего поэта къ «чистымъ западникамъ», сближая его съ такими его современниками и отчасти сотоварищами, какъ Грановскій, Герценъ, Тургеневъ. «Направленіе у г. Полонскаго есть»—категорически заявляетъ Страховъ.—«Это направленіе, дѣйствительно, не имѣетъ въ себѣ ничего рѣзкаго, узкаго, бросающагося въ глаза, но, тѣмъ не менѣе, оно есть направленіе вполне ясное и опредѣленное. Это—знаменитое направленіе, котораго лучшимъ представителемъ былъ Грановскій. Это—поклоненіе *всему прекрасному и высокому* (курсивъ Страхова), служеніе истинѣ, добру и красотѣ, любовь къ просвѣщенію и свободѣ, ненависть ко всякому насилию и мраку. По мѣсту духовнаго развитія г. Полонскій принадлежитъ Москвѣ и московскому университету сороковыхъ годовъ, и онъ до конца остается вѣренъ лучшимъ стремленіямъ тогдашней блестящей эпохи. Въ его стихахъ вы безпрестанно встрѣтите теплое слово, обращенное къ свѣтлымъ идеаламъ, которыми тогда жила литература и которые въ сущности никогда не должны въ ней умирать. Любовь къ человѣчеству, стремленіе къ свѣту науки, благоговѣніе передъ искусствомъ и предъ всѣми родами духовнаго величія—вотъ постоянныя черты поэзіи г. Полонскаго. Если г. Полонскій не былъ провозвѣстникомъ этихъ идей; то онъ всегда былъ ихъ вѣрнымъ поклонникомъ». (Н. Н. Страховъ. «Замѣтки о Пушкинѣ».—Статья «*Некрасовъ и Полонскій*», стр. 138—139 *). Эта характеристика страдаетъ нѣкоторой неопредѣленностью, что впрочемъ можетъ быть объяснено отчасти неопредѣленностью самаго характеризуемаго направленія—такъ называемаго «чистаго западничества». Во всякомъ случаѣ цитирован-

*) Эти мысли Страхова были недавно подробно развиты г. Ю. Николаевымъ въ статьѣ о поэзіи Полонскаго, напечатанной въ «Моск. Вѣдомостяхъ».

ный отрывокъ представляетъ наиболѣе вѣскую защиту гражданской лирики Полонскаго. Тѣмъ интереснѣе, что она лишь подтверждаетъ высказанный выше взглядъ на несамостоятельность этой лирики: не только Полонскій не составлялъ самъ своей партіи, подобно Алексѣю Толстому, но даже въ тѣхъ рядахъ, куда не безъ основаній причисляетъ его Страховъ, онъ отнюдь не игралъ роли трибуна. По стихамъ Полонскаго нельзя возстановить всю цѣльность настроеній сороковыхъ годовъ, какъ по стихамъ Некрасова міросозерцаніе «шестидесятниковъ». И поэтому о вышеупомянутомъ «направленіи» Полонскаго можно говорить лишь какъ о второстепенной подробности его поэзіи. Слѣдуя совѣту Тургенева, не въ этой сферѣ нужно «искать настоящаго Полонскаго». Въ немногихъ публицистическихъ пьесахъ Фета, какъ «На смерть Дружинина» или «Псевдо-поэту», болѣе органической мысли и неподдѣльнаго воодушевленія гражданина, чѣмъ во всѣхъ аналогичныхъ произведеніяхъ Полонскаго.

«Талантъ Полонскаго — замѣчать Тургеневъ — представляетъ особенную, ему лишь одному свойственную, смѣсь *простодушной* граціи, свободной образности языка, на которомъ еще лежитъ отблескъ пушкинскаго изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной, *честности и правдивости впечатлѣній*. Временами, и *какъ-бы* *бесознательно для него самого*, онъ изумляетъ прозорливостью поэтическаго взгляда».

«Этой музы — продолжаетъ наблюденія Тургенева Страховъ — доступны всѣ человѣческія чувства, во всю ихъ глубину, въ полномъ ихъ размѣрѣ. Но свойство этихъ чувствъ имѣть въ себѣ нѣчто *эирное*, лучшаго слова мы не придумаемъ. Душевные движенія этой музы часто не радостны, но всегда *свѣтлы*; они не столько легки, какъ гармоничны и чисты. Все имѣетъ такой эирный характеръ, какой мы воображаемъ у существъ чуждыхъ грубой земной дѣйствительности, у духовъ, у пери и ангеловъ».

Очевидно, всѣ наблюдатели сходятся въ общемъ впечатлѣніи отъ поэзіи Полонскаго, подтверждая, насколько чужда ей всякая рефлексія, всякій анализъ. Самъ Полонскій сознаетъ особенности своего творчества, его стихійную непосредственность:

Мое сердце — родникъ, моя пѣсня — волна,
 Пропадая вдали, — разливается..
 Подъ грозой — моя пѣсня, какъ туча, темна,
 На зарѣ — въ ней заря отражается.
 Если-жъ вдругъ вспыхнутъ искры нежданной любви,

Или на сердцѣ горе накопится,—
Въ лоно пѣсни моей льются слезы мои,
И волна уносить ихъ торопится.

Въ замѣчательномъ стихотвореніи «Двойникъ», превосходно комментированномъ Страховымъ, поэтъ какъ-бы раскрылъ передъ нами тайну своего вдохновенія. Этотъ «двойникъ», сперва такъ смутившій поэта своимъ явленіемъ, а затѣмъ самъ смущенный встрѣчею съ нимъ, есть ни что иное, какъ бессознательное чутье природы, внутреннее чувство, которое растетъ и ширится въ уединеніи и душевной тишинѣ, и смущенно бѣжитъ при столкновеніи съ «внѣшнимъ человѣкомъ», при вторженіи равнодушнаго и ограниченного анализа:

Я шель и не слышалъ, какъ пѣли соловьи,
И не видалъ какъ звѣзды загорались...
И слушалъ я шаги... шаги, не знаю чьи,
За мной въ лѣсной глуши неясно повторялись.
Я думалъ,—эхо... звѣрь... колыхнется тростникъ...
Я вѣрить не хотѣлъ, дрожа и замирая,
Что по моимъ слѣдамъ, на шагъ ни отставая,
Идетъ не человѣкъ, не звѣрь, а мой двойникъ!
То я бѣжать хотѣлъ, пугливо озираясь,
То самого себя, какъ мальчика, стыдилъ...
Вдругъ злость меня взяла—и, страшно задыхаясь,
Я самъ пошелъ къ нему навстрѣчу и спросилъ:
—Что ты пророчишь мнѣ, или зачѣмъ пугаешь?
Ты призракъ иль обманъ фантазіи больной?—
—Ахъ! отвѣчалъ двойникъ,—*ты видишь мнѣ мѣшаешь*
И не даешь внимать гармоніи ночной;
Ты хочешь отравить меня своимъ сомнѣньемъ,
Меня—живой родникъ поэзіи твоей!..
И, не сводя съ меня испуганныхъ очей,
Двойникъ мой на меня глядѣлъ съ такимъ смятеніемъ.
Какъ будто я къ нему среди ночныхъ тѣней—
Я, а не онъ ко мнѣ явился привидѣньемъ!

Лучшія стихотворенія Полонскаго и были созданы въ тѣ минуты, когда онъ не «мѣшалъ» своему «двойнику», когда онъ не отравлялъ ничѣмъ «живой родникъ» своей поэзіи.

III.

Въ эти мгновенія природа была ему доступна и близка, какъ немногимъ. Онъ подходилъ къ ней съ тѣмъ-же своимъ «простодушіемъ», съ тою-же «любезной и честной правдивостью впечатлѣ-

ній». Въ отношеніяхъ Полонскаго къ природѣ нѣтъ и слѣда аналитической мысли Тютчева, почти отсутствуетъ даже восторженное увлеченіе Фета, которое все-же опредѣляетъ точку зрѣнія автора, характеризуетъ его индивидуальность. Личность Полонскаго точно стушевывается передъ природою; за картиной не видно художника. За исключеніемъ немногихъ намековъ на пантеизмъ («Не мои-ли страсти»; «Тѣни»; «Сто лѣтъ пройдетъ, сто лѣтъ; забытая могила...»), въ поэзіи Полонскаго нѣтъ никакого объясненія природы—онъ и здѣсь не рѣшаетъ никакихъ загадокъ. Обычное отношеніе его къ природѣ—спокойное, но чуткое и глубокое созерцаніе (стихотворенія «Посмотри, какая мгла...»; «Дубокъ»; «Зари догорающей пламя»). И тогда ему иногда точно удается уловить тайную жизнь природы, подслушать ея дыханіе, какъ въ этихъ дивныхъ строкахъ (стихотвореніе «Дубокъ»):

Снились мнѣ бури, нашъ край посѣтившія,—
 Молвилъ дубокъ молодой—
 Снилось мнѣ, будто деревья подгнившія
 Сломаны бурей ночной...
 Снилось: подъ бурями выросъ высоко я,
 Выше столѣтнихъ дубовъ;
 Видѣлъ свободно я небо далекое,
 Блескъ заревыхъ облаковъ.
*Видѣлъ, какъ на небѣ тихо сплетаются
 Звѣзды въ узоръ золотой,
 И юворятъ, что онѣ загораются
 Съ тѣмъ, чтобъ беречь мой покой...*

Даже въ самомъ восторгѣ Полонскаго передъ природою есть что-то неопредѣленное и недосказанное. Въ этомъ отношеніи очень интересно сопоставить кавказское стихотвореніе его «Не жди!» съ фетовскими «Въ вечеръ такой золотистый и ясный...» и «Какъ волнуяся я мыслю больною...», гдѣ Фетъ точно поясняетъ Полонскаго и договариваетъ недосказанное имъ.

Вотъ стихи Полонскаго:

Я не приду къ тебѣ... Не жди меня! Не даромъ,
 Едва потухло зарево зари,
 Всю ночь зурна звучить за Авлабаромъ,
 Всю ночь за баями поютъ сазандари.
 Здѣсь теплый свѣтъ луны позолотилъ балконы.
 Тамъ углубились тѣни въ виноградный садъ;
 Здѣсь тополи стоятъ, какъ стройныя колонны,
 А тамъ, вдали, костры веселые горятъ...

Пойду бродить! Послушаю, какъ льется
Нагорный ключъ во мглѣ заснувшихъ Саллалакъ,
Гдѣ звонкій голосъ твой такъ часто раздается,
Гдѣ часто вижу я, мелькаетъ твой „личакъ“.

Не ты-ли тамъ стоишь на кровлѣ подъ чадрую,
Въ сѣнѣхъ мѣсячномъ?—Не жди меня, не жди!
Ночь слишкомъ хороша, чтобъ я провелъ съ тобою
Часы, когда душѣ простора нѣтъ въ груди.

*Когда сама душа, сама душа не знаетъ,
Какой любви, какихъ еще чудесъ
Просить или желать,—но проситъ, но желаетъ,
Но молится предъ образомъ небесъ,—*

И чувствуетъ, что уголокъ твой душень,
Что не тебѣ моимъ моленьямъ отвѣчать...
Не жди!—Я въ эту ночь къ соблазнамъ равнодушень,
Я въ эту ночь къ тебѣ не буду ревновать.

А вотъ первое изъ упомянутыхъ стихотвореній Фета (второе читатель найдетъ въ извлеченіи изъ этого поэта—стр. 277):

Въ вечеръ такой, золотистый и ясный,
Въ этомъ дыханьи весны всепобѣдной,
Не поминай мнѣ, о другъ мой прекрасный,
Ты о любви нашей, робкой и бѣдной!

Дышетъ земля всѣмъ своимъ ароматомъ,
Небу разверстая—только вьдыхаетъ;
Самое небо съ нетлѣннымъ закатомъ
Въ тихомъ заливѣ себя повторяетъ.

*Что-же тутъ мы, или счастье наше?
Какъ и помыслить о немъ не стыдиться!—
Въ блескъ, какую нѣтъ шире и краше,
Нужно безумствовать, или смириться!*

Эта параллель интересна также для сравненія внѣшней манеры обоихъ поэтовъ—характерныхъ красокъ и типичнаго «колорита» ихъ стиховъ.

Временами Полонскій ощущаетъ «таинственность природы» и въ немъ подымается вопросъ, на который онъ не находитъ отвѣта... Тютчевъ можетъ стройно и ясно отдать отчетъ въ своемъ пониманіи природы, несмотря на всю глубину и сложность этого пониманія, — стройно и ясно даже настолько, чтобы закончить свой взглядъ на «міръ таинственный духовъ» прозаически-точнымъ резюме: «*вотъ отчето намъ ночь страшна*». Фетъ, послѣ долгаго

весенняго упоенія «всемирной красотою», придетъ къ тому-же вдумчивому прозрѣнію. Въ юности онъ славилъ «майскую ночь» безподобными стихами:

Какая ночь! На всемъ какая нѣга!
Благодарю, родной, полночный край!
Изъ царства льдовъ, изъ царства вьюгъ и снѣга
Какъ свѣжъ и чистъ твой вылетаетъ май!

Въ старости та-же ночь дала ему разгадку его порыва:

Мой духъ, о ночь! какъ падшій серафимъ,
Признавъ родство съ нетленной жизнью зѣлдой...

Полонскій не найдетъ объясненія своимъ волненіямъ:

Отчего я люблю тебя, свѣтлая ночь?
Такъ люблю, что, страдая, люблюсь тобой!
Самъ не знаю, за что я люблю тебя, ночь...

Удивительное стихотвореніе «Лунный свѣтъ», которое еще Страховъ отмѣтилъ какъ одно изъ наиболѣе характерныхъ для Полонскаго, рисуетъ переходъ отъ безотчетнаго созерцанія къ невольному недоумѣнію надъ собственнымъ настроеніемъ:

На скамьѣ, въ тѣни прозрачной
Тихо шепчущихъ листовъ,
Слышу—ночь идетъ, и слышу
Переключку пѣтуховъ.
Далеко мелькаютъ звѣзды,
Облака озарены,
И, дрожа, тихонько льется
Свѣтъ волшебный отъ луны.
Жизни лучшія мгновенья,
Сердца жаркія мечты,
Роковыя впечатлѣнья,
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смѣшно,
Все, что спитъ въ душѣ глубоко—
Въ этотъ мигъ озарено.
Отчего-жъ былого счастья
Мнѣ теперь ничуть не жаль?..
Отчего бывшая радость
Безотраднa, какъ печаль?
Отчего печаль бывшая
Такъ свѣжа и такъ ярка?..
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!

Очевидно, это тотъ моментъ, когда, говоря словами Фета, «добро и зло», счастье и горе,—эти «роковыя» условія повседневной людской жизни — «отпадаютъ, какъ прахъ могильный», и человекъ остается наединѣ съ самимъ собой и съ вѣчно-свободной, вѣчно-безстрастной природой.

Та-же первобытная свѣжесть и ясность духа, — та-же радость непосредственного, безыскусственного общенія съ природою проникаетъ и чудесные пейзажи «Кузнечика-музыканта», одушевляетъ оригинальные, фантастическіе силуэты этой граціозной поэмы. «Будьте просты, какъ дѣти»,—это изреченіе можно-бы поставить эпиграфомъ лучшаго произведенія Полонскаго. Легкій и плавный стихъ, какая-то полудѣтская нѣжность и наивность рисунка, лукавый, незлобивый юморъ не исключаютъ здѣсь, однако, ни глубины содержанія, ни тонкости психологическаго анализа, ни сатирической мѣткости. «Голубиная кротость» не мѣшаетъ «змѣиной мудрости». Все, что въ остальныхъ поэмахъ Полонскаго и въ гражданской его лирикѣ вспыхиваетъ лишь рѣдкими искрами, сосредоточивается въ немногихъ отрывкахъ, — не покидаетъ «Кузнечика-музыканта» отъ первой строки до послѣдней. Точно Аня, прикосновеніе къ родной почвѣ воодушевило поэта, окрылило его вдохновеніе неожиданной силой и чуткостью. А природа стиховъ Полонскаго есть именно родная поэту, русская природа. Если у Тютчева воспоминанія юга выходятъ часто ярче и заманчивѣе «безобразныхъ сновидѣній» сѣвера; если Майкова тянетъ всегда къ пламенному солнцу Рима и Афинъ; если Лермонтова вдохновляетъ грандіозный Кавказъ; если у Фета его воздушныя «мелодіи» не даютъ впечатлѣнія индивидуальнаго изображенія и за очеркомъ «природы вообще» почти стираются краски и особенности русскаго пейзажа,—то у Полонскаго находимъ мы знакомыя картины во всемъ ихъ разнообразіи *). Здѣсь и русская волшебница, «бабушка-зима», съ ея фантастическими мятелями, съ фантастическими цвѣтниками на заморзшихъ окнахъ; здѣсь и русская, свѣтлая, томительно-прекрасная весна съ ея безсонною зарею, съ ея безбрежными разливами; здѣсь и русская темная, слезящаяся осень; здѣсь, наконецъ,—чаще всего—русское, знойное и роскошное лѣто. Время дѣйствія «Кузнечика-музыканта» обозначено точно: это «Петровки»—разгаръ лѣта. Но и

*) Г. Николаевъ, указывая на стихотвореніе «Зимняя невѣста», замѣчаетъ что Полонскій умѣетъ изображать русскую природу, какъ умѣлъ изображать ее развѣ только Пушкинъ.

большинство лучших стихотворений Полонского (какъ «Пришли и стали тѣни ночи...», «Заплетя свои темныя косы вѣнцомъ...», «Они», «Подросла», «Лѣсъ») приурочивается къ тому-же періоду: это все тотъ-же знойный, сладострастный іюнь, тѣ-же «лучезарныя тѣни» лѣтнихъ ночей:

Уходя, день ясный плакалъ за горою
И, роняя слезы, жаркою зарею
Изъ-за темной рощи охватилъ край нивы.
Дню во слѣдъ глядѣла ночь—и переливы
Свѣта отражались и, дрожа, блуждали
По ея ланитамъ. Тихо начинали
Выходить свѣтила, мѣсяца предтечи,
Передъ Божьимъ трономъ зажигая свѣчи.
Далеко стемнѣло море жатвы зыбкой.
Грустная береза обнялася съ липкой.
Призатихла роща. Только дубъ шушукалъ,
Только гдѣ-то дятель крѣпкимъ носомъ тукалъ,
Только гдѣ-то струйки смутно лепетали,
Только роковыя страсти не дремали,
Только насѣкомыхъ міръ неутомонный
Голосилъ немолчно въ тишинѣ безсонной...

Сдержанная страстность, которою проникнуть этотъ стройный аккордъ, весьма характерна для Полонского. Ею нерѣдко дышатъ его картины природы (ср. напр., великолѣпныя панорамы Египта въ стихотвореніи «Передъ закрытой истиной»—III и VII), но всего рельефнѣе, конечно, сказывается она въ его лирикѣ любви.

IV.

Любовь Полонского отнюдь не нѣжная, постоянная привязанность Фета—это мятежная, порывистая страсть,—знойная, какъ его пейзажи. Нигдѣ поэтъ не ставитъ и не рѣшаетъ философской проблемы любви—анализъ и размышленіе и здѣсь замѣняются у него непосредственной цѣльностью впечатлѣнія, художественнымъ созерцаніемъ конкретной жизни. Таковы стихотворенія «Пришли и стали тѣни ночи...»; «Пѣсня цыганки» («Мой костеръ въ туманѣ свѣтитъ...»), «Финскій берегъ», «Подойди ко мнѣ, старушка...», «Неотвязная», «Вотъ и ночь... Къ ея порогу...», «Поцѣлуй», «Ахъ, какъ у насъ хорошо на балконѣ, мой милый! смотри...», «Вижу-ль я, какъ во храмѣ смиренно она...» и др. Во всѣхъ этихъ пьесахъ слышится дыханіе неподдѣльной, захватывающей страсти, но было-

бы грубой ошибкой смѣшивать ее съ элементарною чувственностью. Любовь Полонскаго не отрывается отъ земли, но, тѣмъ не менѣе, она есть настоящая любовь поэта, т. е. самое чистое, глубокое и нѣжное чувство, какое только можетъ быть. У Полонскаго есть даже цѣлый отдѣлъ стихотвореній, посвященныхъ дѣтской и отроческой любви—психологическая область, въ которой онъ—въ русской, по крайней мѣрѣ, поэзіи—не имѣетъ соперниковъ. Такія, напримѣръ, пьесы, какъ «Они», «Подросла», «Въ глуши», «Наивная жалоба», «Иная зима», «Въ гостиной сидѣлъ за раскрытымъ столомъ мой отецъ...» по правдивости настроенія, по тонкому изяществу рисунка, по мягкимъ и нѣжнымъ краскамъ—настоящіе шедевры поэзіи. Разсвѣтъ любви проходитъ у Полонскаго всѣ ступени,—начиная отъ смутнаго броженія первыхъ желаній («Лѣсъ», «Въ глуши»), продолжая всѣми оттѣнками полубезсознательнаго, инстинктивно растущаго чувства («Въ гостиной», «Отрочество», «Моей молоденькой сосѣдкѣ...», «Дни измѣнчивы», «Въ городкѣ», «Наивная жалоба»), кончая полнымъ расцвѣтомъ молодого увлеченія («Они», «Подросла») — и переходомъ къ иному, болѣе зрѣлому чувству («Иная зима»).

Любопытно, что муза Полонскаго и въ жизни другихъ народовъ вдохновляется почти исключительно тѣми-же мотивами поэтической страсти. Таковы лучшіе изъ кавказскихъ этюдовъ; такова испанская «Гитана»; таковы изъ «классическихъ» стихотвореній извѣстное «У Аспазіи» и недавно написанное, превосходное—«Кассандра». Вопреки мнѣнію Тургенева, приходится признать, что специальная жизнь древняго міра, духъ классицизма остались чужды Полонскому. За исключеніемъ двухъ небольшихъ стихотвореній («Диамей» и «Эротъ»), въ его произведеніяхъ античный міръ является или въ видѣ простой обстановки, или-же въ проявленіяхъ свойственныхъ всякой человѣческой жизни и вѣчныхъ, насколько вѣчно само человѣчество. Въ недурномъ стихотвореніи «Статуя» «античны» развѣ только холодныя восклицанія «О, Эллада, Эллада!»; въ «Наядахъ» — мифологическая обстановка; въ «Вакханкѣ и Сатирѣ» — тоже (впрочемъ, стихотвореніе это не принадлежитъ къ числу удачныхъ и похвалы ему въ тургеневскихъ письмахъ возбуждаютъ лишь недоумѣніе). Наоборотъ, несомнѣнно продиктованныя вдохновеніемъ «У Аспазіи» и «Кассандра» представляютъ простые отзвуки общечеловѣческаго чувства. Это все та-же любовь-страсть Полонскаго и участіе греческихъ героевъ и боговъ не превращаетъ еще ея въ настроеніе подлиннаго классицизма. Доста-

точно раскрыть Майкова, чтобы сравненіе выяснило вопросъ окончательно.

Подобно Тютчеву, Полонскій иллюстрируетъ чаще всего ирраціональную сторону любви—«поединокъ роковой». Весь «Кузнецикъ-Музыкантъ» посвященъ такой иллюстраціи. Отношенія героя-кузнечика къ бабочкѣ и аналогичныя отношенія возлюбленной его къ соловью—все это лишь развитіе второго куплета тютчевскаго «Предопредѣленія» (см. характеристику Ал. Толстого, стр. 226) или его-же «О, какъ убійственно мы любимъ!..» Различіе этихъ произведеній есть то самое, что отличаетъ Тютчева между всеми русскими поэтами (за нѣкоторымъ исключеніемъ Фета и Баратынскаго), особенно противопоставляя его Пушкину. Дѣло въ томъ, что свѣтъ тютчевской поэзіи есть своего рода «рентгеновскій» свѣтъ—онъ проникаетъ вглубь явленія, освѣщаетъ самый его скелетъ, его схему. Главныя стихотворенія Тютчева похожи на выраженные въ художественныхъ образахъ философскія формулы. Напротивъ, стихотворенія Пушкина и поэтовъ его типа (въ томъ числѣ и Полонскаго) можно сравнить съ обыкновенной или, лучше сказать, цвѣтной фотографіей. Здѣсь передъ нами живое тѣло съ его мясомъ, нервами и кровью—жизненное явленіе въ его конкретной обстановкѣ, со случайными подробностями и оттѣнками. Вотъ почему поэзія Тютчева—и только его—является, по своему, равносильной пушкинской: она составляетъ законное дополненіе послѣдней, относясь къ ней какъ теорія къ факту.

Всего яснѣе можно убѣдиться въ сказанномъ, конечно, на примѣрѣ. Слѣдующее, малоизвѣстное, но весьма замѣчательное по глубинѣ и отчетливости анализа, по яркому своеобразію формы, стихотвореніе Тютчева, представляетъ блестящую схематическую иллюстрацію «роковаго поединка» любви:

Не говори: меня онъ, какъ и прежде, любить,
Какъ прежде, мною дорожить...
О, нѣтъ! онъ жизнь мою безчеловѣчно губить,
Хоть вижу—ножъ въ рукѣ его дрожить.

То въ гнѣвѣ, то въ слезахъ, тоскуя, негодуя,
Увлечена, въ душѣ уязвлена,
Я страдаю, не живу... имъ, имъ однимъ живу я;
Но эта жизнь—о, какъ горька она!

Онъ мѣритъ воздухъ мнѣ такъ бережно и скудно,
Не мѣрятъ такъ и лютому врагу...
Охъ, я дышу еще болѣзненно и трудно
Могу дышать, но жить ужъ не могу!

Въ этомъ стихотвореніи нѣтъ ничего, что не имѣло-бы прямого отношенія къ его психологической задачѣ, что—лучше сказать,—не составляло-бы этой задачи. Здѣсь нѣтъ никакой обстановки, никакихъ приводящихъ подробностей: всѣ конкретныя, случайныя условія остались за предѣлами вдохновенія поэта. Стихотвореніе начинается вмѣстѣ со вспышкой вызвавшего его чувства и кончается, какъ только это чувство обнаружено. Это именно только схема настроенія, страница изъ психологическаго атласа.

Совершенно иначе разработанъ тотъ-же мотивъ Полонскимъ. Его стихотвореніе («Подойди ко мнѣ, старушка...») начинается прелестной картинкой гаданія влюбленной дѣвушки. Старая цыганка, предсказала ей, что ея возлюбленный обманетъ ее; полевой цвѣтокъ, у котораго она обрывала лепестки, шепча заповѣдныя слова, отвѣчалъ ей, напротивъ: «да»—«темнымъ, сердцу внятнымъ языкомъ»...

На устахъ ея—улыбка,
Въ сердцѣ слезы и гроза;
Съ упоеніемъ и грустью
Онъ глядитъ въ ея глаза.
Говоритъ она: обманъ твой
Я предвижу и не лгу,
Что тебя возненавидѣть
И хочу, и не могу.

Онъ глядитъ все такъ-же грустно;
Но лицо его горитъ...
Онъ, къ плечу ея устами
Припадая, говоритъ:
Берегись меня!—я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого, что я безумно,
Горячо тебя люблю!..

Это, очевидно, варіація тютчевской темы—то-же явленіе, хотя и въ другомъ моментѣ. Психологія страсти раскрыта здѣсь съ рѣдкою правдивостью: это тотъ-же роковой трагизмъ «борьбы неравной двухъ сердецъ», гдѣ слабому грозитъ перспектива гибели, настолько-же неизбежной, насколько и сознательной. Поэтъ-художникъ нашелъ въ конкретныхъ образахъ все то, что поэту-философу подсказало абстрактное размышленіе. Тютчевъ во встрѣчныхъ образахъ узнаетъ свою идею; въ образахъ Полонскаго заключена непроизвольная, нерѣдко имъ самимъ не угадываемая идея.

Творческая манера Полонскаго смягчаетъ жгучую горечь жизни—остовъ трагедіи заслоняется массой художественныхъ деталей. Этимъ, отчасти, объясняется ясный колоритъ его поэзіи, ея «эеирность», по выраженію Страхова. Но и сами по себѣ «всѣ его чувства»—какъ справедливо замѣчаетъ тотъ-же критикъ—«всѣ душевныя движенія не имѣютъ въ себѣ ничего слишкомъ тяжелаго, рѣзкаго и мрачнаго. И скорбь, и боль, и гнѣвъ—на всемъ лежитъ печать свѣтлой, гармонической натуры». Большинство русскихъ поэтовъ—и самые крупные изъ нихъ, необходимо добавить,—обнаружили ту-же бодрость, свѣжесть и свободу чувства, ту-же ничѣмъ непоколебимую силу.

Мой путь уныль—сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море...
Но не хочу, о други! умирать—
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать!

Настроеніе этихъ знаменитыхъ стиховъ нашло себѣ откликъ во всей поэзіи Фета, Тютчева, Кольцова, Полонскаго, Алексѣя Толстого, а отчасти—въ той или иной своеобразной формѣ—и Лермонтова, Майкова, даже Голенищева-Кутузова (потому что и въ культѣ смерти можетъ сказаться несокрушимая бодрость духа). «Въ битвѣ жизни» побѣда всегда такъ или иначе оставалась здѣсь за человѣкомъ—за художникомъ, не уступавшимъ своей индивидуальности и ея заветныхъ стремленій. Чтобы «мыслить», онъ согласенъ забыть о крушеніи личнаго счастья и обречь себя неотразимому страданію.

Не грози-жъ ты мнѣ бѣдою,
Не зови, судьба, на бой:
Готовъ биться я съ тобою,
Но не сладишь ты со мной!—

говорить Кольцовъ.

Когда судьба меня карала,
Увы! всѣмъ общая судьба,
Моя душа не уставала,
По силамъ ей была борьба—

говорить Полонскій.

Страховъ приводитъ для иллюстраціи этой черты художественной личности Полонскаго стихотвореніе «Послѣдній вздохъ». Это, дѣйствительно, очень удачный примѣръ. Моментъ, изображенный въ упомянутомъ стихотвореніи, принадлежитъ къ числу самыхъ

ужасныхъ и тяжелыхъ, какіе только можетъ быть суждено пережить человѣку. Моментъ этотъ—смерть любимаго существа. Здѣсь легко было-бы ожидать мучительныхъ диссонансовъ, порыва нестерпимаго отчаянья. Но какъ свѣтло и гармонично, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, просто и естественно,—какъ нѣжно и трогательно настроеніе Полонскаго:

„Поцѣлуй меня...
„Моя грудь въ огнѣ...
„Я еще люблю...
„Наклонись ко мнѣ...“
Такъ въ прощальный часъ
Лепеталъ и гасъ
Тихій голосъ твой,
Словно тающій
Въ глубинѣ души
Догорающей.
Я дышать не смѣлъ,—
Я въ лицо твое,
Какъ мертвецъ, глядѣлъ...
Я склонилъ мой слухъ...
Но, увы! мой другъ,
Твой послѣдній вздохъ
Мнѣ любви твоей
Досказать не могъ.
И не знаю я,
Чѣмъ развяжется
Эта жизнь моя!
Гдѣ доскажется
Мнѣ любовь твоя!

«Какая музыка, какая невыразимая прелесть!»—воскликнемъ мы вмѣстѣ со Страховымъ.

Это стихотвореніе очень интересно и какъ одно изъ немногихъ рисующихъ взглядъ поэта на послѣднюю загадку жизни—тайну ея прекращенія. И здѣсь мы не находимъ у Полонскаго никакихъ гипотезъ. Какъ «вѣчные вопросы» о Божествѣ, о мірѣ и жизни, какъ загадка любви,—загадка смерти остается неразрѣшимой для Полонскаго. Грустнымъ, хотя свѣтлымъ и покорнымъ недоумѣніемъ кончается его встрѣча съ нею...

П. Перцовъ.

МИРОВАЯ ТКАНЬ.

- Ткань природы мировая—
Риза—Божья, может быть...
Въ этой ризѣ я—живая,
Я—непорванная нить.
Нить идетъ, трепещетъ, бьется,
И ужъ если оборвется,
Никакіе мудрецы
Не сведутъ ея концы:
Вѣчный ткачъ ихъ такъ запрячетъ,
Что (пускай кто хочетъ плачетъ!)
Нити порванной опять
Не найти и не связать...
Нити рвутся безпрестанно,—
Скоро, скоро мой чередъ!—
Ткачъ-же вѣчный неустанно
Ткань звѣздистую ведетъ;
И выводитъ онъ узоры:
Голубыя волны, горы,
Степи, пажити, лѣса,
Облака и небеса;
И куда мудрецъ не взглянетъ,
Ни прорѣхи, ни узла нѣтъ;
Свѣтозарна и ровна
Божьей ризы тонина.
-

* * *

Священный благовѣсть торжественно звучить,
 Во храмахъ еиміамъ, во храмахъ пѣснопѣнья;
 Молиться я хочу, но тяжкое сомнѣнье
 Святые помыслы души моей мрачить.
 И вѣрю я, и вновь не смѣю вѣрить;
 Боюсь довѣриться чарующей мечтѣ;
 Передъ самимъ собой боюсь я лицемѣрить;
 Разсудокъ бѣдный мой блуждаетъ въ пустотѣ..
 И эту пустоту ничто не озаряетъ:
 Дыханьемъ бурь мой свѣточъ погашенъ.
 Бездонный мракъ на вопль не отвѣчаетъ..
 А жизнь—жизнь тянется, какъ непонятный сонъ...

* * *

То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну,
 Крутятся, шаръ земли погружаетъ меня:
 Питаютъ, пытаются мой разумъ и вѣру
 То призраки ночи, то призраки дня.
 Не вѣрю я мраку, не вѣрю я свѣту,—
 Они—грезы духа, въ нихъ ложь и обманъ..
 О, вѣчная правда, откройся поэту,
 Отвѣй отъ него разноцвѣтный туманъ,
 Чтобъ могъ онъ, великій, въ сознаньи обмана,
 Ничтожный, какъ всплескъ посреди океана,
 Постичь, какъ сливаются вѣчность и мигъ,
 И сердцемъ проникнуть въ Святая Святыхъ!

* * *

Посмотри—какая мгла
 Въ глубинѣ долинъ легла.
 Подъ ея прозрачной дымкой
 Въ сонномъ сумракѣ раки
 Тускло озеро блеститъ.

Блѣдный мѣсяцъ невидимкой,
 Въ тѣсномъ сонмѣ сизыхъ тучъ,
 Безъ пріюта въ небѣ ходитъ
 И, сквозя, на все наводитъ
 Фосфорическій свой лучъ.

Н О Ч Ь.

Отчего я люблю тебя, свѣтлая ночь?
 Такъ люблю, что, страдая, люблюсь тобой!
 И за что я люблю тебя, тихая ночь?
 Ты не мнѣ, ты другимъ посылаешь покой!
 Что мнѣ звѣзды, луна, небосклонъ, облака;
 Этотъ свѣтъ, что, скользя на холодный гранитъ,
 Превращаетъ въ алмазы росинки цвѣтка,
 И какъ путь золотой черезъ море бѣжитъ!
 Ночь, за что мнѣ любить твой серебряный свѣтъ?—
 Усладить-ли онъ горечь скрываемыхъ слезъ?
 Дастъ-ли жадному сердцу желанный отвѣтъ?
 Разрѣшить-ли сомнѣнья тяжелый вопросъ?
 Что мнѣ сумракъ холмовъ, трепеть сонныхъ листовъ,
 Моря темнаго вѣчно-шумящій прибой,
 Голоса насѣкомыхъ во мракѣ садовъ,
 Гармоническій говоръ струи ключевой!
 Ночь! За что мнѣ любить твой таинственный шумъ?
 Освѣжить-ли онъ знойную бездну души,
 Заглушить-ли онъ бурю мятежную думъ,—
 Все, что жарче въ потьмахъ и слышнѣе въ тиши?
 Самъ не знаю, за что я люблю тебя, ночь,
 Такъ люблю, что, страдая, люблюсь тобой!
 Самъ не знаю, за что я люблю тебя, ночь...
 Оттого, можетъ быть, что далека мой покой.

Л Ъ С Ъ.

Въ тѣ дни, какъ вѣрилъ я въ міръ призрачныхъ чудесъ,
 Безпечнымъ отрокомъ зашелъ я въ темный лѣсъ,
 И самого себя я спрашивалъ, зачѣмъ

Въ прохладѣ спящій лѣсъ такъ пасмуренъ и нѣмъ?
 Вдругъ свѣжіе листы деревъ со всѣхъ сторонъ,
 Какъ будто бабочекъ зеленыхъ миллионъ,
 Дрожа, задвигались; ихъ вѣтеръ всколыхалъ...
 По шепчущимъ листамъ шумъ смутный пробѣжалъ,—
 И оглянулся я, встревоженный моимъ
 Воображеніемъ пугливымъ и живымъ...
 —«Не бойся!» услышалъ я въ шепотѣ листовъ:
 «Чудеснаго не жди въ тѣни моихъ кустовъ!
 «Русалка никогда подъ купою березъ
 «Не выжимала здѣсь своихъ зеленыхъ косъ,
 «И никогда въ тѣни моихъ родныхъ дубовъ
 «Не встрѣтишь ты лѣсныхъ, уродливыхъ духовъ;
 «Но слушай, слушай ты, что я тебѣ шепну!
 «Ты можешь встрѣтить здѣсь красавицу одну,—
 «Одну красавицу изъ ближняго села...
 «Она свѣжа, какъ май, какъ юноша смѣла.
 «Въ тотъ часъ, когда лѣса въ изнеможеніи силъ,
 «Росу глотая, ждутъ полуночныхъ свѣтилъ,
 «Иль, утонувъ во мглѣ трепещущихъ вѣтвей,
 «Начнетъ рыцать и пѣть вечерній соловей,—
 «Она садится здѣсь на край гнилого пня,
 «Къ ладони жаркую головку приклоня.
 «Она садится здѣсь, печальна и одна,
 «Въ неодолимая мечты погружена,
 «И долго слушаетъ, какъ соловей гремитъ—
 «И не по твоему желаетъ и груститъ.
 «Но не спиши, дитя, бѣжать на встрѣчу къ ней!..
 «Всѣхъ сказочныхъ чудесъ—повѣрь!—она страшнѣй;
 «И можетъ быть—увы!» шепталъ мнѣ лѣсъ густой,
 «Ты отъ меня уйдешь съ мучительной тоской,
 «И для души твоей придетъ пора чудесъ—
 «Пора такихъ чудесъ, какихъ не знаетъ лѣсъ!»

ВЪ ГЛУШИ.

Для кого расцвѣла? Для чего развилась?
 Для кого это небо—лазурь ея глазъ,
 Эта роскошь—волнистыя кудри до плечъ,

Эта музыка—устъ ея тихая рѣчь?
 Ясно можетъ она своимъ чуткимъ умомъ
 Слышать голосъ души въ разговорѣ простомъ,
 И для міра любви и для міра искусствъ
 Много въ сердцѣ у ней незатронутыхъ чувствъ.
 Прикоснется-ли клавишъ—заплачетъ рояль,—
 На ланитахъ огонь, на рѣсницахъ печаль...
 Подойдетъ-ли къ окну, безотчетно грустна,—
 Въ безотвѣтную даль долго смотреть она...
 Что звенить тамъ вдали,—и звенить, и зоветь?
 И зачѣмъ тамъ, въ стени, пыль столбами встаетъ?
 И зачѣмъ та рѣка широко разлилась?—
 Оттого-ль разлилась, что весна началась!..
 И откуда, откуда тотъ вѣтеръ летитъ,
 Что, стряхая росу, по цвѣтамъ шелеститъ,
 Дышетъ запахомъ липъ и, концами вѣтвей
 Помавая, влечетъ въ сумракъ влажныхъ аллей?—
 Не природа-ли тайно съ душой говорить?
 Сердце-ль просить любви и безъ раны болить?
 И на грудь тихо падаютъ слезы изъ глазъ...
 Для кого расцвѣла? Для чего разлилась?

* * *

Въ гостиной сидѣлъ за раскрытымъ столомъ мой отецъ,
 Нахмуривши брови, сурово хранилъ онъ молчанье;
 Старуха, надѣвъ какъ-то на бокъ нескладный чепецъ,
 Гадала на картахъ; онъ слушалъ ея бормотанье...
 Немного подальше, тайкомъ говоря межъ собой,
 Двѣ гордыя тетки на пышномъ диванѣ сидѣли,
 Двѣ гордыя тетки глазами слѣдили за мной
 И, губы кусая, съ насмѣшкой въ лицо мнѣ глядѣли;
 А въ темномъ углу, опушта голубые глаза,
 Не смѣя поднять ихъ, недвижно сидѣла блондинка;
 На блѣдныхъ ланитахъ ея трепетала слеза,
 На жаркой груди высоко поднималась косынка...

О Н И.

Какъ они наивны
И какъ робки были
Въ дни, когда другъ-друга
Пламенно любили!
Плакали въ разлукѣ,
Отъ свиданья мѣли...
Обрывались рѣчи,
Руки холодѣли...
Говорили взгляды,—
Самое молчанье
Устъ ихъ было громче
Всякаго признанья.
Голосъ, шорохъ платья,
Руку прикосновенье
Въ сердце ихъ вливали
Сладкое смятенье...

Разъ—когда надъ ними
Золотыя звѣзды,
Искрами живыми
Чуть дрожа, мигали,
И когда надъ ними
Вѣтви помавали,
И благоухала
Пыль цвѣтовъ, и легкій
Вѣтерокъ въ куртинѣ
Сдерживалъ дыханье—
Полночь имъ открыла
Въ трепетѣ лобзанья,
Въ тайнѣ поцѣлуевъ
Тайну мірозданья...

И осталось это
Чудное свиданье
Въ памяти навѣки
Разлученныхъ рокомъ,
Какъ воспоминанье
О какомъ-то счастьи
Глупомъ и далекомъ.

ИНАЯ ЗИМА.

Я помню, какъ дѣтьми съ румяными щеками
 По снѣгу хрупкому мы бѣгали съ тобой,
 Насъ добрая зима косматыми руками
 Ласкала и къ огню сгоняла насъ клюкой.
 А позднимъ вечеромъ твои сіяли глазки
 И на тебя глядѣлъ изъ печки огонекъ,
 А няня старая намъ сказывала сказки,
 О томъ, какъ жилъ да былъ на свѣтѣ дурачекъ.
 Но та зима отъ насъ ушла съ улыбкой Мая,
 И лѣтній жаръ простылъ—и вотъ, слышишь вой
 Осенней бури, къ намъ идетъ зима иная,—
 Зима бездушная,—и ужъ грозитъ клюкой...
 А няня старая ужъ ножки протянула—
 И спитъ себѣ въ гробу, и даже не глядитъ,
 Какъ ты, усталая, къ моей груди прильнула,
 Какъ будто слушаешь, что сердце говорить.
 А сердце въ эту ночь, какъ няня, къ дѣтской ласкѣ
 Нравнодушное, раздуло огонекъ
 И на ушко тебѣ рассказываетъ сказки,
 О томъ, какъ жилъ да былъ на свѣтѣ дурачекъ.

* *
*

Заплета свои темныя косы вѣнцомъ,
 Ты напомнила мнѣ полудѣтскимъ лицомъ
 Все то счастье, которымъ мы грезимъ во снѣ,—
 Грезы дѣтской любви ты напомнила мнѣ.

Ты напомнила мнѣ зносмъ темныхъ очей
 Лучезарныя тѣни восточныхъ ночей,—
 Мракъ цвѣтущихъ садовъ, блѣдный ликъ при лунѣ,—
 Бури первыхъ страстей ты напомнила мнѣ.

Ты напомнила мнѣ много милыхъ тѣней
 Простотой,—темнымъ цвѣтомъ одежды твоей;
 И могилу, и слезы, и бредъ въ тишинѣ
 Одинокихъ ночей ты напомнила мнѣ.

Все, что въ жизни съ улыбкой навстрѣчу мнѣ шло,
Все, что время навѣкъ отъ меня унесло,
Все, что гибло, и все, что стремилось любить—
Ты напомнила мнѣ... Помоги позабыть!

ВЛЮБЛЕННЫЙ МѢСЯЦЪ.

Моя барышня по садику гуляла,
По дорожкѣ поздно вечеромъ ходила;
Съ бриллиантникомъ колечко потеряла,—
Съ бѣлой ручки его, видно, обронила.

Какъ ложилась на кроватку, спохватилась,—
Спыхватившись, по коврамъ его искала;
Не нашла она колечка—обозлилась:
Меня, бѣдную, воровкой обозвала.

И не знала я съ тоски куда дѣваться...
Хоть-бы матушка воскресла—заступилась!
Вышла въ садикъ я тихонько прогуляться,
Увидала ясный мѣсяцъ—застыдилась.

Слышу, мѣсяцъ говорить мнѣ—самъ сіяетъ:
«Не пугайся меня, красная дѣвица,
«Бѣдный мѣсяцъ, какъ и ты, всю ночь блуждаетъ,
«И ему подъ темнымъ пологомъ не спится.

«И недаромъ въ эту ночь я вышелъ свѣтелъ:
«Много горя, много дѣвушекъ видалъ я,
«А какъ барышню твою вечеръ замѣтилъ,
«О какомъ-то тихомъ счастьѣ возмечталъ я.

«Какъ вѣчоръ она по садику гуляла—
«Плечи бѣлыя, грудь бѣлую раскрыла—
«Ты скажи мнѣ, не по мнѣ-ль она скучала,
«На сырой песокъ слезинку уронила?..»

Встрепенулось во мнѣ сердце ретивое,
Наклонилась я къ дорожкѣ, увидала
Не слезинку, а колечко дорогое,
И обмолвилась я—мѣсяцу сказала:

«Моя барышня любовь не беспокоитъ,
 «Ни по комъ она, красавица, не плачетъ;
 «Много денегъ ей колечко это стоитъ,
 «Имя-жъ честное мое не много значить...

«И свѣти ты хоть надъ цѣлою землею—
 «Не дождешься ты любви отъ бѣлоручки!..
 И закапали серебряной росой
 Слезы мѣсяца и спрятался онъ въ тучи.

Съ той поры, когда я, бѣдная, горюя,
 Выхожу одна поплакать на крылечко,—
 «Бѣдный мѣсяцъ! бѣдный мѣсяцъ!» говорю я—
 «Хоть съ тобой мнѣ перекинуть дай словечко».

КОЛОКОЛЬЧИКЪ.

Улеглася мятелица; путь озарень...
 Ночь глядитъ миллионами тусклыхъ очей.
 Погружай меня въ сонъ колокольчика звонъ,
 Выноси меня тройка усталыхъ коней!
 Мутный дымъ облаковъ и холодная даль
 Начинаютъ яснѣть; бѣлый призракъ луны
 Смотритъ въ душу мою и былую печаль
 Наряжаетъ въ забытые сны.
 То вдругъ слышится мнѣ,—страстный голосъ поетъ,
 Съ колокольчикомъ дружно звеня:
 «Ахъ, когда-то, когда-то мой милый придетъ,
 «Отдохнуть на груди у меня!
 «У меня-ли не жизнь! Чуть заря на стеклѣ
 «Начинаетъ лучами съ морозомъ играть,
 «Самоваръ мой кипитъ на дубовомъ столѣ,
 «И трещитъ моя печь, озаря въ углѣ
 «За цвѣтной занавѣской кровать...
 «У меня-ли не жизнь! Ночью ставень открыть,—
 «По стѣнѣ бродитъ мѣсяца лучъ золотой;
 «Забушуетъ-ли вьюга,—лампада горитъ,
 «И, когда я дремлю, мое сердце не спитъ,
 «Все по немъ изнывая тоской!»

То вдругъ слышится мнѣ,—тотъ-же голосъ поетъ,
Съ колокольчикомъ грустно звеня:
«Гдѣ-то старый мой другъ? я боюсь,—онъ войдетъ
«И, ласкаясь, обниметъ меня!
«Что за жизнь у меня!—И тѣсна, и темна,
«И скучна моя горница; дуетъ въ окно...
«За окошкомъ растеть только вишня одна,
«Да и та за промерзлымъ окномъ не видна
«И, быть можетъ, погибла давно...
«Что за жизнь! Полянья пестрый полога цвѣтъ,
«Я больная брожу и не ѣду къ роднымъ;
«Побранить меня некому—милого нѣтъ...
«Лишь старуха ворчитъ, какъ приходитъ сосѣдъ,
«Оттого, что мнѣ весело съ нимъ...»

ФИНСКІЙ БЕРЕГЪ.

Лѣсъ, да волны, берегъ дикій,
А у моря домики блѣдный.
Лѣсъ шумить; въ сырыхъ окна
Свѣтитъ солнца призракъ блѣдный.

Словно звѣрь голодный, воя,
Вѣтеръ ставнями шатаетъ.
А хозяйки дочь, съ усмѣшкой,
Настежь двери открываетъ.

Я за ней слѣжу глазами,
Говорю съ упрекомъ: гдѣ ты
Пропадала? Сядь хоть нынче
Доплетать свои браслеты.

И окошко протирая
Рукавомъ своимъ суконнымъ,
Говорить она лѣниво
Тихимъ голосомъ и соннымъ:

«Для чего плести браслеты?—
«Господину не въ охоту
«Ѣхать моремъ къ утру, въ городъ,
«Продавать мою работу!»

— «А скажи-ка, помнишь, ночью,
«Какъ погода бушевала,
«Изъ сѣней укравши весла,
«Ты куда отъ насъ пропала?»

«Въ эту пору надъ заливомъ
«Что мелькало? не платокъ-ли?
«И зачѣмъ, когда вернулась,
«Башмаки твои подмокли?»

Равнодушно дочь хозяйки
Обернулась и сказала:
«Какъ не помнить! Я на островъ
«Въ эту ночь ладью гоняла...

«И сосѣдъ меня на камнѣ
«Ждалъ, а ночь была лихая—
«Тамъ ему былъ нуженъ хворостъ,
«И ему его свезла я.

«На мысу, въ ночную бурю,
«Тамъ костеръ горитъ и свѣтитъ...
«А зачѣмъ костеръ?—на это
«Каждый вамъ рыбакъ отвѣтитъ».

— Пристыженный, сталъ я думать,
Грустно голову понуря:
Тамъ, гдѣ любить, помогая,—
Тамъ сердца сближаетъ буря...

А. Н. Майковъ.

I.

Древняя дворянская семья Майковых дала Россіи много замѣчательныхъ людей, послужившихъ родинѣ на самыхъ различныхъ поприщахъ. Отецъ А. Н. былъ даровитымъ живописцемъ. Всѣ братья поэта — тоже болѣе или менѣе замѣчательные дѣятели въ литературѣ или въ наукѣ. Въ Россіи немного найдется такихъ семей. Отецъ нашего поэта былъ истиннымъ художникомъ не только по таланту, но и по жизни. Вотъ какъ описываетъ И. А. Гончаровъ, близкій другъ дома, преподававшій литературу А. Н., эту оригинальную семью: «онъ (т. е. отецъ поэта) жилъ, какъ живутъ, или, если теперь не живутъ такъ, то какъ жилали *артисты*, думая больше всего объ искусствѣ, любя его, занимаясь имъ и почти ничѣмъ другимъ. Домъ его лѣтъ 15-20 и болѣе назадъ кипѣлъ жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержаніе изъ сферы мысли, науки, искусствъ. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многіе литераторы изъ круга 30-хъ и 40-хъ годовъ — всѣ толпились въ необширныхъ, неблестящихъ, но пріютныхъ залахъ его квартиры, и всѣ, вмѣстѣ съ хозяевами, составляли какую-то братскую семью или школу, гдѣ всѣ учились другъ у друга... Старикъ Майковъ радовался до слезъ всякому успѣху и всѣхъ, не говоря уже о друзьяхъ, въ сферѣ интеллектуальнаго или артистическаго труда, всякому движенію впередъ во всемъ, что доступно было его уму и образованію. Трудно полнѣе и безупречнѣе, чище прожить жизнь...» («А. Н. Майковъ», біогр. очеркъ Златковскаго. 1888).

Кончивъ университетъ, Майковъ, уже издавшій первую книжку стихотвореній (1842), восторженно встрѣченный Бѣлинскимъ, отправился въ Италію; онъ прожилъ тамъ два года. Впечатлѣнія классической страны вмѣстѣ съ врожденнымъ темпераментомъ и влія-

нiями окружающей среды ~~навѣки~~ рѣшили судьбу его молодой музы. Она влюбилась въ свою старшую *сестру*—строгую музу Греціи и Рима, не подражала ей, но прониклась ея *духомъ*, познала себя въ ней и сплела вѣнокъ изъ своихъ собственныхъ *цвѣтовъ*, только собранныхъ на той же самой прекрасной землѣ, которая *возрастила* лучшіе цвѣты древней музы.

Жизнь Майкова—свѣтлая и тихая жизнь артиста, какъ будто не нашихъ временъ. Она вытекаетъ изъ глубокаго, древняго источника—изъ патріархальной артистической семьи, въ которой темныя стороны крѣпостнаго права и связанной съ ними обломовщины уничтожены благороднымъ вліяніемъ искусства и передаваемыхъ изъ рода въ родъ культурныхъ преданій. Большинство поэтовъ въ юности должно преодолевать сопротивленіе семьи, родныхъ и близкихъ, считающихъ поэзію пустымъ, непрактичнымъ занятіемъ, аристократическою забавой. Судьба устроила такъ, чтобы сдѣлать жизненный путь Майкова ровнымъ и свѣтлымъ. Ни борьбы, ни страстей, ни бури, ни враговъ, ни гоненій. Путешествія, книги, памятники древности, рыбная ловля, стихи, мирныя семейныя радости, и надъ всей этою жизнью, какъ ясный закатъ, мерцаніе не бурной, но долговѣчной славы—такая счастливая доля достается немногимъ баловнямъ судьбы, особенно въ наше время и въ нашемъ отечествѣ.

Но люди такъ устроены, что безнаказанно не могутъ переносить ни слишкомъ большаго счастья, ни слишкомъ большаго страданія. Счастіе сдѣлало Майкова одностороннимъ. Онъ уединился въ немъ, въ своемъ вѣчно-свѣтломъ художественномъ Элизіумѣ, и былъ навѣки отторгнутъ отъ современной жизни. Впрочемъ, это—недостатокъ, а въ извѣстномъ отношеніи и достоинство всѣхъ его сверстниковъ, жрецовъ чистаго искусства, идеалистовъ 40-хъ годовъ, пронесшихъ знамя своего художественнаго исповѣданія сквозь гоненія 60-хъ годовъ и теперь, на склонѣ дней, увѣнчанныхъ лаврами. Таковы они все трое—Майковъ, Фетъ, Полонскій. Это совершенно особое поэтическое поколѣніе, связанное единствомъ творческаго принципа, общою силою и общей ограниченностью.

Какъ лирики, какъ пѣвцы природы, идеальной любви, тихихъ радостей, наслажденія искусствомъ и красотою—они неподражаемы. Они довели форму до послѣдней степени вѣшняго совершенства, хотя при этомъ отчасти нарушили пушкинскую простоту и реализмъ и въ менѣе удачныхъ произведеніяхъ впади въ виртуоз-

ность, ~~изысканность~~, преобладаніе красоты формы надъ значительностью содержанія.

Муза Пушкина и Лермонтова была не только музой красоты и природы, — она была музой человѣческихъ страстей, борьбы, страданія, всего безграничнаго и бурнаго океана жизни. Муза Майкова, Фета и Полонскаго значительно сѣздила поэтическую программу Пушкина и Лермонтова. Она боится бурь историческихъ и душевныхъ, слишкомъ рѣзкаго современнаго отрицанія, слишкомъ болѣзненныхъ и горькихъ сомнѣній, слишкомъ разрушительныхъ страстей и порывовъ. Повидимому, она возобновила въ поэзіи мудрое правило Горація о ~~мартъ~~ во всемъ, объ «апеге *mediocritas*», и поклонилась античному идеалу. Это — муза тихихъ книгохранилищъ, уединенныхъ садовъ, музеевъ, семейнаго очага, спокойныхъ и созерцательныхъ путешествій, мирныхъ радостей и невозмутимой вѣры въ идеалъ. Положительно, люди эти внушаютъ зависть своимъ здоровьёмъ: тишина патриархальнаго дѣтства и вкусные хлѣба помѣщичьихъ обломовскихъ гнѣздъ пошли имъ впрокъ. Нестарѣющіе пѣвцы, вдохновенные въ 70-хъ лѣтъ, они моложе молодыхъ постовъ болѣе нервнаго и мятежнаго поколѣнія. Если собрать всѣ печали и сомнѣнія, которыя отразились за полувѣка въ произведеніяхъ Фета, Полонскаго и Майкова, если сдѣлать изъ этихъ страданій экстрактъ, то всетаки не получится даже и капли той неизсякаемой горечи, которая заключена въ двѣнадцати строкахъ лермонтовскаго: «И скучно, и грустно, и некому руку подать», или въ пушкинскомъ «Анчарѣ». Вотъ въ чемъ ограниченность этого поэтическаго поколѣнія. Увлеченное служеніемъ одной сторонѣ искусства, оно произвольно отсѣкло отъ поэзіи, какъ «злобу дня», не только преходящіе гражданскіе мотивы, но и все, что составляетъ, помимо красоты, важнѣйшую часть наслѣдія Пушкина и Лермонтова, т. е. *вѣчныя страданія человѣческаго духа, мятежный, неугасающій огонь Прометей, возставшаго на боговъ*. Форма осталась совершенной, содержаніе обѣднѣло и сѣзилось. Пушкинъ и Лермонтовъ не менѣе жрецы вѣчнаго искусства, не менѣе артисты, чѣмъ Майковъ, Фетъ и Полонскій, однако это не мѣшаетъ Пушкину и Лермонтову быть современными и близкими къ дѣйствительности, понимать и раздѣлять все, чѣмъ страдало ихъ поколѣніе. Правда, жизнь ихъ прошла не такъ спокойно и радостно. Они писали не только въ тихихъ кабинетахъ, а также и среди горцевъ на Кавказѣ, и въ цыганскихъ таборахъ, и съ декабристами дружили; не боялись ни бурь, ни пировъ, ни воле-

ныхъ страстей, ни отрицанія, ни дикой суровой природы, ни смертельныхъ опасностей.

Если Пушкинъ и спасся благополучно (стихотвореніе «Аріонъ»), то всетаки онъ побывалъ въ грозѣ, онъ наслаждался бурей, онъ самъ говорилъ, что есть упоеніе въ «разъяренномъ океанѣ» и «безднѣ мрачной на краю». Въ его пѣсняхъ не потухъ, а былъ насильно потушенъ мятежный огонь; но все же въ нихъ остались крѣпость, величіе и сила души, закаленной въ опасностяхъ.

Лермонтовъ тоже недаромъ сравнивалъ поэта съ кинжаломъ, который не на одной груди провелъ страшный слѣдъ и «не одну прорвалъ кольчугу». Поэтъ негодуетъ на то, что теперь «игрушкой золотой онъ блещетъ на стѣнѣ, увѣ! безславный и безвредный!»

„Проснешься-ль ты опять, осмѣянный пророкъ,
„Иль никогда на голосъ мщенья
„Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,
„Покрытой ржавчиной презрѣнья?“

Фетъ, Майковъ и Полонскій вынули клинокъ, но отнюдь не на голосъ мщенья,—они только отчистили ржавчину и, не позаботившись наточить его, покрыли хитрыми узорами и надписями, украсили, какъ ювелиры, золотыя ножны съ небывалымъ великолѣпіемъ драгоценными камнями и потомъ, считая задачу оконченной, повѣсили кинжалъ опять на прежнее мѣсто, чтобы онъ блисталъ не игрушкой, а удивительнымъ произведеніемъ искусства, безвредный, но не безславный.

Вкусы различны. Что касается меня, я предпочелъ-бы, даже съ чисто художественной точки зрѣнія, влажныя, разорванныя волнами ризы Аріона самымъ торжественнымъ ризамъ жрецовъ чистаго искусства. Есть такая красота въ страданіи, въ грозѣ, даже въ гибели, которой не могутъ дать никакое счастье, никакое упоеніе олимпійскимъ созерцаніемъ. Да наконецъ, и великіе люди древности, на которыхъ любятъ ссылаться наши *парнасцы*, развѣ были они чужды живой современности, народныхъ страданій и «злобы дня», если только понимать ее болѣе широко? Я увѣренъ, что Эсхиль и Софокль, участники великой борьбы Европы съ Азіей, предпочли-бы, не только какъ воины, но и какъ истинные поэты, мечъ, омоченный во вражеской крови, праздному мечу въ золотыхъ ножнахъ съ драгоценными камнями!..

II.

Въ молодости Майковъ занимался живописью; и въ поэзіи онъ остался живописцемъ, неподражаемымъ пластикомъ. У него нѣтъ образа, который не могъ-бы быть изображенъ на полотнѣ или даже высѣченъ въ мраморѣ. Не по духу и объему творчества, а по своеобразнымъ приѣмамъ онъ отличается отъ своихъ ближайшихъ сверстниковъ—Фета и Полонскаго. Для тѣхъ міръ является волшебнымъ призракомъ, таинственнымъ, мерцающимъ, звенящимъ странной музыкой, символомъ безконечнаго. Майкову природа представляется, какъ древнимъ, какъ его собрату въ области прозы—Гончарову, прекраснымъ, но *ограниченнымъ* и вполне определеннымъ предметомъ искусства. Фетъ и Полонскій—поэты-мистики, Майковъ—только поэтъ-пластикъ. Для него природа—не тайна, а наставница художника; «прислушиваясь душой къ шептанью тростниковъ, говору дубравы», онъ учится проникать въ божественныя тайны не самой природы, а только «гармоніи стиха». Въ музыкѣ лѣсовъ ему слышатся не голоса непостижимыхъ стихійныхъ силъ,—а «размѣрные октавы».

Этимъ отличіемъ взгляда на природу опредѣляется и отличіе Майкова отъ Фета и Полонскаго въ самой формѣ. У послѣднихъ двухъ въ стихѣ есть что-то близкое къ музыкѣ, неуловимое, неопредѣленное и этой неопредѣленностью обаятельное. Стихъ Майкова—точный снимокъ съ впечатлѣнія; онъ не даетъ ни больше, ни меньше, а ровно столько-же, какъ природа. Когда Майковъ передаетъ звукъ, Фетъ и Полонскій передаютъ трепетное эхо звука; когда Майковъ изображаетъ ясный свѣтъ, Фетъ и Полонскій изображаютъ отраженіе свѣта на поверхности волны. Если Майковъ даетъ намъ одинъ изъ своихъ глубокихъ, чудесныхъ эпитетовъ, какъ напр. «золотые берега Неаполя», «орелъ широкобѣжный», «рѣдкій тростникъ», онъ не возбуждаетъ никакихъ думъ, сразу исчерпываетъ все впечатлѣніе, и мы радуемся тому, что больше уже некуда идти, что мысль наша скована и ограничена красотой эпитета, что больше нечего сказать о предметѣ. Эпитеты Фета и Полонскаго заставляютъ насъ думать, искать,—тревожатъ; они долго-долго вибрируютъ въ нашемъ слухѣ, какъ задѣтые напряженныя струны, и пробуждаютъ въ душѣ рядъ отголосковъ, настроеній, музыкальных вѣяній, переливаются тысячами оттѣнковъ, пока со-всѣмъ не замрутъ,—и вспомнить ихъ уже невозможно.

Для Фета и Полонскаго свѣтитъ влажное, туманное солнце, и подъ его лучами всѣ рѣзкія очертанія предметовъ расплываются, всѣ звуки становятся глухими и таинственными, всѣ краски — тусклыми и нѣжными.

Солнце Майкова — это вѣчное солнце Эллады и Рима; оно сіяетъ въ сухомъ и прозрачномъ воздухѣ каменистой южной страны: рѣзкія тѣни и ослѣпительныя пятна свѣта, контуры всѣхъ предметовъ опредѣленны и точны до послѣднихъ мелочей, краски безъ оттѣнковъ и полутоновъ достигаютъ крайняго напряженія, звуки раздаются звонко и отрывисто — ни гипербола, ни музыкальной неопредѣленности, ни эхо, ни трепетныхъ отраженій свѣта, ни волшебныхъ сумерѣкъ. Стихъ Майкова изумительной точностью, чувствомъ мѣры и неподражаемой пластикой, напоминаетъ античныхъ поэтовъ.

Впрочемъ, онъ истинный классикъ, не только по формѣ, но и по содержанію.

Если понимать классицизмъ, какъ извѣстную историческую эпоху, то, конечно, его поэтическіе формы и образы для насъ — невозвратное прошлое, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія стремиться къ нимъ. Зачѣмъ буду я употреблять миеологическіе образы боговъ, въ которыхъ ни я, ни мои читатели не вѣрятъ? Въ этомъ смыслѣ подражанія древнимъ всегда должны казаться фальшивыми и холодными. Подражаніе, напр., китайскому или японскому стилю, можетъ быть предметомъ изящнаго ремесла, но отнюдь не высшаго художественнаго творчества. Въ поддѣлкѣ подъ что нибудь, что было когда-то живымъ, а теперь превратилось въ прахъ, всегда заключается ложь. Не предпочту-ли я произведеніе самаго ничтожнаго античнаго поэта самому гениальному современному подражанію на томъ-же основаніи, какъ предпочту крохотный живой листокъ наиболѣе совершенной поддѣлкѣ?

Но почему-же каждый чувствуетъ, что подражанія древнимъ такія, какія встрѣчаются у Гете, Шиллера, Пушкина, Мея, Майкова, непохожи на искусственныя поддѣлки, что они столь-же искренни и правдивы, какъ произведенія на темы изъ живой дѣйствительности?

Это объясняется тѣмъ, что классицизмъ умеръ для насъ, какъ извѣстный *историческій* моментъ, но какъ моментъ *психологическій* — онъ до сихъ поръ имѣетъ для cadaго мыслящаго человека большое значеніе.

Античный міръ въ самыхъ совершенныхъ художественныхъ

образахъ воплотилъ ту нравственную систему, въ которой земное счастье является крайнимъ предѣломъ желаній. Христіанство протестовало противъ античной нравственности, оно противопоставило земному счастью—счастье неземное и безконечное, устремило волю человѣка за предѣлы видимаго міра, за границу явленій. Споръ христіанской и античной нравственности до сихъ поръ еще нельзя считать законченнымъ. Классическій взглядъ на земное счастье, какъ на крайній предѣлъ человѣческихъ стремленій, возобновляется въ позитивизмъ, въ утилитаріанской нравственности. Тотъ-же самый протестъ, съ которымъ первые христіане выступили противъ античнаго міра, повторяется въ требованіяхъ противниковъ позитивной нравственности, въ ихъ желаніи найти основу для долга не въ одномъ стремленіи къ временному счастью.

Пока въ душѣ людей будутъ бороться эти два нравственныхъ идеала, пока люди будутъ съ тоской и недоумѣніемъ спрашивать себя, на чемъ же имъ, наконецъ, успокоиться—на земномъ счастьи или же на томъ, чего не можетъ дать земля,—до тѣхъ поръ красота древности классической, какъ совершенное воплощеніе одной изъ этихъ точекъ зрѣнія, будетъ сохранять свое обаяніе. Древніе были тоже своего рода позитивисты, только озаренные отблескомъ поэзіи, которые гораздо лучше современныхъ позитивистовъ умѣли жить исключительно для земного счастья и умирать такъ, какъ будто, кромѣ земной жизни, ничего и нѣтъ, и быть не можетъ:

И на колѣняхъ дѣвы милой
Я съ напряженной жизни силой
Въ послѣдній разъ упьюсь душой
Дыханьемъ травъ, и моремъ спящимъ,
И солнцемъ въ волны заходящимъ
И Пирры ясной красотой!..
Когда-жъ пресышусь до избытка,
Она смертельнаго напитка,
Умилно улыбаясь, мнѣ,
Сама не зная, дастъ въ винѣ,
И я умру шутя, чуть слышно,
Какъ истый мудрый сибарить,
Который, трапезою пышной
Насытивъ тонкій аппетитъ,
Средь ароматовъ мирно спитъ.

Такъ говоритъ эпикуреецъ Люцій въ «Трехъ смертяхъ» Майкова. Ни одинъ изъ современныхъ поэтовъ не выражалъ изящнаго матеріализма древнихъ такъ смѣло и вдохновенно. Майковъ про-

никаетъ въ глубину не только античной любви и жизни, но и того, что для современныхъ людей еще менѣе доступно—въ глубину античнаго отношенія къ смерти:

Съ зеленѣющихъ полей
Въ область блѣдную тѣней
Залетѣла разъ Психея,
На отжившихъ вдругъ повѣя
Жизнью, счастьемъ и тепломъ.
Тѣни вкругъ нея толпятся—
Одного онѣ боятся,
Чтобы солнце къ нимъ лучемъ
Въ вѣчный сумракъ не запало,
Чтобъ она не увидала
И отъ нихъ бы въ тотъ же часъ
Въ свѣтлый лучъ не унеслась.

(„Два міра“).

Что можетъ быть граціознѣе свѣтлаго образа Психеи на фонѣ древняго Аида? Вся эта трогательная пѣсенка проникнута не современной, но близкой намъ грустью. Съ такимъ уныніемъ и тихой покорностью долженъ относиться къ смерти человѣкъ, видящій въ ней только уничтоженіе, но не возстающій противъ этого уничтоженія и лишь опечаленный краткостью земного счастья. Тѣни Аида и послѣ смерти не видѣли ничего отраднѣе нашего солнца и тоскуютъ о нашей землѣ.

Что бы Майковъ ни говорилъ о христіанствѣ, какъ бы ни старался признать разсудкомъ его истины, здѣсь и только здѣсь мы имѣемъ искренній взглядъ нашего поэта на загробный міръ. Это тонкій поэтический матеріализмъ художника, влюбленнаго въ красоту *плоти* и равнодушнаго ко всему остальному. Замѣчательно, что поэтъ, пользуясь даже образами христіанской міеологіи, сохраняетъ все то-же античное настроеніе:

Больное, тихое дитя
Сидитъ на берегѣ, слѣдя
Большими умными глазами
За золотыми облаками...
Вкругъ берегъ пусть—скала, песокъ...
Тростникъ, накинанный волною,
Въ поморьѣ тянется каймою...
И такъ покой кругомъ глубока,
Такъ тихъ ребенокъ, что садится
Вблизи его на тростникъ,
Играя, птичка; на песокъ

По мели рыбака серебрится...
 Къ нимъ взоръ порою обратя,
 Такъ улыбается дитя,
 Глядитъ на нихъ съ такимъ участиемъ,
 И такъ сияетъ кроткимъ счастьемъ,
 Что, если бѣдный промелькнетъ
 Онъ на землѣ, какъ гость залетный,
 И скоро въ небѣ въ сонмъ безплотный
 Господнихъ ангеловъ войдетъ,
 —То тамъ, межъ нихъ, вспоминая
 Свой берегъ дикий и пустой,
 — „*Прекрасна, — скажетъ, — жизнь земная!*
Богатъ и веселъ край земной!“

Не страдавшей и не плакавшей музѣ поэта, какъ этому наивному ребенку, жизнь тоже представляется прекрасной, край земной — богатымъ и веселымъ. Онъ былъ счастливъ на землѣ, онъ привязался къ ней, и среди ангеловъ онъ, можетъ быть, пожалѣетъ о прошломъ, совсѣмъ какъ жалѣютъ о сладостномъ свѣтѣ земного дня языческія тѣни Аида. Разныя мифологіи, — но настроеніе поэта одно и то-же. Онъ и въ христіанствѣ остается безсознательнымъ язычникомъ.

Въ одномъ антологическомъ стихотвореніи Майковъ рассказываетъ, какъ печальный Менискъ, престарѣлый рыбакъ, схоронилъ своего утонувшаго сына:

На мысѣ семъ дикомъ, увѣнчанномъ бѣдной осокой,
 Покрытомъ кустарникомъ ветхимъ и зеленью сосенъ,
 Печальный Менискъ, престарѣлый рыбакъ, схоронилъ
 Погибшаго сына. Его возлелѣяло море,
 Оно-же его и пріяло въ широкое лоно,
 И на берегъ бережно вынесло мертвое тѣло.
 Оплакавши сына, отецъ подъ развѣсистой ивой
 Могилу ему ископалъ, и, накрывъ ее камнемъ,
 Плетеную вершу изъ ивы надъ нею повѣсилъ —
 Угрюмой ихъ бѣдности памятникъ скудный!

Удивляешься, когда поэтъ-волшебникъ оживляетъ прекрасную, блестящую сторону античной жизни, но еще гораздо болѣе удивительно, когда проникаетъ онъ въ сумракъ народной души. Вся эта пьеса похожа на трогательную пѣсню какого нибудь крестьянина. Античный міръ раскрывается съ новой, никому неизвѣстной стороны. Въ приведенномъ стихотвореніи нѣтъ и слѣда того, что мы привыкли видѣть въ классической поэзии. Маленькій рассказъ о рыбацкѣ Менискѣ дышетъ строгой простотой и реализмомъ, краски

бѣдныя, сѣрыя, которыя напоминаютъ, что и на югѣ, и въ древней Греціи, бывали свои унылые, будничные дни. Есть тайна въ этихъ десяти строкахъ: по крайней мѣрѣ, я ни разу не могъ прочесть ихъ, не почувствовавъ себя растроганнымъ до глубины души. Эта любовь бѣднаго темнаго человѣка, его безропотное горе передано Майковымъ съ великимъ, спокойнымъ чувствомъ, до котораго возвышались только рѣдкіе народные поэты.

Некрасовъ и Майковъ—можно ли найти два болѣе противоположныхъ темперамента? Но на одно мгновеніе всѣхъ объединяющая поэзія сблизила ихъ въ участіи къ простому горю бѣдныхъ людей. Съ извѣстной высоты не все ли равно—описывать горе русскаго мужика, котораго вчера еще я видѣлъ, или не менѣе трогательное горе бѣднаго престарѣлаго рыбака Мениска, умершаго за нѣсколько тысячелѣтій? Какъ долго и ожесточенно критики спорили о чистомъ и тенденціозномъ искусствѣ—какимъ ничтожнымъ кажется схоластическій споръ при первомъ вѣяніи живой любви, живой прелести! Критики—всегда враги; поэты—всегда друзья, и стремятся разными путями къ одной цѣли.

Перечтите стихотворенія «У храма», «Алкивіадъ», «Преторъ»—и вы увидите, что тотъ-же удивительный даръ прозрѣнія, который открываетъ Майкову простое народное горе въ классической древности, даетъ ему возможность проникнуть въ еще болѣе недоступную, интимную сторону отжившей цивилизаціи—въ ея комизмъ, въ ея смѣхъ и юморъ. Нѣтъ ничего мимолетнѣе, неуловимѣе смѣха. Когда отъ мраморныхъ мавзолеевъ, отъ великихъ военныхъ подвиговъ остались одни обломки и полустертыя надписи, что-же могло остаться отъ звуковъ смѣха, умолкшихъ двадцать вѣковъ тому назадъ? Но такова чудотворная сила поэта! По одному его слову древность возстаетъ изъ гроба, изъ могильной пыли, и художникъ заставлятъ ее плакать и смѣяться:

Какъ ты милъ въ вѣнкѣ лавровомъ,
Толстопузый преторъ мой,
Съ этой лысой головой
И съ лицомъ своимъ багровымъ...
Съ своего ты смотришь ложа,
Какъ подъ гусли пляшетъ скіеъ,
Выбивая дробь ногами,
Внизъ потупя мутный взглядъ,
И подергивая въ ладъ
И руками, и плечами.
Вижу я: ты выбивать

Самъ готовъ бы дробь подъ стать,
 Такъ и рвется духъ твой пылкій!
 Покрывало теребя,
 Ходятъ ноги у тебя,
 И качаются носилки
 На плечахъ рабовъ твоихъ,
 Какъ корабль средь волнъ морскихъ.
 („Преторъ“).

Это—шутка, но такая шутка, которою поэтъ сразу уничтожилъ тысячелѣтія между вами и солнечной пыльной улицей древняго Рима; это—бездѣлка, но она высѣчена изъ мрамора, и каждая крупинка бѣлоснѣжнаго паросскаго камня насквозь пропитана солнцемъ Рима, искрится, живетъ и дышетъ.

Римъ все собой объединилъ,
 Какъ въ человѣкѣ разумъ: міру
 Законы далъ и все скрѣпилъ.
 Находятъ временныя тучи,
 Но разумъ бодрствуетъ могучій,
 Не никнетъ духъ...

Единство въ мірѣ водворилось!
 Центръ—кесарь. Отъ него прошли
 Тучи во всѣ концы земли,
 И гдѣ прошли—тамъ появились
 Торговля, тога, циркъ и судъ,
 И вѣковѣчныя бѣгутъ
 Въ пустыняхъ римскія дороги!
 („Два міра“).

Майковъ понимаетъ не только повседневную сторону жизни древнихъ, не только ихъ будничное горе и будничный смѣхъ, но и величавую поэзію римской гражданственности. Онъ проникъ (какъ это видно изъ великолѣпныхъ монологовъ римлянина Деція въ «Двухъ мірахъ») въ самую сущность объединяющей, могучей идеи, послужившей цементомъ для колоссальнаго государства. Стихъ Майкова, въ другихъ мѣстахъ такой нѣжный, гибкій и женственный, приобретаетъ въ рѣчахъ старыхъ римлянъ (напр., Сенеки въ «Трехъ смертяхъ», Деція) грандіозный пафосъ и потрясающую металлическую звонкость латинскихъ поэтовъ. Мнѣ кажется, что еслибы нѣкоторые хвалы Майкова величію *Rei Publicae* были прочтены двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ на латинскомъ языкѣ передъ народомъ или сенатомъ, римляне поняли-бы нашего поэта, и квинты въ восхищеніи присудили бы ему лавровый вѣнокъ.

Несомнѣнно лучшее произведеніе Майкова—лирическая драма «Три смѣрти». Она стоитъ особнякомъ не только среди его произведеній, но и вообще въ русской поэзіи. Нашъ поэтъ ни раньше, ни послѣ никогда не достигалъ такой высоты творчества. Эта драма—самая классическая изъ его вещей и вмѣстѣ съ тѣмъ самая современная. Поэтъ извлекъ изъ античнаго міра все, что въ немъ есть общечеловѣческаго, понятнаго всѣмъ народамъ и всѣмъ вѣкамъ. Послѣ Пушкина и Лермонтова никто еще не писалъ на русскомъ языкѣ такими неподражаемо-прекрасными и могучими стихами. Поэтъ подымаетъ насъ на неизмѣримую высоту философскаго созерцанія, а между тѣмъ въ его драмѣ нѣтъ и слѣда того разсудочнаго элемента, который часто портитъ слишкомъ умныя произведенія. Драма проникнута огнемъ лиризма. Съ вами говорятъ не философскіе манекены, а живые люди, которые успѣваютъ внушить любовь и состраданіе.

Великая тема произведенія—борьба человѣческаго духа съ ужасомъ смерти, и притомъ борьба самая страшная и героическая—внѣ всякой защиты, внѣ всѣхъ твердынь религіозныхъ догматовъ и преданій. Какъ воины, которые вышли изъ стѣнъ крѣпости и вступили съ врагомъ въ рукопашный бой, такъ эти три человека—эпикурецъ Люцій, философъ Сенека и поэтъ Луканъ—борятся лицомъ къ лицу со смертью, опираясь только на силу собственного духа, не прибѣгая къ защитѣ религіозныхъ вѣрованій. Послѣ мучительной агоніи, всѣ трое выходятъ побѣдителями: эпикурецъ побѣждаетъ смерть насмѣшкой, философъ — мудростью, поэтъ—вдохновеніемъ.

Вотъ жизнь моя! и что-жъ? ужель
Вдругъ умереть? и это—цѣль
Трудовъ, великихъ начинаній!..
Побѣдный лавръ, вѣнецъ желаній!..
О боги! нѣтъ! не можетъ быть!
Нѣтъ! жить, я чувствую, я буду!
Хоть чудомъ—о, я вѣрю чуду!
Но долженъ я и буду жить!

И вдругъ отъ безумнаго страха смерти и безумной жажды жизни Луканъ сразу переходитъ къ величайшему презрѣнію къ ней, когда онъ слышитъ о подвигѣ рабыни Эпихариды, презрѣвшей жизнь:

Простите-жъ, пышныя мечтанья!
Осуществить я васъ не могъ!

О, умираю я, какъ богъ,
Средь начатаго мірозданья!..

Вотъ великое трагическое движеніе, на которое способны только очень сильные поэты! Какъ ни различны по своимъ міросозерцаніямъ эпикуреецъ, философъ и поэтъ, какъ ни противоположны ихъ отношенія къ смерти,—одна характерная черта, одно чувство соединяетъ ихъ. Всѣ трое умираютъ, утѣшенные торжествомъ своего «я», своей личности. Они такъ и не поняли и *не должны были понять* смерти въ христіанскомъ смыслѣ, какъ сліянія съ Богомъ, какъ самоотреченія, какъ послѣдняго подвига любви. Майковъ раздѣляетъ вполне силу и ограниченность этихъ трехъ великихъ язычниковъ. Такіе люди понимаютъ смерть, какъ апоѳеозъ своего «я», они до послѣдняго мгновенія противопоставляютъ смерти силу и неразрушимость своей личности, чуждой любви и преисполненной гордости, они умираютъ, отрицая смерть, въ упоеніи величіемъ собственнаго духа.

Теперь мы достигли геркулесовыхъ столповъ творчества нашего поэта, мы коснулись пограничной черты его поэзіи. Муза напрягала всѣ силы, чтобы переступить за черту, но ей не удалось — у нея не было тѣхъ орлиныхъ крыльевъ, которыя необходимы, чтобы перелетѣть бездну, отдѣляющую античный міръ отъ христіанскаго. Майковъ до конца дней въ глубинѣ души остался язычникомъ, несмотря на всѣ усилія перейти въ вѣру великаго Назарянина *).

*) Здѣсь уместны, быть можетъ, нѣкоторыя оговорки къ заключеніямъ уважаемаго критика. Образъ Сенеки въ драмѣ «Три смерти», стихотворенія «изъ гностиковъ» и мн. др. не позволяютъ считать творчество Майкова исключительнымъ воплощеніемъ языческаго матеріализма. Мистическіе элементы вливаются, очевидно, широкою волною въ эту поэзію. Да и самъ «классицизмъ», отъ «Федона» и тускуланскихъ бесѣдъ до неоплатониковъ, далеко не всегда ограничивалъ свои цѣли земными стремленіями. «Язычникъ», «классикъ», по справедливому диагнозу г. Мережковского, — *индивидуалистъ*, другими словами, Майковъ умѣлъ понимать и мистицизмъ древнихъ, окрашивая свой индивидуализмъ идеалистическими цвѣтами. Если въ юныхъ произведеніяхъ (въ такъ называемой «антологіи») онъ является пѣвцомъ яркаго матеріализма, то не слѣдуетъ забывать, что таково обычное настроеніе молодости. Наклонная-ли къ «язычеству» или къ «христіанству» — къ индивидуализму, или къ коллективизму, она одинаково удовлетворена еще землею. Наряду съ ликующимъ пѣснопѣніемъ языческой антологіи, вспомнимъ упрямый матеріализмъ нашихъ наивныхъ коллективистовъ — шестидесятниковъ. Но съ годами приходятъ иныя требованія. Какъ античный міръ, старѣясь, искалъ «невѣдомаго Бога», такъ ищетъ его и майковскій Сенека, такъ смутно угадываютъ его гностическія строфы. Конечно, жертвенникъ Павла въ Аѳинахъ не разрѣшилъ загадки для Эл-

III.

Онъ понялъ умомъ, но не сердцемъ, противоположность двухъ міровъ — христіанскаго и античнаго. Угадывая въ теоріи, какъ историкъ, онъ не сумѣлъ показать эту противоположность на дѣлѣ, какъ художникъ, несмотря на то, что всю жизнь стремился къ трудной, для размѣровъ его таланта слишкомъ великой задачѣ.

лады—не рѣшаютъ ея и исканія Майкова. Отдѣльная личность здѣсь идетъ тѣмъ-же путемъ, какимъ шелъ нѣкогда весь родственныи ей народъ. Пѣсни Анакреона смѣняются гимнами „Аполлодора Гностика“. До чистаго христіанства, до мистическаго коллективизма, здѣсь, дѣйствительно, далеко, но не ближе было и прежнее разстояніе отъ первобытнаго эпикуреизма до элементарной суровости коллективистовъ. Это два разныхъ духовныхъ типа, двѣ различныя дороги... Не «орлиныя крылья» нужны были музѣ Майкова, чтобы оторваться отъ классицизма, а лишь другое опереніе. Не «бездна» отдѣляетъ античный міръ отъ христіанскаго—это двѣ сосѣднія области, хотя изолированныя и закрытыя другъ отъ друга. Усилія Майкова «перейти въ вѣру великаго Назарянина» были больше чѣмъ бесплодны—они не нужны. Рядомъ съ беззаботнымъ эгоизмомъ Люція, рядомъ съ мятежными порывами полу-проврѣвшаго Лукана, звучитъ высшая проповѣдь индивидуализма въ устахъ Сенеки:

Смерть шагъ великій! Вѣрь, мой другъ,
Есть смыслъ въ Платоновомъ ученіи—
Что это мигъ перерожденія.
Пусть здѣсь убьетъ меня недугъ —
Но, какъ мерцаніе Авроры,
Какъ лилій чистый эфиръ,
Какъ лиръ торжественныя хоры,
Иная жизнь насъ встрѣтитъ — тамъ!
Въ душѣ, за симъ земнымъ предѣломъ,
Проснутся, выглянуть на свѣтъ
Иныя чувства, роемъ цѣлымъ,
Которымъ органа здѣсь нѣтъ.
Мы—боги, скованные тѣломъ,
И въ этотъ дивный переломъ,
Когда я покидаю землю,
Я прежній образъ свой приѣмлю,
Вступаю въ небо—божествомъ!

Трудно представить себѣ болѣе точное и яркое выраженіе мистики индивидуализма, и уже одной этой выписки достаточно, чтобы замѣтить всю осторожность утвержденія со стороны г. Мережковскаго, будто для античнаго міра «всёное счастье явилось крайнимъ предѣломъ желаній», и пѣвецъ его—влюбленный, какъ язычникъ, какъ индивидуалистъ, въ «красоту плоти» — остался „равнодушнымъ ко всему остальному“.

П. Перцовъ.

Въ драмѣ «Два міра» нѣтъ въ сущности ровно никакой драмы, а есть лирическіе монологи римлянина Деція. Передъ нами оживаетъ одинъ только міръ — языческій, что же касается христіанскаго, то я положительно его не вижу, онъ кажется мнѣ холоднымъ, безкровнымъ и, что хуже всего, тенденціознымъ призракомъ. Замѣчательно, что авторы вообще любятъ дѣлать свои мертвыя, неудачныя фигуры — идеальными, какъ будто недостатокъ жизни надѣются восполнить избыткомъ добродѣтели. Въмѣсто того, чтобы просто и глубоко чувствовать, первые христіане Майкова холодно и пространно разсуждаютъ. Это весьма начитанные и богословски-образованные резонеры. То и дѣло сыплютъ они цитатами изъ Священнаго Писанія, на Христа и на Бога смотрять не съ наивной смѣлостью людей, творящихъ новую религію, а сквозь запяленную византійскую призму государственнаго исповѣданія.

Молитесь!.. Будь благословенье
Тебѣ, Господь нашъ въ небесахъ,
Что вспомнилъ о своихъ рабахъ
И всѣхъ зовешъ насъ къ жизни вѣчной
Изъ жизни временной, конечной!
Дай чаши намъ твоей испить
И повести твой крестъ съ Тобою!
Дай пострадать намъ смертью злѣю,
Чтобъ славу въ насъ Твою явить!

Замѣьте, какъ только начинаютъ говорить у него христіане, самый стихъ становится напряженнымъ и безсильнымъ, вычурнымъ и вялымъ, непростымъ и банальнымъ. Да простить намъ поэтъ, но отъ этихъ стиховъ вѣетъ не ароматомъ свѣжаго, древняго міросозерцанія, а чѣмъ-то слишкомъ современнымъ — запахомъ церковной пыли, дешеваго ладона и деревяннаго масла... Въ одной молитвѣ Лермонтова («Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою») больше христіанскаго чувства, чѣмъ во всѣхъ клерикальныхъ и напыщенныхъ проповѣдяхъ первыхъ христіанъ Майкова. Право-же, они говорятъ о Богѣ и любви такъ-же холодно и ортодоксально, какъ современные ханжи, у которыхъ Богъ и любовь на языкѣ, а не въ сердцѣ. Нѣтъ, нѣтъ, такъ не могли говорить первые христіане! Майковъ клеветаетъ на нихъ! Перечтите у Ренана его чудесный томъ «Les apôtres» или «Saint-Paul»: вы увидите живые образы этихъ блѣднотлицыхъ и истерическихъ женщинъ и дѣвушекъ, странныхъ, мечтательныхъ, преисполненныхъ жгучей, почти болѣзненной любовью, необузданной фантазіей, походившей на горячечный

бредъ, мистическимъ восторгомъ, въ которомъ плоть ихъ сгорала, какъ сухое дерево сгораетъ въ огнѣ; вы увидите темныя одежды дьякониссъ, загадочныя собранія, проявленія среди крайняго аскетизма пылкой и вмѣстѣ съ тѣмъ цѣломудренной чувственности, лица простыя, добрыя, съ отпечаткомъ народной грубости и презрѣнія къ внѣшней красотѣ.

Но что-же говорить о реализмѣ подробностей, когда Майкову ни на одно мгновеніе не удалось проникнуть въ сущность христіанской идеи. А идея эта заключается въ призрачности всего матеріальнаго міра, въ непосредственномъ сношеніи человѣческой души съ Богомъ, въ отреченіи отъ нашего «я» для полнаго сліянія съ началомъ міровой любви, т. е. со Христомъ. Майковъ, какъ языческій художникъ, влюбленный въ красоту матеріальнаго міра, не могъ чувствовать его призрачности; Майковъ съ его стремленіями къ яснымъ скульптурнымъ образамъ не могъ понять несказаннаго и необъятнаго волненія мистиковъ; Майковъ, видящій, какъ Сенека и Луканъ, въ смерти только апофеозъ *личнаго* начала, не могъ почувствовать искренняго желанія отречься отъ себя и умереть, слившись съ міровой любовью. Онъ побоялся взять древняго паросскаго мрамора, чтобы изваять своихъ первыхъ христіанъ, ангеловъ, св. Павла, Небеснаго Отца; думая, что одухотворенныя фигуры выйдутъ слишкомъ тяжелыми и чувственными изъ античнаго матеріала, онъ замѣнилъ его чѣмъ-то вовсе неблагороднымъ, чѣмъ-то похожимъ на гипсъ дешевыхъ современныхъ статуэтокъ. Воздушные образы христіанскихъ преданій надо создавать изъ пламени и свѣта, чтобы сами собой они стремились къ небу и парили надъ землей, а у Майкова въ его скульптурныхъ группахъ христіанскія фигуры прикрѣплены — какъ это дѣлаютъ посредственные ваятели — на желѣзныхъ прутьяхъ, для того, чтобы онѣ могли парить на своихъ тяжелыхъ гипсовыхъ крыльяхъ, и — кажется — вотъ-вотъ онѣ упадутъ и разобьются вдребезги.

Впрочемъ, не проникая въ мистическій духъ христіанства, Майковъ вполне владѣетъ внѣшней, матеріальной формой христіанской миеологии. Такъ, напр., онъ превосходно передалъ раскольниковыя легенды въ драматическихъ сценахъ «Странникъ», написанныхъ удивительно красивымъ архаическимъ стихомъ. Очень поэтично преданіе о происхожденіи испанской инквизиціи, о королевѣ Изабеллѣ. Повсюду, гдѣ ему ни приходится касаться внутренней, мистической сущности христіанской идеи, гдѣ онъ только изображаетъ внѣшнія, прекрасныя формы религіознаго матеріализма,

Майковъ остается истиннымъ художникомъ. Вообще онъ очень легко и граціозно владѣтъ *внѣшней формой* всѣхъ народностей и всѣхъ вѣковъ, — формой, но не внутреннимъ духовнымъ содержаніемъ. Какъ поэтъ-историкъ, онъ съ научной точностью и большимъ вкусомъ передаетъ древне-германскія сказанія о Вальдурѣ, «Слово о полку Игоревѣ», сербскія и новогреческія пѣсни, средневѣковыя легенды, но все-таки чувствуется, что это — искусное, иногда художественное *переодѣваніе* его классической музы, а не *перевоплощеніе*, какъ, напр., у Пушкина. У послѣдняго въ подражаніяхъ Магомету — не только весь ароматъ восточной поэзіи съ ея дикою и странною прелестью, но и вся глубина восточнаго мистицизма. У Майкова слишкомъ много спокойной точности и простоты, слишкомъ много чувства классической мѣры и гармоніи, чтобы онъ могъ проникнуть въ необузданную, меланхолическую фантазію кровожадныхъ скандинавскихъ пиратовъ и викинговъ, грубыхъ, мрачныхъ, вѣчно пьяныхъ отъ крови или отъ пива, пирующихъ и распѣвающихъ пѣсни подъ открытымъ небомъ за кострами. Чудовищные образы сѣверныхъ скальдовъ пріобрѣтаютъ у Майкова изящество, блескъ и простоту гомеровскаго эпоса. Сербскія и новогреческія пѣсни ближе къ античному міросозерпанію, и онѣ удаются поэту гораздо лучше. Но глубокий мистицизмъ первыхъ христіанъ, также какъ новыхъ сѣверныхъ народовъ, остался Майкову навѣки чуждымъ и недоступнымъ.

Еще болѣе ему недоступна современная жизнь. Въ эпоху, когда поэтъ уже создалъ свои чудныя антологическія стихотворенія, онъ является робкимъ ученикомъ, почти безъ искры самостоятельнаго дарованія, въ пьесахъ, посвященныхъ русской дѣйствительности, какъ напр., въ «Житейскихъ думахъ», въ «Грезахъ», «Барышнѣ», «Утопистѣ», «Послѣ бала» и др. Все это крайне слабо, подражательно и недостойно автора «Трехъ смертей». Немногимъ лучше неаполитанскій альбомъ «Миссъ Мери». Здѣсь, по крайней мѣрѣ, есть нѣсколько изящныхъ итальянскихъ акварелей. Впрочемъ, оригинальнаго въ «Миссъ Мери» мало: это искусное подражаніе Гейне. Положительно Майковъ не владѣтъ юморомъ и обстановкой XIX вѣка. Классической величавой музѣ совсѣмъ не присталъ современный костюмъ европейской дамы или барышни. Строгая богиня, привыкшая къ простымъ широкимъ складкамъ древняго одѣянія, чувствуетъ себя неловко въ узкомъ модномъ платьѣ. Она хороша была на родномъ Геликонѣ, но жалко смотрѣть, какъ поэтъ насильно вводитъ ее въ свѣтскій кругъ современныхъ барышень,

заставляетъ участвовать въ кадрили, болтать съ кавалерами, — и каждая пустынькая молодая красавица можетъ по праву осмѣять гордую богиню и замѣтить, что платье на ней нехорошо сидитъ, что ея благородныя античныя формы кажутся почти смѣшными и неуклюжими въ костюмѣ миссъ Мери.

Гораздо лучше удастся ему совершенно обратный поэтический пріемъ, а именно облеченіе новаго содержанія въ античныя формы—пріемъ, который такъ любилъ Гете. Современная газета даетъ Майкову поводъ написать очень тонкую изящную идиллію во вкусѣ Оеокрита. Таковы вообще лучшія пьесы изъ «Очерковъ Рима».

Майковъ до такой степени проникнутъ непреодолимой любовью къ античному міру, что нерѣдко, описывая современную дѣйствительность, онъ по привычкѣ вдругъ переходитъ къ древнимъ миеологическимъ образамъ и забываетъ первоначальную тему. Античный профиль какой-нибудь красавицы тотчасъ-же напоминаетъ ему Сорренто, пестумскій храмъ, пиръ гораціанскихъ временъ, золотую галеру,—и вотъ онъ уже далекъ отъ современной жизни,—и, съ удивленіемъ и съ грустью просыпаясь въ XIX вѣкѣ, поэтъ восклицаетъ: «ахъ, вы всему виной, о розы Пестума, классическія розы!...» Таковъ складъ его воображенія, оно чуждо современности—и, по инстинкту, по непреодолимой привычкѣ, какъ струя воды по наклонной плоскости, стремится къ античному міру.

Несомнѣнно лучшая изъ современныхъ поэмъ Майкова—«Рыбная ловля», и то лишь потому, что въ ней онъ избралъ темой не жизнь людей, а жизнь природы и патріархальное, идиллическое занятіе, описанное простодушно въ духѣ неподражаемыхъ «Георгикъ».

Откинешься на лугъ и смотришь въ небеса,
И слушаешь стрекозъ, покуда сонъ глубокій
Подъ теплый паръ земли глаза мнѣ не сомкнетъ...
О чудный сонъ! душа, Богъ знаетъ, гдѣ, далеко,
А ты во снѣ живешь, какъ все вокругъ живешь...

Стрекозы синія колеблутъ поплавки,
И тощія кругомъ шныряютъ пауки,
И кружится, сребрясь, сетковъ веселыхъ стая,
Иль брызнетъ въ стороны, отъ жуки исчезая...

Дальше описывается, какъ рыбакъ осторожно на удочкѣ выводитъ изъ воды «упорнаго леща», какъ «чернозолотой красавецъ повернулся» и опять исчезъ въ водѣ. Интимныя, даже прозаическія подробности домашней жизни поэтъ возвышаетъ, придавая имъ, какъ истин-

ный классикъ, печать не современной, важной красоты: такъ онъ изображаетъ, какъ на цыпочкахъ, подобно вору, чтобы не потревожить домашнихъ, онъ крадется изъ дому и лѣзетъ черезъ заборъ, «взявъ хлѣба про запасъ съ *кристальной* крупной солью». Самая прозаическая поваренная соль, благодаря классическому эпитету, превращается въ подробность достойную Гомера или Теокрита. Мало по малу тонъ идилліи повышается, и—какъ всегда въ порывѣ искренняго вдохновенія—Майковъ забываетъ современность и переносится въ античный міръ. Что, кажется, можно найти общаго между рыбной ловлей и древнегреческимъ божествомъ? Но таковъ пластическій геній нашего поэта. Его фантазія превращаетъ все, къ чему ни прикоснется, въ мраморъ и высѣкаетъ изъ него дивныя изваянія. Такъ и рыбная ловля представляется его неисправимо-языческому воображенію новою богиней, «чистою музой, витающей между озеръ». И мало по малу онъ начинаетъ такъ ее любить, что воплощаетъ въ этой богинѣ рыболовнаго искусства свою собственную музу. Онъ обращается къ ней:

Пускай бѣгутъ твои балованныя сестры
За лавромъ и хвалою, и памятью вѣковъ,—
Ты ночью звѣздною на мельничной плотинѣ,
Въ семь царствъ свай, колесъ, и плѣсени, и мховъ,
Таинственностью духъ питай въ святой пустынѣ!..
И въ часъ, когда спадетъ съ природы тьмы завѣса,
И солнце вспыхнетъ вдругъ на пурпурѣ зари,—
Со всѣми криками и шорохами лѣса
Сама въ моей душѣ ты съ Богомъ говори!
Да просвѣтленъ тобой, дыша, какъ часть природы,
Исполнюсь мощью я и счастьемъ той свободы,
Въ которой праотецъ народовъ, дни катя
Къ сребристой старости, былъ веселъ, какъ дитя!

Такова муза нашего поэта. Если она и осталась навѣки чуждой современности, то все-таки нельзя въ ней отрицать того общечеловѣческаго, понятнаго всѣмъ вѣкамъ, что даетъ ей лучшимъ плѣнямъ право на безсмертіе.

Д. С. Мережковскій.

О К Т А В А.

Гармоніи стиха божественныя тайны
Не думай разгадать по книгамъ мудрецовъ:
У берега сонныхъ водъ, одинъ бродя случайно,
Прислушайся душой къ шептанью тростниковъ,
Дубравы говору; ихъ звукъ необычайный
Прочувствуй и пойми... Въ созвучіи стиховъ
Невольно съ устъ твоихъ размѣрныя октавы
Польются, звучныя, какъ музыка дубравы.

ИСКУССТВО.

Срѣзалъ себѣ я тростникъ у побережья шумнаго моря.
Нѣмъ, онъ забытый лежалъ въ моей хижинѣ бѣдной.
Разъ увидать его старецъ прохожій, къ ночлегу
Въ хижину къ намъ завернувшій. (Онъ былъ непонятенъ,
Чуденъ на нашей глухой сторонѣ). Онъ обрѣзалъ
Стволъ и отверстій надѣлалъ, къ устамъ приложилъ ихъ...
И оживленный тростникъ вдругъ исполнился звукомъ
Чуднымъ, какимъ оживлялся порою у моря,
Если внезапно зефиръ, зарябивъ его воды,
Трости коснется и звукомъ наполнить поморье.

С О Н Ъ.

Когда ложится тѣнь прозрачными клубами
На нивы желтыя, покрытыя скирдами,

На синіе лѣса, на влажный знакъ луговъ;
 Когда надъ озеромъ бѣлѣть столпъ паровъ
 И въ рѣдкомъ тростникѣ, медлительно качаясь,
 Сномъ чуткимъ лебедь спитъ, на влагѣ отражаясь,—
 Иду я подъ родной соломенный свой кровъ,
 Раскинутый въ тѣни акацій и дубовъ:
 И тамъ, въ урочный часъ съ улыбкой устъ привѣтныхъ,
 Въ вѣнцѣ дрожащихъ звѣздъ и маковъ темноцвѣтныхъ,
 Съ таинственныхъ высотъ, воздушною стезей,
 Богиня мирная, являясь предо мной,
 Сіянемъ палевымъ главу мнѣ обливаетъ
 И очи тихою рукою закрываетъ,
 И, кудри подобравъ, главой склоняся ко мнѣ,
 Лобзаетъ мнѣ уста и очи въ тишинѣ.

АЛКИВІАДЪ.

Внучекъ, вѣрь наукѣ дѣда:
 Вѣрь—надъ женщиной побѣда
 Намъ труднѣй, чѣмъ надъ врагомъ.
 Здѣсь все случай, все удача!
 Сердце женское—задача,
 Нерѣшенная умомъ!
 Ты слыхалъ-ли имя Фрины?
 Покорялися Афины
 Взгляду гордой красоты,—
 Но на насъ она взирала,
 Какъ богиня съ пьедестала
 Недоступной высоты.
 На пирахъ ея быть званымъ—
 Это честь была избраннымъ;
 Принимала какъ сатрапъ!
 Всѣмъ серебряныя блюда
 И хрустальные сосуды,
 И за каждымъ—черный рабъ!
 Разъ былъ пиръ... то пиръ былъ грацій!
 Острыхъ словъ, импровизацій
 И рѣчей лился каскадъ...

Мнѣ везло: привѣтнымъ взглядомъ
Позвала ужъ сѣсть съ ней рядомъ—
Вдругъ вошелъ Алкивиадъ.

Прямо съ оргіи онъ, что-ли!
Но, крича какъ варваръ въ полѣ,
Сшибъ въ дверяхъ двухъ скифовъ съ ногъ,
Оттолкнулъ меня обидно,
И къ красавицѣ безстыдно
На плечо лицомъ прилегъ.

Были тутъ послы, софисты,
И архонты, и артисты...
Онъ бесѣдой овладѣлъ,
Хохоталъ надъ мудрецами,
И безумными глазами
На прекрасную глядѣлъ.

Что тутъ дѣлать?.. Полны злости,
Расходиться стали гости...
Смотримъ—спитъ онъ! Та—молчить
И не будить... Что-жъ? добился!
Ей повѣса полюбился,
Да и насъ потомъ стыдитъ!

У Х Р А М А.

Что это? прямо на насъ и летятъ въ перегонки,
Прямо съ горы и несутся, шалуны!
Знаю ихъ: эта, что съ тирсомъ—Аглая,
Сзади—Коринна и Хлоя;
Это идутъ онѣ съ жертвами Вакху!
Розъ, молока и вина молодого,
Меду несутъ, и козленка молочнаго ташутъ!
Такъ-ли приходитъ молиться степенная дѣва?
Спрячемся здѣсь, за колонной у храма...
Знаю ихъ: рѣзвы онѣ уже слишкомъ и бойки—
Скромному юношѣ съ ними опасно встрѣчаться.
Ну, такъ и есть! быстроглазья! насъ увидали!
Смотрятъ сюда изподлобья,
Шепчутъ, другъ друга толкая;

Щеки ихъ сдержаннымъ смѣхомъ такъ и трепещутъ!
 Если-бы только не храмъ здѣсь, не жрецъ величавый,—
 Это вино, молоко, и цвѣты, и козленокъ—
 Все-бъ полетѣло на насъ и пошли-бъ мы, какъ жертвы
 Вѣчнымъ богамъ на закланье,
 Медомъ обмазаны, политы винами Вакха!

Право, уйдемъ-ка, ужъ такъ онѣ насъ не отпустятъ!
 Видишь—съ жрецомъ въ разговоры вступили,
 Старый смѣется и щурить глаза на открытыя плечи.
 Правду сказать, у нихъ плечи какъ будто изъ воску,
 Чудныя, полныя руки, и—что всего лучше—
 Блескъ и движенье, здоровье и нѣга,
 Грація съ силой во всѣхъ сочетались формахъ.

Д І О Н Е Я.

Право, завидно смотрѣть намъ, какъ любить тебя Діонея.
 Если ты въ циркѣ на бой гладіаторовъ смотришь, иль внемлешь
 Мудрымъ урокамъ въ лицѣ, иль учишься мчаться на коняхъ,—
 Плачетъ, ни слова не скажетъ! Когда-же въ пыли ты вернешься,—
 Вдругъ оживетъ, и соскочитъ, и кинется съ воплемъ,
 Крѣпче, чѣмъ плющъ вокругъ колонны, тебя обвиваетъ руками!
 Слезы на длинныхъ рѣсницахъ, въ устахъ поцѣлуй и улыбка.

FORTUNATA.

Ахъ, люби меня безъ размышленій,
 Безъ тоски, безъ думы роковой,
 Безъ упрековъ, безъ пустыхъ сомнѣній!
 Что тутъ думать? Я твоя—ты мой!
 Все забудь, все брось, мнѣ весь отдайся!..
 На меня такъ грустно не гляди!
 Разгадать, что въ сердцѣ,—не пытайся!
 Весь ему отдайся—и иди!
 Я любви не числю и не мѣрю;—
 Нѣтъ, любовь есть вся моя душа!
 Я люблю—смѣюсь, клянусь и вѣрю..
 Ахъ, какъ жизнь, мой милый, хороша!..

Вѣрь въ любви, что счастьемъ не умчаться;
 Вѣрь, какъ я, о гордый человѣкъ!—
 Что намъ ввѣкъ съ тобой не разставаться
 И не кончить поцѣлуя ввѣкъ...

Г А З Е Т А.

Сидя въ тѣни виноградника, жадно порою читаю
 Вѣсти съ далекаго Сѣвера—поприща жизни разумной...
 Шумно за Альпами движутся въ страшной борьбѣ поколѣнья:
 Ломятся съ трескомъ подмостки старинной громады, и смѣло
 Мысль обрываетъ кулисы съ плачевнаго зрѣлища правды.
 Здѣсь-же все тихо: до сѣни спокойно-великаго Рима
 Громы борьбы ихъ лишь эхомъ глухимъ изъ-за Альпъ долетаютъ.
 Точно изъ вѣрной обители смотришь, какъ молніи стрѣлы
 Тучи чертятъ, вѣковые лѣса зажигаютъ;
 Крестъ золотой съ колокольни ударомъ сорвуть, и разгонятъ
 Въ страхъ людей, какъ пугливое стадо овецъ изумленныхъ...
 Такъ-бы хотѣлось туда: тоже смѣло-бы, кажется, бросилъ
 Огненный стихъ съ сокрушительнымъ словомъ!.. Поникнешь въ
 раздумьѣ

Вдругъ головой; выпадаетъ изъ рукъ роковая газета...
 Но, какъ припомнишь подробности въ цѣломъ торжественной драмы,
 Жалкихъ Ахилловъ журнальнаго міра и мелкихъ Улиссовъ;
 Вспомнишь корысть, какъ двигатель—впрочемъ великаго дѣла—
 Точно какъ сонъ отряхнувъ, поглядишь на тебя, моя Нина,
 Какъ ты, ревнуя меня не къ газетѣ, а къ Нанинѣ соседкѣ,
 Сядешь напротивъ меня, сохраняя серьезную мину,
 Губки надувъ, и нарочно не смотришь мнѣ въ очи... Мгновенно
 Все позабудешь, и грязь, и величье общественной драмы;
 Бросишься мигомъ тебя цѣловать. Ты противишься, съ сердцемъ,
 Чуть не сквозь слезъ, уклоняя уста отъ моихъ поцѣлуевъ, и послѣ
 Легкой борьбы добровольно уступишь, и долгимъ лобзаньемъ
 Я заглушаю въ устахъ у тебя и укоры, и брань.

* * *

Ахъ, чудное небо, ей Богу, надъ этимъ классическимъ Римомъ!
 Подъ такимъ небомъ невольно художникомъ станешь.
 Природа и люди здѣсь будто другіе,—какъ будто картины
 Изъ яркихъ стиховъ антологіи древней Эллады.
 Ну вотъ, поглядите: по каменной бѣлой оградѣ разросся
 Блуждающій плющъ, какъ развѣшенный плащъ иль завѣса;
 Въ срединѣ, межъ двухъ кипарисовъ, глубокая темная ниша.
 Откуда глядитъ голова съ преуродливой миной
 Тритона. Холодная влага изъ пасти, звеня, упадаетъ.
 Къ фонтану альбанка (ахъ, что за глаза изъ подъ тѣни
 Покрова сіяютъ у ней! что за станъ въ этомъ аломъ корсетѣ!).
 Подставивъ кувшинъ, ожидаетъ, какъ скоро водою
 Наполнится онъ, а другая подруга стоитъ неподвижно,
 Рукой охвативъ осторожно кувшинъ на облитой
 Вечернимъ лучомъ головѣ... Художникъ (должно быть германецъ)
 Спѣшитъ срисовать ихъ, довольный, что случай неожиданно
 Въ ихъ позахъ сюжетъ ему далъ для картины, и вовсе не мысля,
 Что я срисовалъ въ то же время и чудное небо.
 И плющъ темнолистый, фонтанъ и свирѣпую рожу тритона,
 Альбанокъ и даже—его самого съ его кистью!

ДРЕВНІЙ РИМЪ.

Я видѣлъ древній Римъ: въ развалинѣ печальной
 И храмы, и дворцы, поросшіе травой,
 И плиты гладкія старинной мостовой,
 И колесницъ слѣды подъ аркой триумфальной,
 И въ лунномъ сумракѣ, съ гирляндой аркадъ,
 Полуразбитыя громады Колизея...
 Здѣсь, посреди сихъ стѣнъ, гдѣ плющъ растетъ, чернѣя,
 На прахѣ Форума, гдѣ у телѣгъ стоятъ,
 Привязанные вокругъ коринѣской капители,
 Рогатые волю,—въ смущеніи я читалъ
 Всю лѣтопись твою, о Римъ, отъ колыбели,—
 И духъ мой въ сладостномъ восторгѣ трепеталъ.
 Какъ пастырь посреди пустыни одинокой

Находить на скалѣ гиганта слѣдъ глубокой,
 Въ благоговѣннѣ глядитъ, и, полнъ тревогъ,
 Онъ мыслить: здѣсь прошелъ не человекъ, а богъ,—
 Сыны печальные безцвѣтныхъ поколѣннѣ
 Мы, сердцемъ мертвые—мы, нищѣ душой,
 Считаеиъ баснею мы вѣкъ громадный твой,
 И школьныхъ риторовъ созданіемъ твой геній!..
 Иные люди здѣсь, намъ кажется, прошли
 И врѣзали свой слѣдъ нетлѣнный на земли—
 Великіе въ бѣдахъ, и въ битвѣ, и въ сенатѣ,
 Великіе въ добрѣ, великіе въ развратѣ!
 Ты палъ, но палъ, какъ жилъ.. Въ паденіи своемъ,
 Ты тотъ же, какъ тогда, когда храня свободу,
 Подъ знаменемъ ея ты бросилъ кровь и домъ,—
 И кланялся сенатъ строптивому народу...

.
 Такимъ-же кончилъ ты... Пускай со всей вселенной
 Пороковъ и злодѣйствъ неслыханныхъ семья
 За колесницею твоею позлащенной
 Вползла въ твой вѣчный градъ, какъ хитрая змѣя;
 Пусть голосъ доблести уже толпы не движеть;
 Пускай Лицинія она цѣлуетъ прахъ,
 Пускай Лициній самъ слѣды смиренно лижетъ
 Сандалій Клавдія, бьетъ въ грудь себя, въ слезахъ
 Предъ статуей его пусть падаетъ въ молитвѣ,—
 Да полный урожай полямъ онъ ниспошлетъ,
 И къ пристани суда безвредно приведетъ:
 Ты духу мощному, испытанному въ битвѣ,
 Искалъ забвенія... достойнаго тебя.
 Нѣтъ, древней гордости въ душѣ не истребя,
 Старикъ своихъ сыновъ училъ за чашей яду:
 «Покуда молоды—плюща и винограду!
 Дооблачныхъ палатъ; танцовщицъ и пѣвицъ!
 И бѣшеныхъ коней, и быстрыхъ колесницъ,
 Позорищъ ужаса, и крови, и мученій!
 Взирая на скелетъ, поставленный на пиръ,
 Въ конецъ исчерпай все, что можетъ дать намъ міръ!
 И, выпивъ весь фіалъ блаженствъ и наслажденій,
 Чтобъ жизненный свой путь достойно увѣнчать,
 Въ борьбѣ со смертію испробуй духа силы,—

И, вокругъ созвавъ друзей, себѣ открывши жилы,
Учи вселенную, какъ должно умирать!»

Р О З Ы.

Вся въ розахъ—на груди, на легкомъ платьѣ бѣломъ,
На черныхъ волосахъ, обвитыхъ жемчугами,—
Она покоилась, назадъ движеніемъ смѣлымъ
Откинувъ голову съ открытыми устами.
Сіяло чудное лицо живымъ румянцемъ...
Остановился балъ, и музыка молчала,
И—соблазнительнымъ ошеломленный танцемъ—
Я, на другомъ концѣ блистательнаго зала,
Съ красавицею вдругъ очами повстрѣчался...
И—какъ и отчего, не знаю!—мнѣ въ мгновенье
Сорренто голубой заливъ нарисовался,
Пестумскій красный храмъ въ туманномъ отдаленіи,
И вилла, садъ и пиръ временъ гораціанскихъ...
И по заливу вдругъ, на золотой галерѣ,
Плыветъ среди толпы невольницъ африканскихъ,
Вся въ розахъ—Лидія, подобная Венерѣ...
И что-жъ?—обманутый блистательной мечтою,
Почти съ признаніемъ очнулся я отъ грезы
У ногъ красавицы... Ахъ, вы всему виною.
О розы Пестума, классическія розы!..

БОЛОТО.

Я цѣлый часъ болотомъ занялся...
Тамъ бѣлоусъ торчитъ, какъ щетка, жесткій;
Тамъ точно прудъ зеленый разлился;
Лягушка, взгромоздясь, какъ на подмостки,
На старый пенъ, торчащій изъ воды,
На солнцѣ нѣжится и дремлетъ... Бѣлымъ
Пушкомъ одѣты тощія цвѣты;
Надъ ними мошки вьются роемъ цѣлымъ:
Лишь незабудокъ сочныхъ бирюза
Кругомъ глядитъ умильно мнѣ въ глаза,

Да оживляютъ бѣдный міръ болотный
 Порханье бѣлой бабочки залетной
 И хлопоты стрекозокъ голубыхъ
 Вокругъ трѣстинокъ тощихъ и сухихъ.
 Ахъ!.. прелесть есть и въ этомъ запустѣньи!..
 А были дни—мое воображеніе
 Плѣнялъ лишь видъ подобныхъ тучамъ горъ,
 Небесъ глубокихъ праздничный просторъ,
 Монастыри, да бѣлыхъ виллъ ограда
 Подъ зеленюю плюща и винограда;
 Или луны торжественный восходъ
 Между колоннъ руины молчаливой,
 Надъ серебромъ съ горы падающихъ водъ...
 Мнѣ въ чудные гармоній переливы
 Слагался ревъ катящихся зыбей;—
 Въ какой-то міръ вводилъ онъ безграничный,
 Гдѣ я робѣлъ душою непривычной,
 И радостно присутствіе людей
 Вдругъ ощущалъ, сквозь этотъ гулъ упорный,
 По погремущкамъ вьючныхъ лошадей,
 Тропинкою спускающихся горной...
 И вотъ—теперь такую же мечтой
 Душа полна, какъ и въ былые годы,
 И также здѣсь заманчиво со мной
 Бесѣдуетъ таинственность природы.

ИЗЪ «АЛЬБОМА АНТИНОЯ».

1.

Ты не въ первый разъ живешь,
 Носишь образъ человѣка;
 Вновь родишься, вновь умрешь,
 Просвѣтляясь вѣкъ отъ вѣка.

Наконецъ достигнешъ ты
 Черезъ эти переходы
 До предѣла красоты
 Человѣческой природы;

Здѣсь ужъ зрѣлый плодъ—тогда
Высоко взойдешь надъ нами
Вдругъ, какъ новая звѣзда
Между звѣздъ, въ ряду съ богами.

2.

Смотри, смотри на небеса,—
Какая тайна въ нихъ святая
Проходить, молча, и сіяя
И лишь настолько раскрывая
Свои ночныя чудеса,
Чтобы нашъ духъ рвался изъ плѣна;
Чтобы въ сердце врѣзывалось намъ,
Что здѣсь лишь зло, обманъ, измѣна,
Добыча смерти, праха, тлѣна,
Блаженство-жъ вѣчное—лишь тамъ.

ИЗЪ «АПОЛЛОДОРА ГНОСТИКА».

I.

Выше, выше въ поднебесной
Возлетай, о мой орелъ,
Чтобы міръ земной и тѣсный
Весь изъ глазъ твоихъ ушелъ!
Возносятся въ тѣ селенья,
Гдѣ, какъ спящія мечты,
Первообразы творенья
Въ красотѣ ихъ чистоты.—
Въ свѣтлый міръ, гдѣ пребыванье
Душъ, какъ создалъ ихъ Господь,
Душъ, не вѣдавшихъ изгнанья
Въ человѣческую плоть!..

II.

Вѣрю я въ Разумъ и Благость Великаго Духа; зову Его—Богомъ;
Въ сонмъ неисчетныхъ духовъ, вызванныхъ Имъ въ бытіе.
Міръ сотворенъ, чтобы имъ, воплощеннымъ, въ пути къ совершенству,
Въ срочной борьбѣ съ естествомъ, вящую силу пріять.

III.

Близится Вѣчная Ночь... въ страхѣ дрогнуло сердце.

Пристальный сталъ я глядѣть въ тотъ ужасающій мракъ...

Вдругъ въ немъ звѣзда проглянула, за нею другая, и третья,

И наконецъ засіялъ звѣздами весь небосклонъ.

Новая въ каждой изъ нихъ мнѣ краса открывалась всечасно,

Глубже мнѣ въ душу онѣ, глубже я въ нихъ проникалъ...

Въ каждой сказалося слово свое, и на каждое слово,

Съ радостью чувствовалъ я,—откликъ въ душѣ моей есть.

Всѣ говорили, что гдѣ-то за нами есть Вѣчное Солнце,—

Солнце, котораго свѣтъ блескъ и красу имъ даетъ...

О, какъ ты блѣдно предъ Нимъ,—юныхъ дней моихъ солнце!

Какъ онъ ничтоженъ и пусть—гимнъ, что мы пѣли тебѣ!

А. Н. АПУХТИНЪ.

Въ плеядѣ русскихъ поэтовъ одна изъ крайнихъ, близкихъ къ намъ по времени звѣздъ—Апухтинъ—занимаетъ совершенно особое мѣсто. Господствующая черта творчества этого поэта такова, что нерѣдко вызывала и вызываетъ рѣзкое и даже прямо отрицательное отношеніе со стороны многихъ, далеко не равнодушныхъ къ поэзії, цѣнителей. Черта эта—глубокій индифферентизмъ талантливаго поэта, полное отсутствіе окраски не только въ смыслѣ партійныхъ убѣжденій (что не играло-бы особой роли въ дѣлѣ поэтического творчества), но и въ отношеніи коренныхъ, религіозно-философскихъ воззрѣній. Говоря объ Апухтинѣ, какъ философѣ, легко отдѣлаться условно-вѣрнымъ замѣчаніемъ, что у него не было никакой философіи. Для человѣка, подходящаго къ художественнымъ созданіямъ съ опредѣленными требованіями того или иного порядка, естественно разочарованіе и недовольство въ случаѣ неудовлетворенія этихъ требованій. Но для наблюдателя поэтического творчества *quand même* не должно существовать предвзятыхъ ограниченій и профессиональных антипатій. Какъ-бы то ни было, безцвѣтная, безрадостная поэзія Апухтина существуетъ въ русской литературѣ наряду съ наиболѣе яркими проявленіями иныхъ настроеній и требуетъ нашего вниманія не менѣе всякой другой. Ея индифферентизмъ, ея отсутствіе положительнаго символа вѣры есть, конечно, лишь своя форма міропониманія, догматика самостоятельной секты. Какъ всякій истинный поэтъ, Апухтинъ представляетъ неповторимое (независимо отъ его величины) явленіе, своего рода *unicum*.

Что касается объясненія этого явленія, то его напрасно было бы искать въ чемъ-либо иномъ, нежели объясненіе всякой другой поэтической индивидуальности. Соблазнительное на первый взглядъ истолкованіе духовнаго безсилія Апухтина отчужденностью отъ своего времени, затерянностью и одиночествомъ поэта среди бур-

наго разлива матеріалистическихъ и реформаціонныхъ увлеченій 60-хъ и 70-хъ годовъ,—въ концѣ концовъ не можетъ быть принято. Правда, между этимъ тонкимъ эстетикомъ, горячимъ поклонникомъ Пушкина, и эпохою, характеризовавшейся, между прочимъ, равнодушіемъ и враждой къ предмету постоянного почитанія Апухтина, было слишкомъ мало общаго. Правда, и Апухтину, вмѣстѣ со старшими товарищами, пришлось укрываться отъ свиста и бури утилитарнаго отрицанія и дѣятельность его прекращалась для публики почти на 20 лѣтъ. Но во всемъ этомъ не было личной его бѣды—таково было общее положеніе дѣлъ. И, тѣмъ не менѣе, рядомъ съ безнадежностью Апухтина, глаза другихъ смѣло смотрѣли на жизнь: одновременно съ монотонными сумерками апухтинской осени, цвѣло для Полонскаго его знойное лѣто, для Фета сіяла его роскошная весна. Въ самой глубинѣ шестидесятыхъ годовъ Тютчевъ дописывалъ свои безсмертныя пѣсни... А, немного спустя, на исходѣ «литературнаго нигилизма», появился поэтъ съ новымъ, мрачнымъ и суровымъ, но сильнымъ словомъ—съ поэзіей смерти. Очевидно, своеобразная личность Апухтина находитъ объясненіе лишь въ самой себѣ. Какъ справедливо замѣтилъ однажды г. Влад. Соловьевъ (въ статьѣ о гр. Голенищевѣ-Кутузовѣ): «у настоящаго поэта окончательный характеръ и смыслъ его произведеній зависятъ не отъ личныхъ случайностей и не отъ его собственныхъ желаній, а отъ общаго, невольнаго воздѣйствія на него объективной реальности, *съ той ея стороны, къ которой онъ по натурѣ своей особенно воспримчивъ*». Быть можетъ, эпоха способствовала развитію въ Апухтинѣ органическихъ свойствъ его натуры, но, строго говоря, такой поэтъ, какъ Апухтинъ, возможенъ во всякую эпоху.

Человѣкъ является въ стихахъ Апухтина не какъ членъ общества, не какъ представитель человѣчества, а исключительно какъ отдѣльная единица, стихійною силою вызванная къ жизни, недоумѣвающая и трепещущая среди массы нахлынувшихъ волненій, почти всегда страдающая и гибнущая такъ-же безпричинно и безцѣльно, какъ и явилась:

Съ воплемъ безсилія, съ крикомъ печали,
Жалокъ и слабъ онъ явился на свѣтъ.
Въ это мгновеніе ему не сказали:
Выборъ свободенъ—живи или нѣтъ.
Съ дѣтства твердили ему ежечасно:
Сколько-бъ ни встрѣтилъ ты горя, потерь,
Помни, что въ мірѣ все мудро, прекрасно,
Люди всѣ братья—люби ихъ и вѣрь!

Въ юную душу съ мечтою и думой
 Страсти нахлынули мутной волной...
 „Надо бороться“, сказали угрюмо
 Тѣ, что царили надъ юной душой.
 Были усилья тревожны и жгучи,
 Но не по силамъ пришлось борьба:
 Кто такъ устроилъ, что страсти могучи,
 Кто такъ устроилъ, что воля слаба?
 Много любилъ онъ, любовь измѣняла;
 Дружба... увь! измѣнила и та:
 Зависть къ ней тихо подкралась сначала,
 Съ завистью вмѣстѣ пришла клевета.
 Скрылись друзья, отвернулись братья...
 Господи, Господи, видѣлъ Ты Самъ,
 Какъ шевельнулись впервыя проклятыя
 Счастьемъ былому, вчерашнимъ мечтамъ!
 Какъ постенно, въ тоскѣ изнывая,
 Видя однѣ лишь неправды земли,
 Ожесточалась душа молодая,
 Какъ одинокія слезы текли;
 Какъ наконецъ, утомясь борьбою,
 Возненавидя себя и людей,
 Онъ усомнился скорбящей душою
 Въ мудрости міра и въ правдѣ Твоей!
 Скучной толпой проносилися гды,
 Бури стихали, яснѣлъ его путь...
 Изрѣдка только, какъ гуль непогоды,
 Память стучала въ разбитую грудь.
 Только-что тихіе дни засіяли,
 Смерть на порогѣ... откуда? зачѣмъ?
 Съ воплемъ безсилія, съ крикомъ печали,
 Онъ повалился, недвижимъ и нѣмъ.
 Вотъ онъ, смотрите, лежитъ безъ дыханья...
 Боже! къ чему онъ родился и росъ?
 Эти сомнѣнія, измѣны, страданья,—
 Боже, зачѣмъ-же онъ ихъ перенесъ?

Вотъ программа жизни по Апухтину—безнадежно-пессимистическое міросозерцаніе пришельца, не нашедшаго себѣ мѣста въ жизненной работѣ. Не разъ было высказано мнѣніе, будто по внѣшнимъ и внутреннимъ свойствамъ своей лирики, Апухтинъ близко подходитъ къ Алексѣю Толстому, являясь какъ-бы его ученикомъ. Это мнѣніе составилось, очевидно, на основаніи чисто внѣшняго сравненія обоихъ поэтовъ, безъ всякаго сопоставленія ихъ глубоко различныхъ духовныхъ обликовъ. Поэзія Алексѣя Толстого, какъ и большинства нашихъ поэтовъ, полна предчувствія иного, не-

здѣшняго міра,—это поэтъ, «заоблачная отчизна» котораго «въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ»,—земная любовь котораго только одно изъ проявленій вѣчной, всемірной любви, «что не вмѣстятъ земные берега». Этотъ мотивъ былъ совершенно чуждъ лирикѣ Апухтина. Тѣнь вѣчности никогда не ложилась на его поэзію. Въ своемъ безсиліи и одиночествѣ поэтъ могъ мечтать только о «вѣчной ночи» (стихотвореніе «Мухи»), а не о вѣчномъ свѣтѣ «страны лучей». Его мысль никогда не поднималась надъ земной атмосферой, и его любовь была тоже только земнымъ чувствомъ—затеряннымъ лучомъ, забывшимъ объ общемъ источникѣ свѣта. Мотива вѣчности любви, столь любимого Фетомъ, мы не найдемъ нигдѣ въ стихахъ Апухтина, также какъ не найдемъ нигдѣ язвительныхъ сомнѣній Лермонтова. Рисуя невольную и безцѣльную комедію человѣческой жизни (стих. «Актеры»), онъ обходитъ всѣ «проклятые вопросы» этими скептическими строками:

Далеко авторъ гдѣ-то тамъ...
Ему до насъ какое дѣло?..

Когда-то, на зарѣ молодости, и Апухтину, повидимому, были знакомы горячіе порывы и безбрежныя надежды. Но на его поэзіи эта пора оставила лишь слѣдъ воспоминанія, и во всѣхъ его обращеніяхъ къ «Молодости» и къ отлетѣвшему «Маю» звучитъ лишь нота безнадежной тоски. Впрочемъ, май этотъ отцвѣлъ, повидимому, ненормально рано—по крайней мѣрѣ уже семнадцатилѣтній Апухтинъ пишетъ, въ явное подражаніе Байрону, длинное стихотвореніе «Сегодня мнѣ исполнилось 17 лѣтъ», которое по своему элегическому, чисто-апухтинскому тону развѣ немного уступаетъ его прототипу—байроновскому «Сегодня мнѣ исполнилось 36 лѣтъ».

Усталая, настроенная на минорный тонъ, душа поэта и во внѣшнемъ мірѣ искала только призраковъ прошлаго, символовъ угасающей жизни и разрушенія. Рядъ красивыхъ строфъ Апухтина посвященъ Венеціи—развѣнчанной царицѣ Адриатическаго моря. Городъ прошлаго, горедь, для котораго настала его осень, возбуждалъ сочувствіе музы осеннихъ пѣсенъ. И любимыми цвѣтами Апухтина были также осеннія астры—«поздніе гости отцвѣтшаго лѣта». Какъ жизнерадостному Фету шла яркая, роскошная роза, какъ нѣжно-задумчивому Гейне идетъ грустная, блѣдная лилія,—такъ астры точно составляютъ эмблему унылой, осенней поэзіи Апухтина. И характерно, что его обращенія къ этимъ цвѣтамъ являются почти единственными образчиками стихотвореній, гдѣ вдохновляющимъ мотивомъ

вомъ послужила природа. Обыкновенно въ стихахъ Апухтина она играетъ лишь роль аксессуара, является какъ-бы фономъ, на которомъ разворачивается картина все той-же личной жизни поэта (напр. въ [поэмѣ «Годъ въ монастырѣ»]). Замкнутый въ себѣ, чуждый страстнаго волненія философской и религіозной мысли, Апухтинъ былъ чуждъ и пантеистическаго спокойствія, таинственнаго сліянія человѣческаго духа съ природой. Иначе и не могло быть: сердце, чуткое къ вѣянію вѣчности, не можетъ оставаться равнодушнымъ къ природѣ и, наоборотъ, голосъ природы яснѣ всего говоритъ намъ о вѣчности. Но Апухтинъ не задавалъ звѣздамъ гейневскихъ вопросовъ и ихъ «книга» оставалась закрытой для него. Природѣ нечего было сказать ему.

Неизлечимый скептицизмъ томилъ и угнеталъ самого поэта и не разъ въ немъ подымалась горячая, хотя напрасная жажда возрожденія. Среди чужого праздника вѣры, подъ звонъ пасхальныхъ колоколовъ, онъ задумывается надъ своимъ духовнымъ одиночествомъ:

Торжественный гулъ не смолкаетъ въ Кремлѣ,
Кадила дымятся, проносится стройное пѣнье...
Какъ-будто на мертвой землѣ
Свершается вновь Воскресенье!
Народныя волны ликуютъ, куда-то спѣша...
Зачѣмъ въ этотъ часъ меня горькая мысль одолѣла?
Подъ гнетомъ усталого, слабаго тѣла
Тебѣ не воскреснуть, разбитая жизнью душа!
Напрасно рвалась ты къ свѣту и жаждала воли;
Конецъ недалекъ: ты, какъ прежде, во тьмѣ и пыли;
Житейскія дразги тебя искололи,
Тяжелыя думы тебя извели,
И вотъ, утомясь, изстрадавшись безъ мѣры,
Позорно сдалась ты гнетущей судьбѣ...
И нѣтъ въ тебѣ теплаго мѣста для веры,
И нѣтъ для безвѣрія силы въ тебѣ!

Вотъ разгадка духовнаго состоянія Апухтина: его угнетало не только отсутствіе вѣры, но и отсутствіе безвѣрія, т.-е. того или иного опредѣленнаго міросозерцанія. Безвѣріе, подобно вѣрѣ, требуетъ извѣстной душевной силы; это хотя отрицательный, но также «строй» мысли—въ сущности, это та-же вѣра, но только съ отрицательнымъ знакомъ. Внутренній-же недугъ Апухтина носить другое имя: это—унылое, безразличное состояніе духа, подрѣзывающее его крылья, пригнетающее человѣка къ землѣ.

Въ этой «оброшенности» — говоря выраженіемъ Салтыкова — Апухтинъ, естественно, долженъ былъ уйти съ головой въ міръ личныхъ ощущеній и тревогъ, ихъ повышенной интенсивностью выкупая недостатокъ другихъ впечатлѣній, причемъ преимущественное вниманіе поэта было посвящено, конечно, «страсти нѣжной». Правда, по временамъ поэтъ искалъ и находилъ и другія средства «забвенія». Всѣмъ извѣстенъ его «цыганскій романсъ» — «Ночи безумныя, ночи бессонныя...»; довольно популярна также его «Chanson à boire», которую читатель найдетъ въ этомъ сборникѣ. Но это были именно минутныя средства — суррогатъ восточнаго гашиша, и въ концѣ концовъ все-же только любви могъ отдать Апухтинъ всю теплоту, всю силу своей изолированной, полной ненужными богатствами внутренней жизни.

Дума о «ней» никогда не покидаетъ поэта — «день-ли царить, тишина-ли ночная», и онъ самъ признается:

Вѣра, мечты, вдохновенное слово,
Все, что въ душѣ дорогого, святого,—
Все отъ тебя!

И тѣмъ не менѣе, любовь Апухтина — странная любовь, безрадостное и унылое осеннее чувство, которое не врывается яркимъ диссонансомъ въ общій сѣрый колоритъ его жизни, а какъ блѣдный свѣтъ сумерекъ только еще сильнѣе подчеркиваетъ его:

Я все забыть, дышу лишь ею,
Всю жизнь я отдалъ ей во власть,—

говоритъ поэтъ и тутъ-же прибавляетъ, самъ не зная, какъ отнестись къ своей любви:

Благословить ее не смѣю
И не могу ее проклясть.

И дѣйствительно, если Апухтину трудно было «проклясть» послѣднее, что оставилъ ему его безпощадный скептицизмъ, то съ другой стороны не менѣе трудно было ему «благословить» чувство, приносившее съ собой больше горя, чѣмъ радости. Счастье любви является у Апухтина, подобно счастью юности, только въ мечтахъ и воспоминаніяхъ. Его любовь — любовь несчастная по преимуществу, и, какъ ея поэтъ, Апухтинъ мало имѣетъ себѣ равныхъ, несмотря на обиліе и силу соперниковъ. Даже въ большихъ его вещахъ, нерѣдко съ «объективными» сюжетами, какъ «Съ курьерскимъ поѣздомъ», «Письмо», «Королева», «Ледяная дѣва», не го-

воря уже о такихъ, какъ «Годъ въ монастырѣ», «Изъ бумагъ прокурора» или «Гаданіе», — основнымъ мотивомъ является все то же несчастье любви. Въ лучшихъ стихотвореніяхъ Апухтина на эту тему поражаетъ удивительная искренность, непосредственность чувства. Тутъ нѣтъ ни малѣйшей манерности, нѣтъ того кокетничанья своими страданіями, которому нерѣдко поддавались даже очень искренніе и сильные поэты. Читая Апухтина, вы чувствуете, что передъ вами, дѣйствительно, интимная исповѣдь влекомучника любви. Поэтъ сумѣлъ сохранить здѣсь всю свѣжесть и простодушіе диллетанта, какимъ онъ самъ считалъ себя, со всѣмъ искусствомъ и изяществомъ настоящаго мастера, которымъ онъ безспорно былъ. Сколько, напримѣръ, глубокаго, неподдѣльнаго чувства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, внѣшней красоты и свободы въ этомъ стихотвореніи («На балѣ»):

Блещутъ огнями палаты просторныя,
Музыки грохотъ не молкнетъ въ ушахъ,
Новаго года ждутъ взгляды притворные,
Новое счастье у всѣхъ на устахъ.
Душу мнѣ давить тоска нестерпимая,
Хочется дальше отъ этихъ людей..
Мной не забытая, вѣчно любимая,
Что-то теперь на могилѣ твоей?
Спать-ли спокойно въ глубокомъ молчаніи,
Прежнюю радость и горе тая,
Словно застывшія въ лунномъ сіяніи,
Желтая церковь и насыпь твоя?
Или туманъ непривѣтливый стелется.
Или, гонима незримымъ врагомъ,
Съ дикими воплями злая мятелица
Плачетъ, и скачетъ, и воетъ кругомъ,
И покрываетъ сугробами снѣжными
Все, что отъ насъ невозвратно ушло:
Очи со взглядами кроткими, нѣжными,
Сердце, что прежде такъ билось тепло!

И какъ безотрадно-мраченъ взглядъ поэта на судьбу своего чувства! «Она» умерла и, вмѣстѣ съ ея могилой, «злая мятелица» какъ будто засыпаетъ холоднымъ снѣгомъ и самую любовь поэта. Это не спокойный въ самой печали, неизмѣнно увѣренный въ будущей радости Фетъ:

У любви есть слова—тѣ слова не умрутъ,
Насъ съ тобой ожидаетъ особенный судъ—
Онъ сумѣетъ насъ сразу въ толпѣ различить,
И мы вмѣстѣ придемъ—насъ нельзя разлучить!

Это не Алексѣй Толстой, прямо говорившій:

Сліясь въ одну любовь, мы цѣпи безконечной
 Единое звено,
 И выше восходить, въ сіянье правды вѣчной,
 Намъ врозь не суждено.

Это даже не Полонскій, спрашивающій въ скорбномъ недоумѣніи:

И не знаю я,
 Чѣмъ развяжется
 Эта жизнь моя?
 Гдѣ доскажется
 Мнѣ любовь твоя?

Апухтинъ можетъ только плакать надъ дорогой могилой, и въ его душѣ даже здѣсь нѣтъ «теплаго мѣста для вѣры». Пусть другихъ поэтовъ съ прошлою жизнью сердца связываетъ очарованіе воспоминаній, призракъ былого счастья, мечта о будущемъ, вѣра въ безсмертіе ихъ чувства, — для печальной, нераздѣленной любви Апухтина такою связью — какъ говорить ему сама его «вѣрная подруга» — могутъ быть только его страданія (стих. «Старая любовь»). И не столько самого поэта съ образомъ его возлюбленной соединяють они, сколько его одинокое сердце съ его мечтой.

Самое полное и лучшее свое выраженіе любовь Апухтина нашла въ превосходной его поэмѣ «Годъ въ монастырѣ». Исторія героя этой поэмы — «неудавшагося монаха», бѣжавшаго отъ мученій разбитой страсти въ монастырь, гдѣ онъ напрасно мечтаетъ обрѣсти покой и исцѣленіе въ чужой его сердцу вѣрѣ, — по внутреннему своему смыслу есть, очевидно, исторія самого поэта. Вѣдь самъ Апухтинъ былъ такимъ-же «неудавшимся монахомъ» какой-угодно религіи: такъ-же напрасно жаждалъ онъ вѣры, такъ-же блуждалъ въ туманѣ невѣрія и такъ-же находилъ цѣль и смыслъ своей жизни только въ одной любви, хотя-бы и осенней.

П. Перцовъ.

* * *

Истомилъ меня жизни безрадостный сонъ,
Ненавистна мнѣ память былого,—
Я въ прошедшемъ моемъ, какъ въ тюрьмѣ, заключенъ
Подъ надзоромъ тюремщика злаго.

Захочу-ли уйти, захочу-ли шагнуть,—
Роковая стѣна не пускаетъ;
Лишь оковы звучать, да сжимается грудь,
Да безсонная совѣсть терзаетъ.

Но подъ взглядомъ твоимъ распадается цѣпь,
И я весь освѣщаюсь тобою,
Какъ цвѣтами неожиданно одѣтая степь,
Какъ туманъ, серебримый луною...

М А Ю.

Бывало съ дѣтскими мечтами,
Являлся ты какъ ангелъ дня,
Блистая бѣлыми крылами,
Весеннимъ голосомъ звеня;
Твой взоръ горѣлъ огнемъ надежды,
Ты волновалъ мечтами кровь
И сыпалъ съ радужной одежды
Цвѣты, и рифмы, и любовь.

Прошли года. Ты вновь со мною,
Но грустно юное чело,

Глаза подернулись тоскою,
 Одежду пылью занесло.
 Ты смотришь холодно и строго,
 Веселый голос твой затихъ,
 И бѣлыхъ перьевъ много, много
 Изъ крыльевъ выпало твоихъ.

Минуютъ дни, пройдутъ недѣли,—
 Въ изнеможеніи тупомъ,
 Забытый всѣми на постели
 Я буду спать глубокимъ сномъ.
 Слетѣвъ подъ брошеную крышу,
 Ты скажешь мнѣ: «проснися, братъ!»
 Но словъ твоихъ я не услышу,
 Могильнымъ холодомъ объять.

CHANSON A BOIRE.

Если измѣна тебя поразила,
 Если тоскуешь ты, плача, любя,
 Если въ борьбѣ истощается сила,
 Если обида терзаетъ тебя,—
 Сердце-ли рвется,
 Ноетъ-ли грудь,
 Пей, пока пьется,
 Все позабуди!

Выпьешь, заискрится сила во взорѣ,
 Бури, нужда и борьба нипочемъ...
 Старыя раны, вчерашнее горе,—
 Все обойдется, залъется виномъ.
 Жизнь пронесется
 Лучше, скорѣй...
 Пей, пока пьется,
 Силъ не жалѣй!

Если-жъ любимъ ты и счастливъ мечтою,—
 Годы безпечности мигомъ пройдутъ,
 Въ темной могилѣ, подъ рыхлой землею,
 Мысли, и чувства, и ласки замрутъ.

Жизнь пронесется
Счастья быстрѣй...
Пей, пока пьется,
Пей веселѣй!

Что намъ всѣ радости, что наслажденья?—
Долго на свѣтѣ имъ жить не дано!
Дай намъ забвенья, о, только забвенья,
Легкой дремой отумань насъ, вино!
Сердце-ль смѣется,
Ноетъ-ли грудь,—
Пей, пока пьется,
Все позабуди!

* *
* *

Мнѣ не жаль, что тобою я не былъ любимъ—
Я любви недостойнъ твоей!
Мнѣ не жаль, что теперь я разлукой томимъ—
Я въ разлукѣ люблю горячѣй;
Мнѣ не жаль, что и налилъ, и выпилъ я самъ
Униженія чашу до дна,
Что къ проклятыямъ моимъ, и къ слезамъ, и къ мольбамъ
Оставалася ты холодна;
Мнѣ не жаль, что огонь, закипѣвшій въ крови,
Мое сердце сжигалъ и томилъ,
Но мнѣ жаль, что когда-то я жилъ безъ любви,
Но мнѣ жаль, что я мало любилъ!

СТАРАЯ ЛЮБОВЬ.

О, не гони меня,—твердить она вздыхая,—
Не проклинай докучный мой приходъ,
Еще не разъ душа твоя больная
Меня, быть можетъ, призоветъ!
Я только тѣнь... зачѣмъ-же противъ тѣни
Старинную враждующую рать

Упрековъ, жалобъ и сомнѣній
 Съ невольной злобой вызывать?
 Я только тѣнь, я—призракъ безъ названья;
 Мой жертвенникъ упалъ, огонь на немъ погасъ,
 Но есть межъ нами связь: та связь—твой страданья!
 Они на вѣкъ соединили насъ.
 Ты можешь позабыть и ласки, и объята,
 И рѣчи нѣжныя, и тихій блескъ очей,
 Но не забудешь жгучія проклятья,
 Смуцавшія покой твоихъ ночей.
 И вѣрь мнѣ: чѣмъ сильнѣй росло твое волненье,
 Чѣмъ больше ты страдалъ, безъ пользы жизнь губя,
 Тѣмъ ближе чуялъ ты мое прикосновенье,
 Тѣмъ явственнѣй звучалъ мой голосъ для тебя.
 Благодарю тебя за все: за пылъ мечтаній,
 За счастье и обманъ, за солнце и грозу,
 За каждый вопль разбитыхъ упованій,
 За каждую пролитую слезу.
 И если, жизнью смятъ, въ томленіи недуга
 Меня ты призовешь, къ тебѣ явлюсь я вновь,
 Я лучшихъ дней твоихъ забытая подруга,—
 Я старая и вѣрная любовь.

ПАМЯТИ ПРОШЛАГО.

Не стучись ко мнѣ въ ночь безсонную,
 Не буди любовь схороненную,—
 Мнѣ твой образъ чуждъ и языкъ твой нѣмъ,
 Я въ гробу лежу, я затихъ совсѣмъ.
 Мысли ясныя мглой окутались,
 Нити жизни всѣ перепутались,
 И не знаю я, кто играетъ мной,
 Кто мнѣ вѣрный другъ, кто мнѣ врагъ лихой.
 Съ злой усмѣшкою, съ рѣчью горькою,
 Ты приснилась мнѣ передъ зорькою...
 Не смотри ты такъ—подожди хоть дня,
 Я въ гробу лежу, обмани меня..
 Вѣдь умершимъ лгутъ, вѣдь удѣлъ живыхъ
 Рядъ измѣнъ, обидъ, оскорбленій злыхъ...

А едва умремъ,—на прощаніе
Намъ надгробное шлютъ рыданіе,
Возглашаютъ намъ память вѣчную,
Объщаютъ жизнь... безконечную!

М У Х И.

Мухи, какъ черныя мысли, весь день не даютъ мнѣ покою:
Жалить, жужжать и кружатся надъ бѣдной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глазъ ужъ усѣлась другая,—
Некуда спрятаться, всюду царить ненавистная стая;
Валится книга изъ рукъ, разговоръ упадаетъ, блѣдѣя...
Эхъ, кабы вечеръ придвинулся! Эхъ, кабы ночь поскорѣе!

Черныя мысли, какъ мухи, всю ночь не даютъ мнѣ покою:
Жалить, являть и кружатся надъ бѣдной моей головою!
Только прогонишь одну, а ужъ въ сердце впиалась другая,—
Вся вспоминается жизнь, такъ бесплодно въ мечтахъ прожитая!
Хочешь забыть, разлюбить, а все любишь сильнѣй и больнѣе...
Эхъ! кабы ночь настоящая, вѣчная ночь поскорѣе!

* * *

Черная туча виситъ надъ полями,
Шепчутся клены, березы качаются,
Дубы столѣтніе машутъ вѣтвями,
Точно со мной говорить собираются.

«Что тебѣ нужно, пришлецъ безпріютный?—
Голосъ ихъ важный съ вершины мнѣ чудится—
Думаешь, отдыхъ вкусная минутный,
Такъ вотъ и прошлое все позабудется.

Нѣтъ, ты словами себя не обманешь:
Спѣта она, твоя пѣсенка скудная!
Новую пѣсню ужъ ты не затынешь,
Хоть и звучитъ она, близкая, чудная!

Сердце усталое, сердце больное
Звукомъ волшебныхъ напрасно искало-бы!
Здѣсь между нами ницѣ ты покоя,
Съ жизнью протисся безъ стоновъ и жалобы.

Смерти боишься ты? страхъ малодушный!
Все, что томило игрой бесполезною:
Мысли и чувства, и стихъ, имъ послушный,
Смерть остановить рукою желѣзною.

Все клеветавшее тайно, незримо,
Все угнетавшее съ дикою силою,—
Въ мигъ разлетится, какъ облако дыма,
Надъ неповинною, свѣжей могилою!

Если же кто-нибудь тишь гробовую
Вздохомъ нарушить, слезою участія,—
О, за слезу бы ты отдалъ такую
Всѣ свои призраки прошлаго счастья!

Тихо, прохладно лежать между нами,
Тѣнь наша шире и шорохъ привѣтнѣе...
Въ вечеръ ненастный, качая вѣтвями,
Такъ говорили мнѣ дубы столѣтнѣе.

Гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ.

Едва-ли творчество какого-либо другого русского поэта может быть съ такимъ успѣхомъ резюмировано въ краткой формулѣ, какъ поэзія гр. Голенищева-Кутузова. *Поэтъ смерти*—этими двумя словами невольно опредѣлить его каждый читатель, какъ и всѣ его критики. Въ одномъ стихотвореніи («Весенняя дума») гр. Кутузовъ рисуетъ картину зимы: надъ бѣлой пустыней уснувшей земли спокойно мерцаютъ вѣчныя звѣзды. Это какъ-бы символъ конечныхъ влеченій поэта—въ настроеніи этой картины сливаются всѣ его впечатлѣнія, къ его выраженію стремится весь ходъ развитія его музы. Краткое ея *singulum vitae* далъ намъ самъ поэтъ въ стихотвореніи «Три свиданія».

Въ дни ранней юности, когда, надежды полный,
Въ недоумѣннѣ счастливомъ и нѣмомъ,
Встрѣчалъ я первыхъ чувствъ нахлынувшія волны,—
Явилася ты мнѣ и молвила: пойдемъ!
И очутился я нежданно, неожиданно
На свѣтломъ праздникѣ весны благоуханной,
Въ волшебномъ царствѣ грезъ и сказочной любви.
Тамъ ночи знойныя про счастье мнѣ шептали,
Тамъ звѣзды, какъ глаза влюбленные, сверкали,
Тамъ сердце билось и пѣли соловьи.
Но я насытился весеннимъ наслажденьемъ,
Я сталъ просить борьбы, страданій и невзгодъ.
Ты вновь явилась мнѣ и властнымъ мановеньемъ
Позвала за собой и повела впередъ.
И жизнь въ свой вѣчный шумъ и мракъ меня пріяла,
И долго въ шумъ томъ, въ той тѣмѣ скитался я,
И долго я страдалъ... Душа страдать устала—
На помощь, наконецъ, я вновь призвалъ тебя.
Призвалъ тебя, чтобъ ты смирила сердца муку,
Чтобъ озарила тѣму спасительнымъ лучомъ...
И ты предстала мнѣ, и протянула руку,
И снова говоришь знакомое „пойдемъ!“

„Пойдемъ туда, гдѣ нѣтъ ни счастья, ни кручины;
Гдѣ умолкаетъ шумъ ненужной суеты,
Гдѣ льдами вѣчными покрытыя вершины
Глядятъ на міръ и жизнь съ безстрастной высоты!“

Хронологическую послѣдовательность этихъ «свиданій», конечно, не слѣдуетъ понимать слишкомъ строго. Но несомнѣнно все-же, что въ поэзіи гр. Голенищева-Кутузова ясно намѣчаются всѣ три періода и самая смѣна ихъ происходила весьма быстро до тѣхъ поръ, пока послѣднее настроеніе не выразилось вполне законченно въ poemъ «Разсвѣтъ», появившейся еще въ 1882 г., и въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ того-же времени.

Всего слабѣе обрисовался въ творествѣ нашего поэта второй періодъ—время скитанія въ «шумѣ и мракѣ» жизни: чаще поэтъ бросаетъ на него ретроспективные взгляды съ высоты достигнутого примиренія. За то отголоски перваго свиданія съ музой, первыхъ «радостей жизни» — любви и природы, гораздо многочисленнѣе и значительнѣе. Какъ истинный поэтъ, гр. Кутузовъ умѣетъ говорить намъ объ этихъ старыхъ темахъ новыми словами: въ его рисункѣ встрѣчаются тѣ рѣзкія, характерныя черты, которыя указываютъ на самобытную индивидуальность и, вмѣстѣ, составляютъ ее. По этой манерѣ описывать, также какъ по способу воспринимать впечатлѣнія, гр. Кутузовъ — по крайней мѣрѣ въ своихъ пѣсняхъ любви и природы—принадлежитъ ко второй школѣ русскихъ поэтовъ—школѣ Фета-Полонскаго, въ ея противоположности съ первой, пушкинской школой (Лермонтовъ, Майковъ, Огаревъ, Апухтинъ, «пушкинская плеяда»). Хотя традиція родоначальника проникаютъ всю нашу поэзію (въ чемъ можно вполне ясно убѣдиться на примѣрѣ того-же гр. Кутузова), но несомнѣнно у второго поколѣнія русскихъ поэтовъ дифференцированіе чувствъ и впечатлѣній отразилось въ обособленіи мотивовъ, утонченности настроенія, во вниманіи къ обильно разсыпаннымъ деталямъ.

У гр. Кутузова въ его изображеніяхъ природы настроеніе господствуетъ надъ пейзажемъ: онъ не столько пѣвецъ природы, сколько поэтъ человѣческаго отношенія къ ней. Его любимый пейзажъ—тихая и теплая звѣздная ночь, когда всѣ краски стушевываются, всѣ очертанія сливаются и загадочный туманъ бродитъ надъ водою. Эта обстановка повторяется въ его стихахъ до однообразія часто, лишь изрѣдка смѣняясь картиною зареваго весенняго утра (какъ въ превосходномъ стихотвореніи «Снилось мнѣ утро лазурное, чистое...»).

И любовь гр. Кутузова тиха и туманна, какъ его пейзажъ. Это не яркое, горячее чувство Пушкина, въ которомъ физическая сторона, по крайней мѣрѣ, равноправна съ духовной, гдѣ невольно ощущается реальная подкладка вдохновенія; это мечтательная, призрачная любовь Фета; даже болѣе того—это какой-то сонъ любви. Самый образъ возлюбленной поэта почти не обрисовывается передъ нами—онъ только чувствуется, только вѣтъ надъ стихами, будто образъ сновидѣнія. Съ этимъ самымъ призракомъ слушаетъ поэтъ «Сказку ночи» —разсказъ о блаженствѣ любви и, пробуждаясь, самъ съ недоумѣніемъ спрашиваетъ себя: «ужель то былъ лишь сонъ?»

Всѣ эти характерныя черты отношенія поэта къ любви и природѣ, какъ въ фокусѣ, слились въ слѣдующемъ, едва-ли не лучшемъ изъ его «весеннихъ» стихотвореній.

Не смолкай, говори... Въ ласкѣ рѣчи твоей,
Въ безавѣтномъ весельи свиданья,
Принесла мнѣ съ собою ты свѣжесть полей
И цвѣтовъ благовонныхъ лобзанья.

Я внимаю тебѣ—и цѣлебный обманъ
Сердце властной мечтою объемлетъ.
Мнѣ мерещится ночь... въ лунномъ блескѣ туманъ
Надъ сверкающимъ озеромъ дремлетъ.

Ни движенья, ни звука вокругъ, ни души!
Безпредметная даль предъ очами,
Мы съ тобою одни въ полутьмѣ и тиши,
Подъ лазурью, луной и звѣздами.

Только воды дрожать, только дышутъ цвѣты,
Да туманится воздухъ росистый,
Да, горя сквозь туманъ, какъ звѣзда съ высоты,
Въ душу свѣтитъ мнѣ взглядъ твой лучистый.

Въ безпредѣльномъ молчаньи тѣней и лучей
Шепчешь ты про любовь и участие...
Не смолкай, говори!.. Въ ласкѣ рѣчи твоей
Мнѣ звучитъ безпредѣльное счастье!

Въ своеобразности этого рисунка — въ этихъ мягкихъ, туманныхъ краскахъ, въ этой призрачности картинъ земнаго счастья, какъ будто неясно сказывается, какъ будто просвѣчиваетъ будущее окончательное міросозерцаніе автора...

Охотно обращаясь — вопреки обыкновенію новѣйшихъ нашихъ поэтовъ — къ трудной и сложной формѣ поэмы, гр. Голенищевъ-

Кутузовъ въ ней-же выражаетъ главные мотивы своего творчества. Изъ девяти его поэмъ (неудачный драматическій отрывокъ «Смерть Святополка», кажется, можно не считать), «Гашишъ», «Скука» и «Старики» (съ сюжетомъ изъ эпохи послѣдней войны) интересны только по темамъ, характернымъ для поэта, воспѣвающегоъ то «роковую скуку» жизни, то искусственное ея забвеніе, уничтожающее вмѣстѣ съ тѣмъ самую жизнь *). «Сказка ночи» есть собственно большое лирическое стихотвореніе. «Сѣверная легенда» передаетъ великолѣпными стихами мрачное сказаніе о томъ, какъ Морозъ остановилъ походъ юнаго витязя, задумавшаго освободить Дѣву-Весну изъ плѣна сѣдой Царицы-Полночи—тема опять-таки характерная для нашего автора. Вообще его любимое время года—зима: какъ весна у Фета, какъ лѣто у Полонскаго, какъ осень у Апухтина, она лучше всего передается его стихомъ. И притомъ это не пушкинская симпатія къ бодрой и свѣжей сторонѣ зимней поры («Морозъ и солнце—день чудесный!» и пр.)—къ этому смѣлому расцвѣту человѣческой жизни среди мертваго покоя окружающей природы: симпатія гр. Кутузова склоняется именно къ стихійной сторонѣ зимы, къ ея роковой, умиротворяющей, но и губительной силѣ. И—чтобы быть послѣдовательнымъ—выбирая «ночь года», гр. Кутузовъ и изъ временъ дня предпочитаетъ «ночную тѣнь» **).

*) По этому поводу очень удачно замѣчаетъ г. Влад. Соловьевъ въ статьѣ посвященной гр. Кутузову («Буддійское настроеніе въ поэзіи»): «Склонный субъективно къ отрицательному буддійскому взгляду на міръ и жизнь, поэтъ естественно и въ предметахъ своего творчества находитъ и представляетъ только подтвержденіе этого взгляда. Все существующее дѣйствуетъ на него особенно своею отрицательною стороною. Жизнь есть бессмысленная тоска, отъ которой чужая намъ Европа находитъ развлеченіе въ ненужномъ шумѣ такъ называемыхъ вопросовъ (стих. «Мнѣ часто говорятъ—свобода не обманъ», въкоторыя мѣста въ поэмѣ «Старики» и пр.), а болѣе близкая Азія—въ гашишѣ; въ самой Россіи царитъ ничѣмъ неодолимая, лишь мгновенно прерываемая ужасами войны скука—скука сытая въ столичномъ обществѣ, скука голодная—у деревенскаго люда; такова современность;—поэтъ съ отвращеніемъ отводитъ отъ нея взоръ, устремляетъ его въ глубь временъ и усматриваетъ тамъ... Святополка Окаяннаго».

**) Кажется также всѣми критиками гр. Кутузова была отмѣчена любовь его къ лѣсу—къ этой дикой, могучей, спокойной стихіи. Сказка «Лѣсъ», замѣстованная поэтомъ у Ал. Дюда, воспѣваетъ торжество этой силы надъ человѣческой жизнью и культурой. Прекрасныя стихотворенія «Духъ рощи» и «Родному лѣсу» отражаютъ ту-же симпатію. Въ «тихихъ думкахъ» дремучаго лѣса, въ загадочномъ шумѣ вѣковыхъ деревьевъ чудится поэту таинственная власть—вѣяніе вѣчнаго спокойствія; слышится «призывъ къ невѣдомой, но милой сторонѣ».

Всѣ эти намеки, всѣ эти полубезсознательныя сочувствія уже достаточно готовятъ къ послѣднему слову нашего автора, къ результатамъ его третьяго «свиданія съ музой». Результаты эти, хотя также въ нѣкоторой постепенности, изложены въ четырехъ главныхъ поэмахъ гр. Кутузова—«Старыя рѣчи», «Дѣдъ простилъ», «Разсвѣтъ» и «Въ туманѣ». Всѣ эти поэмы написаны собственно на одинъ и тотъ-же мотивъ — затронутый уже въ первой *русской* поэмѣ, въ знаменитыхъ ея стихахъ:

Но я другому отдана,
И буду вѣкъ ему вѣрна.

Поэмы «Старыя рѣчи» и «Въ туманѣ» (изъ которыхъ послѣдняя относится къ первой, какъ этюдъ къ большой картинѣ на ту-же тему, причѣмъ за этюдомъ остаются всѣ преимущества несравненнаго исполненія) по внѣшнимъ подробностямъ весьма близко напоминаютъ послѣднюю главу «Онѣгина»: «она» встрѣчаются съ «нимъ», когда свободный, но случайный («Старыя рѣчи»), или подневольный («Въ туманѣ») бракъ уже связалъ ее съ другимъ человѣкомъ. «Онъ», какъ Онѣгинъ, зоветъ «ее» за собой, умоляетъ и убѣждаетъ ее въ законности и возможности новаго счастья, но она, какъ Татьяна, чувствуя, «что счастье было такъ возможно, такъ близко», а теперь—по той или иной причинѣ—сдѣлалось невозможнымъ и далекимъ, предпочитаетъ «отреченіе». Въ «Старыхъ рѣчахъ» этому рѣшенію еще способствуетъ внѣшняя случайность—ударъ, поразившій мужа какъ разъ во-время и заглушившій въ женѣ возникшую новую любовь состраданіемъ, но въ «Туманѣ» мы присутствуемъ при безусловно чистой нравственной побѣдѣ. А затѣмъ начинается все та-же, столь знакомая русскому читателю грустная исторія похоронъ любви:

Я помню краткое, послѣднее свиданье:
Прерывистую рѣчь, недвижный, грустный взоръ;
Въ немъ видѣлось любви прощальное мерцанье,
Развязки роковой покорное признанье,
Безумству краткому конечный приговоръ!
Давно-ль та ночь была? Давно-ль та пѣснь звучала
Побѣдной радостью?—Но, горечи полно,
Раздумье блѣдное теперь намъ отвѣчало:
Давно!

Ужель всему конецъ? Ужель предъ злою силой—

Слѣпой—какъ смерти мракъ, случайной—какъ волна—
 Должна смириться страсть?—Сознанье говорило:

Должна!

И, какъ дитя, упавъ предъ милой на колѣни,
 Я плакалъ, я молилъ: бѣжимъ въ далекій край!
 Но взоръ ея твердилъ на всѣ мольбы и пени:

Прощай!

И мы разстались...

Въ поэмѣ «Дѣдъ простилъ» вопросъ получаетъ иную, болѣе оригинальную постановку — быть можетъ, мало удовлетворяющую не столь пессимистически настроеннаго читателя, но тѣмъ болѣе типичную для автора. Молодая княжна, единственная дочь старика-отца, живущая вмѣстѣ съ нимъ въ деревнѣ, полюбила, любима и хочетъ выйти замужъ за своего избранника противъ воли отца, чувствующаго себя не въ силахъ разстаться съ единственной отрадой своей жизни. Такова завязка драмы. Своевольное чувство княжны взяло верхъ—она бѣжитъ и тайно вѣнчается со своимъ возлюбленнымъ. Старикъ-отецъ слишкомъ поздно узнаетъ о побѣгѣ; въ злую мятель онъ напрасно гонится за дочерью, простужается и умираетъ одинокій. Чужое счастье разбито, и наступаетъ необходимость расплаты. Угрызнія совѣсти обращаютъ счастливый бракъ княжны въ сплошное мученіе и ея единственной надеждой является мечта о примиреніи съ покойнымъ отцомъ, объ его прощеніи. Послѣ долгихъ томительныхъ лѣтъ мечта эта сбывается, но лишь въ моментъ смерти молодой женщины, которая какъ-бы падаетъ искупительной жертвой своего грѣха. Таковъ строгій приговоръ автора: подчиняя, въ первыхъ двухъ поэмахъ, право и фактъ счастья игрѣ случая, поэтъ здѣсь въ третій разъ доказываетъ его хрупкость и подчиненность, казня попытку его своевольнаго захвата. Отсюда уже прямой переходъ къ «Разсвѣту»—главной поэмѣ гр. Кутузова.

Трагическая коллизія этой поэмы заключается въ столкновеніи страсти, внезапно вспыхнувшей между героемъ и дѣвушкой, невѣстой другого, съ любовью ея жениха. Между соперниками происходитъ дуэль. Герой поэмы смертельно раненъ. Но на одрѣ смерти, среди тяжелыхъ мученій, его ждало внезапное и странное просвѣтлѣніе. Онъ проснулся среди полной тишины и одиночества:

... И было мнѣ

Въ той всеобъемлющей, глубокой тишинѣ
 Несказанно легко!... Гдѣ я и что со мною?
 Себя я спрашивалъ...

... И вдругъ
 Я понялъ тишину!—Я понялъ, чье дыханье
 Мнѣ въ душу вѣяло прохладой неземной;
 Чьей власти покоряюсь, утихнуло страданье—
 Я угадалъ, что Смерть витала надо мной...
 Но не было въ душѣ ни страха, ни печали,
 И гостью грозную улыбкой встрѣтилъ я...
Мнѣ представлялась во мѣлѣ туманной дали
Толпою призраковъ теперь вся жизнь моя.
 Въ ней ничего назадь меня ужъ не манило:
 Страданья, радости, событій пестрыхъ рой,
 И счастье, и... любовь—равно все чуждо было,
 Безслѣдно все прошло, какъ ночи бредъ пустой.
 Я Смерти видѣлъ ваглядъ. Великая отрада
 Была въ спокойствіи ея нѣмого вагледа:
Въ немъ чулся души неслыханный приютъ,
Въ немъ брезжилъ на землѣ невиданный разсвѣтъ!

Но вотъ, чтобы съ послѣднимъ диссонансомъ еще полнѣе прозвучалъ торжественный аккордъ,—въ это побѣдное молчаніе смерти врывается отчаянный призывъ жизни, ея послѣднее и самое сильное искушеніе: къ умирающему прибѣгаетъ его несчастная невѣста; пораженная роковой вѣстью, она хочетъ помочь ему, надѣется еще спасти его. Но онъ уже едва видитъ ту—

Чью мимолетную, земную красоту
 Недавно взоръ искалъ...

Равнодушнымъ молчаньемъ отвѣчаетъ онъ на всѣ ея слезы и мольбы и снова погружается въ невозмутимый сонъ:

И въ чудномъ этомъ снѣ вновь Смерть заговорила:
 „Приди, избранникъ мой! Тебя я полюбила:
 Тебя мнѣ стало жаль, *среди міра и людей,*
 Въ томъ мрачномъ омутѣ ошибокъ, лжи, проклятій,
Гдѣ краткая любовь и счастье быстрыхъ дней
Дается лишь цѣной борьбы и скорби братій.
 Къ иному счастью, раскрывъ темницы дверь,
Освобожденную, тебя зову теперь
 Подъ сѣнь великаго и вѣчнаго чертога
 Для всѣхъ доступнаго, всѣхъ любящаго Бога!“

«Все было сказано, все смолкло...» Поединокъ Жизни и Смерти окончился...

Таковъ былъ исходъ, указанный поэту третьимъ свиданіемъ съ музой. Отрада полного уничтоженія и покоя—таково единственное лекарство, которое онъ находитъ противъ скорби и

богѣзней жизни. Послѣ Пушкина, восклицавшаго: «Но не хочу, о други, умирать!...», послѣ тютчевскаго:

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Какъ бой ни жестокъ, ни упорна борьба!

послѣ лучезарной поэзіи Фета,—русской литературѣ суждено было увидать поэта смерти, завершившаго собою длинный рядъ ея перво-классныхъ поэтовъ *).

Настроеніе «Разсвѣта» закрѣплено въ нѣсколькихъ прекрасныхъ стихотвореніяхъ. Въ нижеслѣдующемъ, напримѣръ, мы какъ-бы присутствуемъ при самомъ процессѣ возрожденія поэта:

Въ тиши раздумія, въ минуты просвѣтленья
Души, измученной житейскою борьбой,
Все чаще слышится мнѣ голосъ утѣшенья,
Все ближе небеса сіяютъ надо мной.

Земного счастья бродячіе обманы
Бѣгутъ, какъ призраки ночныхъ недужныхъ грезъ,
Въ глазахъ горитъ разсвѣтъ и падаютъ туманы
Росою утренней животворящихъ слезъ.

Я знаю, что кругомъ все прахъ и все минуетъ...
Я знаю, что мой рай—тамъ... въ Божьей вышинѣ—
И небо надъ землею побѣду торжествуетъ,
И вѣчность самая видна и внятна мнѣ!...

Не смотря на сплошной мрачный колоритъ поэзіи гр. Голенищева-Кутузова, ея «ночь», завершающаяся такимъ своеобразнымъ «разсвѣтомъ», не производитъ того безнадежно унылаго впечатлѣнія, какъ напримѣръ, монотонно-сѣрыя сумерки Апухтина или Огарева. Въ ея первоначальномъ *отреченіи*, такъ-же, какъ въ позднѣйшемъ *отрицаніи*, чувствуется сила—сила того «безвѣрія», котораго—за невозможностью вѣры—желалъ для себя поэтъ невольнаго скептицизма. И эта-же самая сила дала въ концѣ кон-

*) Съ «Разсвѣтомъ», говорить г. Вл. Соловьевъ,—«мысль лирической трилогіи гр. Кутузова («Старыя рѣчи», «Дѣдъ простилъ» и «Разсвѣтъ») опредѣленъ и исчерпанъ. То, что было и смутно и поверхностно въ первой поэмѣ, углублено во второй и окончательно выяснено въ третьей. Счастье жизни *случайно*, говорятъ намъ «Старыя рѣчи»; не только случайно, но и *грѣховно*, дополняетъ «Дѣдъ»; но ни случайность, ни преступность счастья еще не отнимаютъ у него свойства быть желательнымъ; эту послѣднюю неопредѣленность окончательно устраняетъ «Разсвѣтъ», показывая, что счастье и сама жизнь не только случайны и грѣховны, но что они *не нужны*, что смерть есть не только роковая необходимость, но высшее благо и настоящее блаженство».

цовъ автору «Разсвѣта» возможность примиренія съ отрицаемой имъ жизнью. Такъ далекъ и чуждъ отъ него весь ея шумъ и бредъ, такъ безсильны ея чары и, вмѣстѣ, такъ полно исцѣленіе отъ нанесенныхъ ею нѣкогда ранъ:

*Прекрасенъ жизни бредъ: волшебны и богаты
Живыхъ его картинъ одежды и цвѣты,
Свѣтила знойнаго восходы и закаты,
И ночи, полныя чудесъ и темноты.
Прекрасны дней земныхъ обманы и видѣнья,
Порывы страстныхъ чувствъ, полеты смѣлыхъ думъ—
Полеты на крылахъ надеждъ и заблужденья,
Въ пространствахъ радужныхъ земного наслажденья,
Напѣвы юныхъ грезъ и бурь житейскихъ шумъ!...
Но если въ трезвый мигъ душевнаго досуга,
Въ случайной тишинѣ, сквозь этотъ долгій бредъ,
Внезапно прозвучитъ, какъ дальній голосъ друга,
Грядущаго конца таинственный привѣтъ;
Но если, какъ весны желанное дыханье,
Мнѣ душу обовѣетъ иной красы желанье
И сквозь туманъ вдали, какъ ранняя заря,
Займетъ тихій свѣтъ иного бытія—
Какіе призраки, какія сновидѣнья
Дерзнуть мнѣ повторять съ улыбкою: „Живи!
„Живи и позабуди о счастьи пробужденья.
„Подъ солнцемъ вѣчнаго покоя и любви!“*

Это прекрасное стихотвореніе представляетъ какъ-бы итогъ творчества нашего поэта.

Въ русской литературѣ главный мотивъ поэзіи гр. Кутузова намѣчался и разрабатывался неоднократно: достаточно вспомнить хотя-бы «Три смерти» Л. Толстого, «Смерть» Тургенева (въ «Запискахъ Охотника»), или сцены смерти Андрея Болконскаго въ «Войнѣ и мирѣ» и Николая Левина въ «Аннѣ Карениной», даже нѣкоторыми деталями напоминающія подробности «Разсвѣта». Да иначе и не могло быть въ литературѣ того народа, который—по выраженію Тургенева—«умираетъ, словно обрядъ совершаетъ: холодно и просто». Но глубокая разниа лежитъ въ отношеніи самихъ авторовъ къ предмету своего изображенія: у великихъ прозаиковъ нѣтъ свободнаго примиренія поэта, для котораго въ его отреченіи «небо надъ землею побѣду торжествуетъ»... Примиреніе Л. Толстого, примиреніе, доставшееся цѣною долгой и трудной борьбы, лишено радостнаго колорита—это не освобожденіе отъ страха смерти, это

только объясненіе неизбежнаго зла, открытіе убожища отъ невыносимой угрозы. Но страхъ смерти не покинулъ писателя — онъ только заглушенъ дѣятельной, плодотворной работой любви.

Боязнь смерти *Тургенева* общеизвѣстна: рядъ чудныхъ поэтическихъ алмазовъ — «стихотвореній въ прозѣ», передалъ это холодное, томительное чувство великаго писателя, точно блѣднѣющее отраженіе яркаго мистическаго ужаса Гоголя.

Быть можетъ, только у одного *Гончарова*, въ его объективно-спокойномъ, наивно-свѣтломъ взглядѣ на жизнь и смерть, какъ на естественный, неизбежный процессъ природы, найдемъ мы въ русской прозѣ нѣчто подобное примиряющему освѣщенію автора «Разсвѣта».

Въ нашей поэзіи оригинальность его выдѣляется не менѣе рѣзко. Правда, уже на зарѣ ея, въ сознательно-спокойной resignation *Пушкина* — какъ все, достигаемой великимъ поэтомъ безъ борьбы и усилій — слышится отчасти созвучная нота:

И пусть у гробоваго входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Но тотчасъ-же затѣмъ съ *Лермонтовымъ* подымается въ русской поэзіи мятежный протестъ духа, гордый вызовъ Демона, и Небу адресуется язвительная, мрачная «благодарность» —

За жаръ души, растраченный въ пустынѣ,
За все, чѣмъ я обмануть въ жизни былъ...

Но въ самой глубинѣ этого протеста, въ самой силѣ этого вызова коренится непоколебимая увѣренность въ близости Неба, въ кровномъ родствѣ съ нимъ души, которой «звукѣвъ небесъ замѣнить не могли скучныя пѣсни земли».

Эта тоска у *Огарева* теряетъ свой протестующій характеръ, свою вѣру, и переходитъ въ безысходную, неразрѣшимую «скуку жизни»:

Мнѣ чувство каждое и каждый новый ликъ,
И каждой страсти новое волненье —
Все кажется уже давно прожитый мигъ,
Все стараго пустое повторенье.

Но все-же передъ мыслію о смерти, о безнадежномъ концѣ —

Душѣ обидно такъ и больно,
И тѣло дрожь беретъ невольно.

У послѣдующихъ поэтовъ разнообразіе мотивовъ быстро возрастаетъ — и рѣшенія общей темы расходятся по совершенно различнымъ дорогамъ... У полной антитезы Огарева—*Фета*, радость жизни горитъ и трепещетъ въ роскошныхъ вдохновеніяхъ; ея печаль не страшна поэту, потому что онъ знаетъ путь туда—

Гдѣ радость теплится страданья.

Не страшитъ его и угроза конца, неизбежность уничтоженія. Онъ обращается къ смерти:

Пускай рука твоя главы моей коснется
И ты сотрешь меня со списковъ бытія,
Но предъ моимъ судомъ, покуда сердце бьется,
Мы силы равныя, и торжествую—я!

Для *Полонскаго* жизнь и смерть—вѣчная загадка, предъ которой одинаковы права вѣры и сомнѣнія: «И вѣрю я и вновь не смѣю вѣрить...»—«А жизнь—жизнь тянется, какъ непонятный сонъ».

Это колебаніе повторяется позднѣе у *Апухтина* въ формѣ еще болѣе рѣзкой, въ видѣ мучительной тоски невѣрующаго духа:

И нѣтъ въ тебѣ теплаго мѣста для вѣры,
И нѣтъ для безвѣрія силы въ тебѣ!

Майковъ—этотъ современный эллинь, точно ошибкою родившійся въ нашей сѣрой дѣйствительности,—заплатилъ обильную дань античному матеріализму, для котораго вся жизнь есть только жизнь земли, только краткое существованіе отдѣльной личности, обреченной въ самомъ этомъ существованіи найти свое примиреніе съ грядущимъ уничтоженіемъ. Но неизбежное, органическое развитіе индивидуализма повлекло его далѣе, до своего оправданія, до той ступени, когда Сенека встрѣчаетъ смерть, какъ «мигъ перерожденья», какъ моментъ возвращенія утраченнаго божественнаго образа. Отсюда, быть можетъ, оставался лишь еще одинъ шагъ—шагъ къ примиренію, къ свободному отказу отъ своей индивидуальности Пушкина и Тютчева.

Лермонтовская вѣра—лишь безъ его могучаго протеста и жгучей тоски—воскресаетъ у поэта новаго, послѣ-христіанскаго міра, *Алексія Толстаго*.

Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа!

Земная жизнь для него, какъ и для Лермонтова,—«неволя», но онъ терпѣливо сноситъ ея цѣпи, въ немъ нѣтъ вражды къ небу,—быть можетъ потому, что онъ ждетъ, что

Всѣ межъ собой враждующіе звуки
Послѣдній часъ въ созвучіе сольетъ.

Здѣсь мы видимъ нѣкоторое приближеніе къ характеру поэзій гр. Голенищева-Кутузова, хотя между пѣвцомъ буддѣйской Нирваны и поэтомъ христіанской идеи нѣтъ полного совпаденія. Для гр. Кутузова въ окончательной фазѣ. его творчества сдѣлалось возможнымъ пантеистическое примиреніе съ жизнью («Прекрасенъ жизни бредъ»...), тогда какъ для Ал. Толстого она навсегда осталась «нестройнымъ гуломъ сомнѣній и заботъ». Но обоимъ поэтовъ сближаетъ это ожиданіе желаннаго момента свободы, тогда какъ для поэта съ индивидуальностью Фета, напримѣръ, при равномъ спокойствіи духа, земная жизнь имѣетъ всю силу притяженія.

Эта послѣдняя черта отличаетъ гр. Кутузова и отъ *Тютчева*, resignation котораго такъ напоминаетъ пушкинскую («Листья»; «Когда, что звали мы своимъ...»; «Смотри, какъ на рѣчномъ просторѣ...»). Пусть въ этихъ, напримѣръ стихахъ:

Сумракъ тихій, сумракъ сонный
Лейся въ глубь моей души.
Тихій, томный, благовонный,
Все залей и утиши.

Чувства мглой самозабвенья
Переполни черезъ край,
Дай вкусить уничтоженья,
Съ міромъ дремлющимъ смѣшай—

слышится какъ-будто мотивъ «Разсвѣта»,—рядомъ-же встрѣчаемъ мы яркое признаніе:

Нѣтъ, моего къ тебѣ пристрастья
Я скрыть не въ силахъ, мать-земля!
Духовъ безплотныхъ сладострастья,
Твой вѣрный сынъ, не жажду я.

Этотъ двойственный умъ лучше кого-либо понималъ загадочную, ирраціональную сторону жизни, ея стихійное владычество надъ индивидуальнымъ существованіемъ—но, вмѣстѣ съ тѣмъ, нисколько не терялъ вѣры въ смыслъ этого существованія, ни любви къ эфемерному блеску индивидуальности—къ «златотканному покрову».

Быть можетъ, у *Баратынского* мы найдемъ что-либо болѣе однозвучное «Разсвѣту». На стихи его къ Смерти въ этомъ смыслѣ указывалъ уже Страховъ:

И ты летаешь надъ твореньемъ

И въ немъ прохладнымъ дуновеньемъ
Смиряешь буйство бытія.

А чловѣкъ? Святая дѣва!
*Передъ тобой съ его ланитъ
Мгновенно сходятъ пятна гнѣва,
Жаръ любовнаго бѣжитъ.*

Недоумѣнье, принужденіе—
Условье смутныхъ нашихъ дней—
*Ты—вѣсть заaddockъ разрѣшеніе,
Ты—разрѣшеніе вѣсть цѣпей.*

Это почти прямой перифразъ «Весенней думы» гр. Кутузова. Тѣмъ не менѣе сходство обоихъ поэтовъ не идетъ такъ далеко, какъ можно бы предположить съ перваго взгляда. Пессимизмъ Баратынскаго имѣетъ общій источникъ съ неудовлетворенностью Лермонтова:

... въ искрѣ небесной пріяли мы жизнь.
Намъ памятно небо родное,
Въ желаніи счастья мы вѣчно къ нему
Стремимся неяснымъ желаньемъ.
Вотще! Мы надолго отвержены имъ! и т. д.

Въ сущности это не отказъ отъ земного счастья, а лишь жалобы на его неполноту и недостатокъ («О счастья съ младенчества тоскуя, все счастьемъ бѣденъ я...») — на то, что чловѣкъ лишь «Всесильнаго ничтожное созданье». Баратынскій отнюдь не считаетъ тревогу жизни преступной и ненужной по существу — онъ сѣтуетъ лишь на ея обманчивость и готовъ усложнить ее вдвое, если-бы только этимъ покупалось удовлетвореніе. Онъ томится не жаждой безстрастнаго покоя, а «жаждой счастья» — и призывы смерти для него въ сущности только вымученный компромиссъ. Напротивъ, характерной чертой гр. Кутузова остается осужденіе жизни *quand même* — какъ «безумной смуты», какъ «омута ошибокъ, лжи, проклятій», и апофеозъ смерти, какъ «иной красоты, неизмѣнно спокойной», «безстрастной» и «вѣчной». Смерть, какъ состояніе *покоя*, является цѣлью для жизни, какъ состоянія *движенія*.

Интересно, что это «буддійское настроеніе» *русскаго* поэта въ концѣ концовъ достигло какъ-бы невольнаго корректива въ ретро-

спективномъ примиреніи съ «прекраснымъ жизни бредомъ». Въ этомъ сказалось, быть можетъ, неотразимое вліяніе кореннаго русскаго міросозерцанія. Во всякомъ случаѣ, «буддистъ», гр. Голенищевъ-Кутузовъ, одной стороною своего творчества непосредственно примыкаетъ къ высшимъ поэтическимъ выразителямъ русскаго міропониманія—къ Пушкину, съ его непосредственнымъ чувствомъ жизни, и Тютчеву съ глубокимъ ея постиженіемъ.

И. Перцовъ.

* *
*

Прожумѣли весеннія воды,
Загремѣли веселыя грозы,
Въ одѣяньяхъ воскресшей природы
Расцвѣли гіацинты и розы.

Пронеслись отъ далекихъ поморій
Перелетныя пѣвчія птицы;
Въ небесахъ свѣтлоокія зори
Во всю ночь не смыкають зѣницы.

Но и въ блѣдной тиши ихъ сіяній
Внятенъ жизни таинственный лепетъ,
Внятны звуки незримыхъ лобзаній
И любви торжествующей трепетъ.

Пробудись же въ сердцахъ умиленье,
Разступись мракъ печали угрюмой;
Прочь гнетущее душу сомнѣнье,
Прочь недобрыя, зимнія думы!

Сердце полно живительной вѣры
Въ эти громы побѣдной природы,
Въ эти пѣсни о счастья безъ мѣры,
Въ эти зори любви и свободы.

* *
*

Снилось мнѣ утро лазурное, чистое,
Снилась мнѣ родины ширь необъятная,

Небо румяное, поле росистое,
Свѣжестъ и юность моя невозвратная.

Снилось мнѣ, будто иду я дорогою—
Ярче и ярче востокъ разгорается;
Сердце объято разсвѣтной тревогою,
Сердце отъ счастья любви разрывается.

Рощи и воды младенческимъ лепетомъ
Мнѣ отвѣчаютъ на чувство привѣтное—
Шепчутъ уста съ умиленьемъ и трепетомъ
Имя любимое, имя завѣтное!..

* * *

Обнялъ землю ночи мракъ волшебный;
Одинокъ, подъ гнетомъ утомленья,
Я уснулъ: глубока былъ сонъ цѣлбный
И прекрасны были сновидѣнья.

Смокли жизни темныя угрозы,
Снилось мнѣ... не помню, что мнѣ снилось,
Но въ глазахъ дрожали счастья слезы
И въ груди надежда тихо билась.

Былъ любимъ я—къмъ?—не угадаю;
Но мнѣ внятенъ былъ тотъ голосъ юный;
Я любилъ—кого любилъ?—не знаю;
Но призывно пѣли сердца струны,

И отвѣтно въ душу чьи-то очи
Мнѣ смотрѣли съ пристальною лаской,
Словно съ неба звѣзды южной ночи,
Въ тмѣ мерцающая неземною сказкой.

Безтѣлесно было то видѣнье,
Повторить не могъ-бы я тѣ звуки,
Но когда настало пробужденье,
Сердце сжалось—полное разлуки.

* * *

Глазъ безсонныхъ не смыкая,
Я внималъ, какъ сердце ныло,
Какъ всю ночь, не умолкая,
Вьюги стонъ звучалъ уныло;
Какъ съ тревогою участія
Ночь въ окно ко мнѣ стучалась,
Какъ душа съ обманомъ счастья
И боролась, и прощалась...

* * *

Какъ странникъ подъ гнѣвомъ палающихъ лучей,
Средь Богомъ сожженныхъ, безводныхъ степей,
Бреду я житейскимъ путемъ,—и давно
Усталое сердце тоской сожжено.

Ни тѣни отрадной, ни жизни кругомъ,
Ни тучи, ни бури на небѣ моемъ!
Безгромное небо, безбрежная даль,—
Нѣмое раздумье, нѣмая печаль...

Но изрѣдка видятся въ смутной дали
Предѣлы цвѣтущей и юной земли,
Подъемятся призраки рощъ и садовъ,
Сверкающихъ водъ и зеленыхъ холмовъ.

Въ прохладѣ незримой, воздушной волны
Струится дыханье любви и весны,
Таинственно кто-то манить и зоветь,
Желаннаго счастья вѣсть подаетъ.

И духъ, оживая, стремится туда,
Гдѣ зыблются рощи, гдѣ свѣтитъ вода,
Гдѣ отдыхъ и тѣнь, и любовь, и привѣтъ,
Какихъ на землѣ не бывало,—и нѣтъ!

РОДНОМУ ЛѢСУ.

Здравствуй лѣсъ! Ты мой возвратъ замѣтилъ,—
Помѣшалъ твоимъ я тихимъ думамъ,
Но, какъ друга, вновь меня ты встрѣтилъ
Стародавнимъ, мнѣ знакомымъ шумомъ.
Въ оны дни, когда—дѣти—порою
Прибѣгалъ твои я слушать сказки,
Добрый дѣдъ, мохнатой головою
Наклонясь съ заботой надо мною,
Расточалъ ты мнѣ дары и ласки.
Ихъ потомъ всей жизни трудъ и слезы
Ни на мигъ въ душѣ не заглушили...
Тѣ дары—младенческія грезы,
Чтѣ мнѣ юность свѣтомъ озарили.
Ихъ твои вершины нашентали,
Ихъ навѣялъ сумракъ твой волшебный
И донинѣ въ злые дни печали
Душу грѣетъ пламень тотъ цѣлебный.
Здравствуй, лѣсъ! Твой миръ, твоє мечтанье
Я тревогой жизни не нарушу;
Я пришелъ на краткое свиданье
Отвести тоскующую душу.
Но, когда моя настанетъ осень,
Старикомъ въ твои приду я сѣни
И подъ ровный шумъ дремучихъ сосенъ
Весь отдамъся отдыху и лѣни.
Въ ожиданьи жизненной развязки,
Успокоюсь, дряхлый и усталый,
И опять твои я буду сказки
Жадно слушать, какъ ребенокъ малый.
Той-же самой властью вдохновенія
Будетъ вновь душа моя объята,
И зарю я вспомню пробужденья
На зарѣ печальнаго заката.
Надо мной раскинешъ ты свой пологъ;
Пологъ тотъ, какъ ночь, широкъ и чуденъ;
Я усну,—и будетъ сонъ мой дологъ,
Будетъ дологъ, тихъ и непробуденъ!

* * *

Глубже все въ грудь проникаетъ безстрастна цѣлительный холодъ,
Крѣпче по сердцу стучить закаляющій времени молотъ;
Гаснетъ въ душѣ моей жизни огонь безпокойный и юный;
Тихо на арфѣ моей замираютъ послѣднія струны.
Можетъ быть, въ сердцѣ остывшемъ огни-бы опять запылали,
Можетъ быть, вѣщія струны тѣ вновь-бы, какъ встарь, зазвучали,
Если-бъ неожиданно коснулось ихъ бури живое дыханье,
Если-бъ отъ сна пробудило ихъ страсти всеильной желанье.

Но не примчится гроза, не нагрянетъ веселіе бури;
Тихо и вѣмо безоблачье чистой небесной лазури.
Спите-же, вѣщія струны, угасни, огонь вдохновенья,
До незакатаго, свѣтлаго... близкаго дня пробужденья!
Въ день тотъ, для сердца желанный, иные пробудятъ васъ звуки,
Чуждые буйныхъ страстей, возжелѣній, тревоги и муки;
Пламенемъ новымъ зажжется въ воскресшей груди вдохновенье,
Чистой струей польется любви неземной пѣснопѣнье!

ВЕСЕННЯЯ ДУМА.

Зимнихъ тумановъ раздвинулись хмурые своды,
Страстнымъдохнули тепломъ небеса голубыя,
Бьются, играютъ, трепещутъ сердца молодыя,
Льются, сверкаютъ и плещутъ весеннія воды.

Блескомъ обманчивымъ жизнь Божій міръ озарила,
Призрачнымъ счастьемъ подъяла тревогу желаній;
Много сгорить въ ея пламени грезъ и мечтаній,
Много надеждъ разобьетъ ея буйная сила.

Но не страшитъ меня жизни безумная смута,
Но не глушитъ меня громъ ея пѣснй побѣдной:
Знаю впередъ, что все это промчится безслѣдно;
Въ безднѣ покоя сверкнетъ и потонетъ минута.

Вижу сквозь праздникъ, сквозь пламя и радугу лѣта
Образъ иной красоты, неизмѣнно спокойный;
Слышу сквозь пѣсни, сквозь шумъ тревоженья нестройный
Тихую ласку и прелесть иного привѣта.

Вижу подъ саваномъ бѣлымъ уснувшую землю,
 Миръ водворила въ ней смерти цѣлебная сила;
 Взоръ успокоенный къ небу съ земли я поднимаю—
 Въ вѣчной лазури тамъ вѣчныя блещутъ свѣтила.

ВСТРѢЧА НОВАГО ГОДА.

Виномъ наполнены бокалы,
 Смолкаютъ рѣчи... Полночь бьетъ...
 И вотъ, какъ съ пальмы листъ увялый,
 Отпаль прожитый, старый годъ.

На мигъ передъ живымъ участиемъ
 Смирилась власть враждебной тьмы—
 И съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ
 Поздравили другъ друга мы.

Но мнѣ какой-то голосъ странный
 Вдругъ прошепталъ привѣтъ иной,
 Привѣтъ таинственный, неожиданный,
 Неслыханный дотогѣ мной.

И я взглянулъ:—въ красѣ безстрастной,
 Сверкая вѣчной бѣлизной,
 Издалека съ улыбкой ясной
 Мнѣ Смерть кивала головой!

СВИДАНІЕ СО СМЕРТЬЮ.

Она ко мнѣ пришла и постучалась въ дверь.
 И я узналъ тотъ стукъ! Но съ холодомъ испуга:
 «О знаю, я сказалъ, я звалъ тебя, какъ друга,
 И не страшусь тебя; приди... но не теперь!
 Ты видишь—я одинъ, въ изгнаньи, на чужбинѣ;
 А тамъ въ краю родномъ, куда стремлюся я,
 Тамъ, сердце вѣрное въ тревогѣ и кручинѣ,
 Осиротѣлое, зоветъ и ждетъ меня.
 Уйти во слѣдъ тебѣ безъ взгляда, безъ пожатья
 Руки трепещущей, на зовъ любви въ отвѣтъ

Не вымолвивъ—прости, до встрѣчи и объята
Въ чертогахъ вѣчности, гдѣ разлученъя нѣтъ,—
Уйти вослѣдъ тебѣ—и слышать за собою
Земнаго счастья отчаянный призывъ...
О нѣтъ, не властенъ я!»—и, дверь пріотворивъ,
Она кивнула мнѣ съ упрекомъ головою,
И было много такъ печали и любви
Въ слетѣвшемъ съ устъ ея участливомъ: «живи!»

БЕЗВОЗВРАТНЫЙ ПУТЬ.

Судьбу вопрошая, страшась и любя,
Безпечный младенецъ, смотрю на тебя.
Не вѣдая жизни таинственной цѣли,
Съ улыбкой блаженства ты спишь въ колыбели;
Все, въ чуткомъ вниманьи склонившись кругомъ,
Твоимъ заповѣднымъ любитъ сномъ.
Въ твой міръ сновидѣній, лучей и лазури
Дохнуть не дерзаютъ житейскія бури,
И самое Время—скакутъ роковой—
Еще неподвижно стоитъ предъ тобой.
Но скоро безсилія свергнешь ты бремя,
И ступишь ногою въ опасное стремя,
И поводъ рука твоя смѣло возьметъ,
И двинется конь подъ тобою впередъ—
Впередъ, укороченнымъ, медленнымъ шагомъ,
Въ невѣдомый путь, по холмамъ и оврагамъ,
Цвѣтушимъ долинамъ, дремучимъ лѣсамъ,
Къ предѣламъ далекимъ, къ чужимъ небесамъ,
Гдѣ будущность скрыта въ невѣдомой долѣ,
Откуда назадъ не вернешься ты болѣ.
И радостенъ будетъ вначалѣ твой путь:
Надеждой подѣмлетъ юная грудь,

Надежда смѣется въ порхающемъ взорѣ,
Надеждой все дышетъ въ окрестномъ просторѣ...

«О конь, что ступаешь такъ медленно ты?
Тебя обгоняя, несутся мечты

Въ тотъ край, гдѣ лучи въ небесахъ необъятныхъ
Отъ радугъ, отъ молній, отъ звѣздъ незакатныхъ

Сверкаютъ, и меркнутъ, и свѣтятся вновь,
Гдѣ юность царить, гдѣ пылаетъ любовь».

И конь, молодому желанью послушный,
Въ весельи ускорить побѣгъ свой воздушный,

И годы, какъ волны въ игрѣ и борьбѣ,
Быстрѣй понесутся навстрѣчу тебѣ;

Несчитанныхъ дней проплыветъ вереница,
Смѣнная картины, событія, лица;

Какъ лѣто, пора наслажденій пройдетъ;
А конь будетъ мчаться все дальше впередъ—

Впередъ—ускоряя свой бѣгъ ежечасно,
За призрачнымъ счастьемъ въ погонѣ опасной...

И вдругъ на пути ты постигнешь душой,
Что счастье осталось вдали за тобой;

Услышишь, зловѣщей тревогой объятый,
Что бурь отошедшихъ смолкаютъ раскаты,

Увидишь, что солнце на небѣ блѣднѣй,
Почуешь, что дышетъ весь міръ холоднѣй,

Что меркнутъ и небо, и земли, и воды,
Что лучшіе мимо промчались годы,

Что гаснутъ надежды и страсти въ груди,
Что холодъ, пустыня и мракъ впереди!

Тогда съ сожалѣньемъ ты вспомнишь впервые
Событія, встрѣчи и годы былые;

И все, что чредой мимолетной прошло,
Опять предъ очами воскреснетъ свѣтло,

Воскреснетъ, какъ сонъ, въ красотѣ небывалой,
Взывая къ возврату, и—путникъ усталый,—

Кидая вокругъ отуманенный взглядъ,
Коня повернуть ты захочешь назадъ,

Чтобъ къ скрывшейся юности вновь воротиться,
Чтобъ счастьемъ прожитымъ опять насладиться;

Но конь, непокорный ужъ власти твоей,
Тебя будетъ мчать все быстрѣй и быстрѣй,

Подъ стужей и тьмой, одичалый, мятежный,
Какъ вихорь крылатый въ пустынь безбрежной!

И въ жалкомъ безсильи, хотъ злобствуй, хотъ плачь
Не смолкнетъ, не стихнетъ тотъ бѣшенный скакъ,

Пока безъ дыханья, безъ чувства, безъ силы,
Съ конемъ ты не свергнешься въ бездну могилы,

Въ разверстую пропасть безъ свѣта и дна,
Въ объятія чернаго, вѣчнаго сна.

И тамъ лишь—въ сознаніи жизненной цѣли—
Безстрастенъ и тихъ, какъ дитя въ колыбели.

Ты снова найдешь тотъ блаженный покой.
Что нынѣ витаетъ въ тиши надъ тобой...

Но Время отъ сна ужъ тебя не подниметъ,
И счастья смерти никто не отниметъ.

Списокъ стихотвореній.

	СТР.
Е. А. Баратынскій.	
Дельвигу. („Напрасно мы, Дельвигъ, мечтаемъ найти...“)	99
Истина	100
Черепъ	101
„Толпѣ тревожный день привѣтенъ...“	102
Мудрецу	103
Коншину. („Повѣрь, мой милый другъ, страданье нужно намъ...“)	—
Признаніе. („Притворной нѣжности не требуй отъ меня...“)	104
„Къ чему невольнику мечтанія свободы?...“	105
Недоносокъ	106
„На что вы, дни! Юдольный міръ явленья...“	108
А. В. Кольцовъ.	
<i>Во статьѣ:</i>	
Измѣна суженой. („Жарко въ небѣ солнце лѣтнее...“)	116
Послѣдняя борьба	118
Дума сокола	—
Пѣсня пахаря	120
Урожай	121
Пѣсня. („Такъ и рвется душа...“)	124
Послѣдній поцѣлуй	125
Разлука. („На зарѣ туманной юности...“)	126
Косарь	127
М. Ю. Лермонтовъ.	
Ангель	150
— И скучно, и грустно	—
Отчего. („Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю...“)	151
Благодарность	—
— Плѣнный рыцарь	—

	стр.
Тучи. („Тучки небесныя, вѣчныя странники...“)	152
Парусъ	153
Дума. („Печально я гляжу на наше поколѣнье...“)	—
„Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ...“	154
„Гляжу на будущность съ боязнью...“	155
„Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою“	—
„Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой...“	156
„Выхожу одинъ я на дорогу...“	157
Морская царевна	—
Тамара	159

Н. Н. Огаревъ.

Въ статьѣ:

Друзьямъ. („Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упо- ваньемъ...“)	163
✓ Fatum. („Вхожу я въ церковь—тамъ стоятъ два гроба...“)	165
Характеръ. („Ребенкомъ онъ упрямъ былъ и рѣзавъ...“)	166
„Я помню робкое желанье...“	169
„Къ подъѣзду! Сильно за звонокъ рванулъ я...“	—
✓ Старый домъ	173
Младенецъ	174
Обыкновенная повѣсть. („Была чудесная весна!...“)	175
„Стучу—мнѣ двери отперъ ключникъ старый...“	176
✓ „Еще любви безумно сердце просить...“	—
„По тряской мостовой я ѣхалъ молча...“	177
✓ Встрѣча. („Друзья они съ молодю были...“)	178

Ф. И. Тютчевъ.

Въ статьѣ:

День и ночь. („На мѣръ таинственный духовъ...“)	187
„О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной...“	188
„Не остывшая отъ зною...“	189
Предопредѣленіе. („Любовь, любовь—гласитъ преданье...“)	191
„О, вѣщая душа моя...“	192
Два единства	195
„Надъ этой темною толпой...“	—
— „Святая ночь на небосклонѣ взошла...“	197
✓ „Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной...“	—
— Ночные голоса	198
Безуміе	—
— „Дума за думой, волна за волной...“	199
„Смотри, какъ на рѣчномъ просторѣ...“	—
Сумерки	—
Весна. („Какъ ни гнететъ рука судьбины...“)	200
„Такъ; въ жизни есть мгновенія“	201
„О, не кладите меня“	202
Листья	—

	стр.
„Когда, что звали мы своимъ“	203
Mal'aria. („Люблю сей Божій гнѣвъ“)	204
Est in arundineis modulatio musica ripis. („Пѣвучесть есть въ морскихъ волнахъ“)	—
Итальянская вилла	205
„О, какъ убійственно мы любимъ...“	—
„Она сидѣла на полу...“	207
Послѣдняя любовь	—
„Не гулъ молвы прошелъ въ народъ...“	208
„Эти бѣдныя селенья“	—
<i>Въ статьѣ объ Ал. Толстомъ:</i>	
„Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ...“	216
„О, вѣщая душа моя...“	224
Предопредѣленіе. („Любовь, любовь—гласить преданье...“)	226

Въ статьѣ о Полонскомъ:

„Не говори: меня онъ, какъ и прежде, любить...“	300
---	-----

Гр. А. К. Толстой.

Въ статьѣ:

Хоръ ангеловъ изъ „Донъ-Жуана“. („Едино, цѣльно, не- дѣлимо...“)	211
И. С. Аксакову	213
Изъ монологовъ Донъ-Жуана	221
„Меня во мракъ и пыли...“	224
„Слеза дрожитъ въ твоёмъ равновіи взоръ...“	227
„Въ странѣ лучей незримой нашимъ взорамъ...“	230
Изъ „Іоанна Дамаскина“. („Благословляю васъ, лѣса...“)	231
„О, не пытайся духъ унять тревожный...“	233
„Съ тѣхъ поръ какъ я одинъ, съ тѣхъ поръ какъ ты далеко...“	—
„Порой среди заботъ и жизненнаго шума“	234
„Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ“	—
„О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище“	235

А. А. Фетъ.

Въ статьѣ:

„Какъ бѣденъ нашъ языкъ: хочу—и не могу!...“	243
„Съ солнцемъ склоняясь за темную землю“	245
Горная высь. („Превыше тучъ, покинуть горы“).	—
Ласточки. („Природы праздныя соглядатаи“)	247
„Когда Божественный бѣжалъ людскихъ рѣчей“	248
Оброчникъ. („Хоругвь священную подъявъ своей десной“).	250
„Когда читала ты мучительныя строки“	254
Бабочка. („Ты правъ. Однимъ воздушнымъ очертаемъ“)	255
Добро и зло. („Два міра властвуютъ отъ вѣка“)	256

